ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

КАМЕННЫЙ ПОЯС



ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

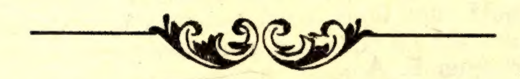
КАМЕННЫЙ ПОЯС

В ТРЕХ КНИГАХ

•

КНИГА ТРЕТЬЯ

ХОЗЯИН КАМЕННЫХ ГОР



ЧАСТИ

1–2

МИНСК
«ЮНАЦТВА»
1989

ББК 84Р7
Ф33

Печатается по изданию:

Федоров Е. А. Каменный Пояс: В 3 кн. Кн. 3: Хозяин Каменных гор.— М.; Л.: Худож. лит., 1964.

Федоров Е. А.

Ф33 Каменный Пояс: Роман: В 3 кн. Кн. 3. Хозяин Каменных гор. Ч. 1—2.— Мн.: Юнацтва, 1989.— 383 с.

ISBN 5-339-00272-1.

Роман «Хозяин Каменных гор» завершает трилогию русского советского писателя Е. А. Федорова (1897—1964) «Каменный Пояс». В нем убедительно раскрывается духовное убожество последних Демидовых. Давно покинувшие родину, забывшие родной язык, они растрачивают на пустую жизнь за границей огромные богатства, добываемые потом и кровью трудящихся.

Ф $\frac{4702010201-141}{М307(03)-89}$ БЗ 1—89

ББК 84 Р7

ISBN 5-339-00272-1 (кн. 3, ч. 1—2)
ISBN 5-339-00262-4



ЧАСТЬ 1

Глава первая

1

Никита Акинфиевич Демидов — могущественный владетель Нижнетагильского, Кыштымского, Каслинского и многих других уральских заводов — находился в зените своей славы и богатства. Царствующая императрица Екатерина Алексеевна не оставляла заводчика своим вниманием. Обладая несметными богатствами и недюжинным умом, уральский магнат играл роль просвещенного вельможи. Подражая своей покровительнице-государыне, он вел переписку с французским философом-энциклопедистом Вольтером на вольнолюбивые темы.

В этот памятный теплый летний день Никита Акинфиевич, грузно развалясь в кресле на широкой террасе своего нижнетагильского дворца, писал очередное письмо пребывающему в изгнании фернейскому мудрецу. С террасы открывался безбрежный зеркальный пруд с островками, покрытыми яркой зеленью тенистых дубрав, приятных освежающей прохладой. Леса, просторы, гребни Уральских гор — все вдали покрывала легкая сиреневая дымка. На лоне светлых вод под жарким полуденным солнцем плавал большой, сверкающий нежной белизной лебедь. Где-то на островке неожиданно раздался выстрел. Встревоженный лебедь приподнялся над водой и замахал широкими серебряными крыльями. Среди брызг пены он шумно, на весь пруд, как мифический Пегас, быстро-быстро побежал по воде, наконец поднялся, сделал плавный круг и потянул вдаль, роняя звонкие клики.Он поднимался все выше и выше и, как чудесное видение, вскоре растаял на фоне

пухлого облака. А над прудом все еще звенели, угасая, его стонущие крики.

«Эх, подлецы, напугали птицу!» — недовольно поморщился Никита Акинфиевич и прислушался к заводским глухим звукам.

От пруда веяло живительной прохладой, над просторами вод, поблескивая крылышками, летали стремительные стрекозы. День был напоен солнцем. Поблизости, на садовой дорожке, дрались неугомонные воробьи. На дубовом паркетном полу колебались ажурные тени, падающие от густого хмеля, укрывшего террасу. Без парика, но в атласном голубом камзоле, седеющий Демидов склонился над письмом.

«Просвещеннейший учитель,— медленно, с тяжелой одышкой писал он,— все дни мои занимают мысли о человеческом достоинстве и свободе человеческой личности. Из священных писаний и токмо из отеческих преданий поведано, что человек создан по образу и подобию божьему. Не токмо великие вельможи, но и крепостной раб имеют равную душу, и потому...»

Никита Акинфиевич вздрогнул: кто-то осторожно позади кашлянул и обеспокоил хозяина. Заводчик отложил перо и взволнованно оглянулся. У двери стоял приказчик Селезень. Он давно уже тихо пробрался на террасу и, стоя за креслом хозяина, зорко следил за каждым его движением. В пронзительных, мрачных глазах приказчика была тревога. Когда-то бравый Селезень, проворный и видный молодец с цыганским лицом, теперь подсох, ссутулился, поседел. В этом былом красавце угасало все, но с годами он стал еще злее и рачительнее к демидовскому добру.

— Ты что? — встревоженно взглянул на приказчика Никита Акинфиевич.— Что тебе надобно?

Селезень переминался, поскрипывая сапогами, не решаясь что-то сказать хозяину.

— Говори, холоп, что стряслось? — грозно насупился Демидов.

— Плавку передержал мастерко Иванко; все порушилось,— сдержанно вымолвил Селезень.

— Черт! — вспыхнул и налился багровостью хозяин.— Что же он думал, пес? Наше добро переводить осмелился, лукавый!..

Тяжелой поступью Демидов прошелся по паркету. Дышал он прерывисто, с посвистом. Лицо стало сизым от прилива крови, по жилам так и расходилась злость.

Никита Акинфиевич не сдержался, поднял большие кулаки и, наступая на приказчика, зарычал:

— Забить подлого за такое дело! Забить! Положить на горячую плиту и хлестать плетями. Пусть знают холопы, как надо беречь хозяйское добро!

Он хрипел, отдувался, каждая жилка в его большом дряблом теле трепетала от раздражения. Почуяв сильную грозу, Селезень учтиво поклонился и, скрываясь за дверью, выкрикнул:

— Постараюсь, хозяин!

Приказчик исчез так же быстро и неслышно, как и появился.

Демидов знал, что приказ его выполнят точно и безжалостно, но мысль об этом не принесла успокоения. Еще с утра его томила тяжелая тоска, кружилась голова и что-то давило на темя, покрытое реденькими седыми волосами. Раздражительность все больше овладевала им. Шаркая ногами, он утомленно заходил по террасе. Серые мешки под его глазами набухли, прорезались сетью глубоких морщин. Он смотрел на серебристый пруд и огорченно думал:

«Ох, горе! Как быстротечна жизнь, словно талые воды! Красота — и та меркнет от неумолимого времени! Неужели пришла старость?»

Цепкими сухими пальцами он схватился за балясины перил и жадно задышал свежим прудовым воздухом. Однако ни свежесть, ни сияние радостного летнего дня не могли успокоить дряхлеющее тело. Все продолжало клокотать в нем. Никита Акинфиевич пытался овладеть собой, но не смог погасить вредное волнение.

Сколько прошло времени, он не помнил. Ему казалось, пролетела вечность. Напряжение, которое держало его тело и мозг, достигло невероятной силы. Он возбужденно поглядывал на дверь, прислушивался к звукам на дворе, но кругом было тихо.

«Что же так долго не слышно крика? Почему не возвращается Селезень?» — обеспокоенно подумал Демидов.

Тусклые глаза его скользнули вдоль аллеи, убегавшей от террасы в глубину сада. Окаймленная цветущей сиренью, она манила прогуляться. Укрытые пышными душистыми гроздьями цветов, кусты казались лиловыми.

Старый, густолиственный, совершенно запущенный

сад с тенистыми дорожками, с дремучими зарослями одичавшего кустарника,— сколько грустных воспоминаний навевает он сейчас! Вот прямо от ступенек террасы круглый бассейн, наполовину покрытый зеленой ряской. Подле воды, на низком гранитном пьедестале, белеет нестареющая статуя козлоногого сатира. Сколько в нем дикости, силы и страстности! Он стоит, скрестив на косматой, с выдающимися ключицами, груди худые руки. Большой жадный рот с толстыми чувственными губами искривлен от желаний, а выпуклые, навыкате глаза нагло и дерзко смеются.

Да, когда-то в этом парке проходила иная жизнь, и тогда он, Демидов, был молодой и сильный. А сейчас он очень походил на покойного дядюшку Никиту Никитича! Тот же злой, волчий взгляд, высокомерная брезгливость к окружающим и такая же прорва жестокости.

Никита Акинфиевич, опираясь на суковатую палку, спустился к бассейну. Повеяло прохладой, легкий ветерок рябил тихую воду, и в ней, в зеленой глубине, сверкало отражение сатира. Оно слегка покачивалось на воде, и Демидову казалось, что живот и грудь козлоногого дрожали от беззвучного смеха. Никите стало не по себе, и он обеспокоенно оглянулся на статую.

«Но что же так долго не идет Селезень?» — недовольно нахмурился он и нетерпеливо захлопал в ладоши.

— Эй, кто там есть, холопы! — пробасил он хриплым голосом, и глухой рокот покатился к хоромам.

По его зову на веранде вновь появился приказчик. Избегая встретиться взглядом с Никитой Акинфиевичем, он смущенно потупился, молчал.

— Ну? — строго спросил Демидов.— Отхлестали? Молчком, что ли, отошел в лоно Авраамово?

Селезень поднял на хозяина потемневшие глаза.

— Сбег! — коротко сказал он.

— Как сбег? — выпучил глаза от изумления Никита Акинфиевич.— Не может быть! — Он крепко сжал толстую палку и пошел на приказчика. Лицо хозяина искривилось от злобы, толстые багровые щеки, похожие на окорока, тряслись.

— Побойтесь бога, Никита Акинфиевич! — покорно взмолился Селезень.— Да нешто я виноват в сем деле?

Взор Демидова внезапно упал на мраморного ци-

ника, руки которого по-прежнему были скрещены на груди сильным движением, а губы кривились от наглости и презрения. Демидов повернулся к бассейну, и на его колеблющейся поверхности он увидел, как могучее тело сатира — его худые выдающиеся ребра и тощие бока — дрожало от злорадного хохота. Никита взбесился, размашистым сильным движением бросился к статуе, опрокинул ее на землю и стал колотить палкой.

Голова сатира, упавшего на каменный край водоема, с дребезгом откатилась к ногам обезумевшего заводчика. Белыми искрами сыпались куски мрамора в зеленую глубину пруда и на платье Никиты.

— Над кем смеешься? Над кем? — в ярости кричал Демидов, и вдруг внезапная страшная судорога прошла по лицу. Он странно обмяк, бессильно выпустил палку и, словно подкошенный невидимой силой, упал на обломки и протяжно простонал:

— А-а-а...

— Батюшки, да что же это такое? — в отчаянии вскрикнул приказчик и бросился к Демидову. Лицо хозяина стало белее полотна, расширенные зрачки застыли, на дряблых слюнявых губах пузырилась пена.

— Люди, с хозяином худо! — вбежав на террасу, на все хоромы истошно закричал перепуганный приказчик. Он быстро вернулся и обнял Никиту Акинфиевича за плечи.— Батюшка, что с вами? Очнитесь! — упрашивал он Демидова. А тот, упав лицом на холодный изуродованный мрамор, хрипел.

На испуганный крик приказчика отозвались многочисленные голоса: со всех концов дворца сбегалась дворня. Толкаясь, дворовые спешили выбраться на террасу. Прибежал с лейкой в руке старичок садовник, за ним приковылял домашний лекарь — сухонький, тщедушный немчик Карл Карлович. Поблескивая большими сползающими на красноватый нос очками, он суетливо растолкал дворню и схватил хозяина за обвислую руку.

— Это есть апоплектична удар! — с ученой важностью вымолвил лекарь.— Надо живо в постель!

Еще больше огрузневшего Никиту с натугой отволокли в просторный светлый кабинет и положили на широкий ковровый диван. Селезень проворно разоблачил Демидова. Набежавшая дворня, толпясь, с любопытством молчаливо рассматривала поверженного внезапной хворостью заводчика. Их волновали и страх

и радость. Могучий и грозный хозяин, который держал в своих руках огромные владения и заставлял трепетать вокруг себя все живое, вдруг разом сражен и стал беспомощен. И оттого, что грозный нижнетагильский властелин так сейчас беспомощен, радовалось сердце крепостных. Не одна пара глаз дворовых с плохо скрытой ненавистью смотрела на Демидова.

— Уйди прочь! Уйди сейчас! — суматошно замахал руками лекарь на дворню.— Нужна пускать кровь!

Он прокричал что-то черноглазой горничной девке, и та, мелькнув крепкими пятками, унеслась из кабинета. Селезень выгнал дворовых, закрыл за ними массивную дверь. Никита Акинфиевич лежал скрюченный и безмолвный. Приказчик пытливо посмотрел на лекаря. «Неужто помрет хозяин?» — спросил его встревоженный взгляд.

— Он будет жить! — важно сказал Карл Карлович и стал засучивать рукава.— Мы будем открывать кровь...

Словно перед устрашающей бурей, во всем обширном доме установилась глубокая, гнетущая тишина. Никита Акинфиевич незадолго до беды овдовел, дочь отвезли на воспитание в Санкт-Петербург к родственникам, и сейчас при отце оставался один сынок Николенька. Гувернантка, мисс Джесси, увела его в сад.

Лекарь пустил Демидову кровь. Густая, черная, она тяжелыми каплями с легким стуком падала в подставленный медный таз. Черноглазая горничная девка со страхом смотрела на стекающую кровь.

2

Три дня Никита Акинфиевич безмолвно лежал, отвернувшись к стене. Страшное оцепенение овладело не только его телом, но и душой: все вдруг стало безразличным. С назойливостью вспоминалось безнадежное изречение из книги пророчества Экклезиаста: суета сует и всяческая суета!

Осторожно, тихо слуги вынесли из кабинета лишнюю мебель, и стало больше простора. По приказу лекаря закрыли ставни, в комнате сгустился полумрак, и всюду запахло сыростью, лекарствами и неприятным застоявшимся воздухом, обычным в плохо проветриваемых помещениях.

На четвертый день Демидов пришел в себя, вызвал приказчика Селезня и долго пытливо смотрел на него.

— Что, небось холопы думали — умру? — В глазах больного вспыхнули злорадные огоньки.— Погоди, я еще встану. Жить буду!

Говорил хозяин уверенно, спокойно, и приказчик твердо уверовал, что Никита Акинфиевич и в самом деле скоро поднимется со своего скорбного ложа.

— Покличь сына! — властно приказал Селезню Демидов.

— Mein Gott![1] — потрясая руками, огорченно вскричал лекарь.— Мой добрый господин, что ви делает? Вам нужна абсолютна покой...

— Ты погоди, не лезь! — рассудительно остановил его хозяин.— Хватит, еще належусь. Наследника хочу зреть. Зови! — кивнул он приказчику.

В эту самую пору в большом зале за круглым столом сидела англичанка Джесси, а подле нее вертелся на стуле неугомонный сынок Демидова Николенька. Крепкий, широкоплечий, с румянцем во всю щеку, пятнадцатилетний мальчуган нетерпеливо выслушивал нудные наставления гувернантки. Из его карих озорных глаз брызгал смех. Она сидела прямая и сухая, вытянувшись в струнку, с седеющими жиденькими волосиками, тщательно завитыми. Из-под рыжеватых бровей на Николеньку строго посматривали серые живые глаза в очках. Перед мисс Джесси лежала раскрытая книга, но она не смотрела в нее, а все говорила и говорила, медленно, тягуче и так скучно, как скучно и надоедливо моросит осенний дождик.

— Ты очень взбалмошенный мальчишка! Ты нисколько не жалеешь отца! — укоряла она его.— Он очень болен, весьма болен. Это надо понимать!

Сухие губы мисс недовольно поморщились. Она вскинула на мальчугана серые глаза и продолжала свою бесконечную жвачку:

— Каждый человек всегда должен думать о своем здоровье. Я когда немножко болен, иду к Карлу Карловичу, прошу узнать, что это такое? Он говорил мне надевать мою теплую шубку, шарф, платок, хорошую обувь, и тогда я шла на солнце. Я вот так сидела целый день. Смотри! — Она молитвенно сложила на

[1] Мой бог! *(нем.)*

плоской груди руки и жадно задышала.— Это очень, весьма полезно для здоровья...

— Трах! — вдруг хлопнул кулаком по столу Николенька.— Убил!

Мисс Джесси нервно вздрогнула, скривила тонкие губы.

— Ах, какая нечистота! — морщась, недовольно посмотрела она на озорника.— Так не может поступать благородный человек!

— Так это ж муха! Ха-ха, муха! — Молодой Демидов вскочил и запрыгал на паркете. Он кривлялся, размахивал руками, гримасничал, не замечая грустного выражения на лице оскорбленной мисс.

Косая полоска солнца упала в распахнутое окно дворца, золотой дорожкой протянулась по паркету и воспламенила густые кудреватые волосы озорника, его круглое курносое лицо и большие оттопыренные уши.

— Ха-ха, муха! — кричал неистово Николенька, когда на пороге чинно появился приказчик Селезень.

— Вас зовут, Николай Никитич,— почтительно сказал приказчик шалуну и хмуро посмотрел на гувернантку. «Опять небось великовозрастному детине морочит голову, а у него на уме, поди, другое!» — недовольно подумал он.

Веселый, потный и румяный Николенька ворвался в комнату Никиты Акинфиевича.

— Батюшка! — радостно кинулся он к отцу.— Батюшка, милый, вы все еще лежите, а на дворе-то как хорошо!

Щеки мальчугана пылали. Каждая жилочка, каждый мускул в его резвом здоровом теле жаждали движений, игры. Желтое, поблекшее лицо Демидова озарилось доброй улыбкой.

— Все озоруешь, буян? — сказал он ласково.

— Ви будьте ошень осторожна: господин есть болен! — строго предупредил лекарь, сдерживая пыл демидовского наследника.

Нахмурив круглый загорелый лоб, Николенька осторожно уселся на краешек дивана. Он поджал полные длинные ноги и выжидательно смотрел на отца. Демидов залюбовался сыном. Стройный, крепкий, с выпуклыми темными глазами, он многим напоминал Никите Акинфиевичу деда — тульского кузнеца.

— Хорош! Демидовская кость! — не утерпел и похвалил сына больной. На мальчугане были надеты ко-

роткие бархатные штаны и камзольчик коричневого цвета, плотно обтягивавший его крупное, слегка полное тело, на груди — белое кружевное жабо. «Настоящий барин, дворянин!» — с одобрением подумал Никита, и чело его омрачилось: «Жаль, не дожила Александра Евтихиевна до сих дней. Полюбовалась бы детищем!» Он вздохнул и, построжав, сказал сыну:

— Видишь, немощен я стал. На сей раз по благости бога выберусь из беды, но курносая все же не за горами сторожит меня. По всему видать, отгулял я свое, а у тебя на уме только шалости. Помни, сын, ты мой единственный наследник, и на тебя теперь все упования — не только мои, но и рода демидовского. Все, что не довелось завершить мне, сделаешь ты! Пора к делу ближе стать. Экий ты великовозрастный стал, прямо жених! — с искренним любованием вырвалось из уст старика.

Он многозначительно замолчал, собираясь с мыслями. Николенька между тем егозил на диване; его нежный сыновний порыв давно уже остыл: затхлый воздух комнаты, лекарственные запахи были ему не по душе и гасили его шальную радость. Он недовольно, слегка брезгливо морщил нос, стараясь почтительно смотреть в глаза отцу.

— Вы что-то хотели сказать, батюшка? — нетерпеливо напомнил он больному.

— Да, да, сказать! — перебирая сухими скрюченными пальцами по голубому атласному одеялу, сказал Демидов.— Селезень, ты здесь? — повысил он голос и властно посмотрел на приказчика, ожидающе вытянувшегося у двери.

— Здесь, Никита Акинфиевич, и слушаю вас,— негромко отозвался Селезень.— Вам шибко говорить вредно!

— Подойди сюда поближе да слушай, холопья душа! — сурово сказал Демидов.— Сына моего и наследника настала пора приучать к делу. Отыщи разумного мастерка, пусть пройдет с ним все доселе известное в нашем искусстве. Искони Демидовы знали добычу руд, плавку их, изготовление железа. Пусть и он, Николай Никитич, до всего доходит сам. Пора! А мисс Джесси пусть с годок поживет у нас в имении... Все... А ты можешь идти! — обратился он к сыну и одними глазами улыбнулся ему.

Николенька вскочил и вихрем вырвался из кабинета. Скользя по навощенному паркету, он пронесся по залу

и через широко распахнутые двери выбежал на куртину. Там, подняв голову, стояла англичанка и восхищенно любовалась пухлыми облаками, величественно-медленно плывущими по синему-синему небу. Завидя шумного питомца, она закатила под лоб глаза и томно вздохнула:

— Ах, Николенька, давай будем любоваться природой! Мы будем сейчас немного благоразумны: вот хороший дорожка, и мы пойдем взад и вперед по ней, и будем глубоко дышать, и смотреть на облака и на вот эти цветочки, и думать о чудесный божий дар — природа!

Молодой Демидов скорчил постную гримасу, отмахнулся.

— Ну вас, мисс Джесси! — Он взвизгнул и резвым жеребенком побежал вокруг куртины.

— Странно, очень странно! — глядя ему вслед, укоризненно сказала англичанка.— Я никак не предполагала, что ты не любишь природу. Ты совсем равнодушен ко всему этому!

— Люблю! Люблю! Не равнодушен! — закричал весело Николенька.— Только вы мне надоели!

Зоркими глазами Николенька заметил на плотине рыжую девчонку, разбежался, подпрыгнул и с визгом одним махом пронесся через клумбу и помчался по дороге к пруду. В минуту он почти настиг рыжую, но, заметив барчонка, стройная и проворная дворовая быстро вильнула и скрылась в тальнике. Молодой Демидов следом за ней вломился в зеленую чащу.

Мисс Джесси долго смотрела на колеблющиеся тонкие вершинки тальника, потом огорченно вздохнула:

— Боже мой, что только будет с ним! В мальчике говорит плебейская кровь. Фи, с какими людьми он ведет знакомство! — Она презрительно передернула худыми плечами и, горделиво вскинув голову, пошла к террасе.

3

Николенька нисколько не унывал оттого, что с отцом случился удар. Только теперь, в дни болезни Никиты Акинфиевича, он почувствовал истинную свободу. Его порывистый, страстный и необузданный характер не знал границ, только один строгий и крутой на руку отец мог сдерживать его порывы. Сейчас эта преграда пала: батюшка второй месяц недвижим лежал у себя на диване.

Совсем недавно Карл Карлович разрешил открывать ставни, и голубой летний день, смотревший в окна кабинета, бодрил Демидова. Его слух привычно ловил знакомое ритмичное дыхание завода. Изредка в окно доносились крики дворовых, а среди них выделялся резкий, буйный голосок сына, от которого у Никиты Акинфиевича теплело на душе. В эти часы душевного покоя он чувствовал, как в его огромное костистое тело вновь возвращается жизнь. И с постепенным приливом сил Демидов вспоминал давно минувшее: свою первую любовь — золотоголовую горячую полячку Юльку, горемычную Катерину, итальянку Аннушку и горькую судьбу Андрейки.

«Все, все отошло, словно в туман уплыло! — грустно думал он.— Много бед и крови... Ох!» — тяжко вздыхал он, беспокойно ворочаясь на постели...

А в эти часы печальных отцовских раздумий сынок куролесил среди дворовых. Мисс Джесси оставалась в одиночестве и подолгу сидела у распахнутого окна своей горенки, в которой в давние годы томилась Юлька. Молодой Демидов бушевал в нижних хоромах. Однажды в послеобеденный час, когда грузно набившая утробы дворня вместе с приказчиком находилась в дремучем сне, Николенька прокрался к рыхлой, толстой стряпухе и густо вымазал ее лицо сажей. Только что пробудившийся от обуревавшего крепкого сна приказчик Селезень скричал подать квасу. Почесываясь, стряпуха вышла из каморки.

— Свят, свят, с нами бог! — оторопело пятясь к двери, закрестился приказчик.— Анчутка! — заорал он.

На крик набежали дворовые и со страхом пялили глаза на стряпуху.

— Да вы сдурели, что ли? — сердито сверкая белками глаз, закричала она.

— Господи боже, твоя воля, никак это голос Домахи? — все еще не веря своим глазам, ахали дворовые. Толстопятая горничная девка сбегала в барские покои и принесла серебряный поднос.

— Накось, взгляни на себя! — предложила она, подставив под круглое лицо стряпухи зеркальный металлический лист.

— Ахти, худо мне! — взглянув, вскрикнула стряпуха и стыдливо закрыла лицо передником. Она бросилась к рукомойнику, мылась, терлась и вся кипела от нахлынувшего гнева.

Через распахнутые окна кухни, в которой жаром дышала раскаленная печь, донеслись озорные крики молодого Демидова.

— Ах он, пакостник! Ах, бесстыдник! — вскричала баба и кинулась во двор, где шумели чем-то встревоженные куры.

Там, среди площадки, вертелся Николенька с зажатым между коленями пестроперым петухом и щипал из него перья. Сильный и злой певун не поддавался озорнику. Хрипя, дергаясь, он вырвался из разбойничьих рук Николеньки и не струсил, не убежал, а взлетел на спину своему тирану и стал клевать его в затылок. Втягивая голову в плечи, стараясь смахнуть с себя злобную птицу, молодой Демидов побежал по двору. Но прославленный по всему заводу бесстрашный петух-забияка так вцепился острыми шпорами в бархатный камзольчик, и так сильно бил крыльями, и так упорно и больно продолжал долбить в спину, в плечи, в затылок, что Николеньке на самом деле стало страшно. Он не удержался и закричал на весь двор:

— Ка-ра-у-ул!

— Что? — ехидно ухмыльнулся в седую бороду Селезень.— Нашла коса на камень? Этот, братец, петун на весь петушиный народ разбойник! — Приказчик схватил метлу и бросился оборонять молодого Демидова.

Встрепанный, изрядно исцарапанный, но веселый, Николенька побежал по двору и заливисто на ходу закукарекал.

— Это же непорядок, Николай Никитич,— степенно осудил задиру приказчик.— Петька победил, а вы оповещаете весь двор!

Но мальчуган не слышал увещеваний старого приказчика: он уже мчался через площадь к слободским избам, напрашиваясь на новую потеху.

— Слава тебе господи! — облегченно вздохнула стряпуха.— Хоть часик-другой даст дворовым роздых!

Однако Николенька не добежал до слободы, свернул к пожарке. Там, у наполненных водою бочек, дремал худой, сутулый дед, босой, в теплом гречушнике. Подле него в тени лежал разморенный жарой дряхлый козел. Демидовский сынок тенью скользнул мимо деда, подобрался к грязному, всклокоченному козлу и подвязал к его хвосту погремушку. И этим еще не удовлетворился озорник: птицей взлетел он по ступенькам

скрипучей лесенки на каланчу и тревожно зазвонил в набатный колокол.

Дед очумело вскочил и выбежал из-под навеса. Протирая красные, слезящиеся глаза, взглянув вверх и узнав Николеньку, старик взмолился:

— Ну что наробил, баринок? Засекут теперь меня, старого, по наказу Никиты Акинфиевича.

Разбуженный пожарным сполохом, козел по привычке выбежал на площадь, и так как звон позади него не прекращался, он ошалело закружился на месте. Со всех сторон на тревогу сбегались поднятые работные и, не видя дыма, наперебой спрашивали друг друга:

— Что стряслось? Не отошел ли, часом, хозяин?

И тут перед каланчой, как всегда словно из-под земли, вырос вездесущий приказчик Селезень.

— Николай Никитич, пожалуйте домой! — закричал он, задрав бороду к вышке.

Молодой Демидов прекратил звонить, но сейчас его внимание привлекла чудесная панорама, которая развертывалась вокруг: по необъятному синему небу вереницей плыли пухлые облака, и легкая лебяжья стая их чудесно отражалась в нежно-аквамариновых водах пруда. За белым дворцом зеленой стеной стоял густой сад, а за ним, где-то далеко, на слободе лаяли псы. На самом солнцепеке, на песке у пруда, лежали заводские ребята; то и дело их бронзовые тела ласточкой бросались с высокого гребня плотины в темный омут. Ух, как хорошо! У Николеньки дух захватило от возбуждения. Только серебряные брызги, как искры, быстролетно мелькали на солнце. А над головой молодого Демидова, медленно шевеля распахнутыми крыльями, высоко в лазури парйл орел. Мальчуган опустил глаза вниз. Там, поминутно подтягивая сползающие с костлявого тела портки из ряднины, дед-пожарник незлобиво грозил:

— Вихорь его возьми! Погоди, ужотка доберусь до тебя. Ишь лупоглазый, что натворил!..

4

Теплая летняя ночь; стояла пора звездопада. С гор дул мягкий ветер и порывами приносил запахи соснового леса, легкой гари с болот. Густые кроны деревьев в господском саду тихо, задумчиво лепетали, и еле

слышный шорох их сливался и угасал в глубоком безмолвии ночи. В демидовском доме давно погасили огни, и все отошли ко сну. Только среди темных ветвей древней дуплистой березы, которая росла у стены дворца, вверху блестели, точно золотые дощечки, освещенные оконца в светелке мисс Джесси. В косых лучах света чуть-чуть дрожали озаренные листья, и тонкий, слегка дурманящий аромат доносился в распахнутое окно.

Среди горенки с низким потолком на ветхом, обтертом стуле сидела мисс Джесси. Спина ее горбилась, вокруг большого рта легли усталые, печальные морщины. Ее глаза, освобожденные от очков, казались совиными, странно щурились, принимая тревожное, недоумевающее выражение.

Старая дева пристально разглядывала себя в овальное зеркало. Покачивая утиной головкой с навернутыми бумажными папильотками — от чего на стене колебались тени рогулек,— она то приближала лицо к зеркалу, то вновь отклонялась от него. Улыбаясь загадочно, мисс щерила большие желтые зубы, и улыбка эта удивительно походила на страшный оскал мертвой головы.

О чем думала мисс Джесси в эту минуту? Ночью, когда глубоко и свободно дышит вся природа и тысячи ароматных испарений насыщают воздух, когда каждый цветок и каждая былинка, согретая солнцем, и теплая росистая земля, и мимолетное облачко — все, все веет чистотой, свежестью, прохладой и покоем,— мисс Джесси, наверное, думала об утерянном...

Жалкой и смешной казалась себе старая дева. И еще смешнее показалась она, когда спустила с плеч платье и залюбовалась своим желтым костлявым телом, покрытым от холодка гусиной кожей.

Молодой Демидов сидел на дереве среди густых ветвей и все видел.

— Ух, страсти! — разочарованно вздохнул Николенька. Он неосторожно зашевелился, и под его ногой треснул сучок. Англичанка вздрогнула, быстро прикрыла плечи и подошла к окну.

— Кто здесь? — испуганно прошептала она.

Среди озолоченных светом листьев показалось смеющееся лицо Николеньки. В глазах его светилось озорство.

— Что вы здесь делали? — строго спросила мисс Джесси.

Молодой Демидов не смутился; смотря в глаза гувернантке, признался:

— Больно уж захотелось поглядеть, похожи ли вы, мисс, на наших крепостных девок! — Николенька ехидно улыбнулся, высунул язык и быстро по стволу березы скользнул вниз. Под его торопливыми движениями слышался шелест листвы, да между заколебавшимися ветками выглядывали синие звезды. Англичанка свирепо процедила сквозь зубы:

— Какой стыд! Взбалмошенный мальчишка!..

Она энергично захлопнула окно, резким движением задернула штору и взволнованно опустилась в кресло, закрыв лицо руками. В эту минуту Джесси поняла, что она некрасива, поблекла, что никто ее не понимает и не поймет в этой стране, где люди и сильны и напористы. Слезы заблестели на ее рыжеватых ресницах.

— Боже мой, как страшна и безобразна старость! — тяжело вздохнула она и устало опустила руки.

Глава вторая

1

Россия деятельно приступила к утверждению своей безопасности на юге со стороны турок. В 1778 году в Азовском крае стараниями русских были возведены многие города. На берегах моря возникли Херсон и Мариуполь, а на границах Крымского ханства — Екатеринослав. Беспокойство Турции было велико. Особенно встревожились турки, когда увидели, что подвластные им греки и армяне с семьями и со всем своим скарбом стали перебираться в отстроенные российские города. Но более всего тревожило Порту положение в Крыму, который долгое время служил угрозой русской земле. Издавна, многие столетия, отсюда крымчаки совершали свои набеги и нашествия на Русь. Через Дикое Поле, по старинному Муравскому шляху, прорываясь через засеки на север, многочисленные орды татарских наездников добирались до Москвы. Не раз столица Московского государства пылала от их рук. Настало время, когда решено было положить предел

вечным беспокойствам на южной границе нашей родины. В Крыму в эту пору шла ожесточенная борьба двух партий, турецкой и русской ориентации. Хан Шагин-Гирей, свергнутый с престола турецкими ставленниками, обратился за помощью к русским. Россия вернула ему трон, но поскольку интриги и происки Турции не прекращались, число русских войск в Крыму увеличилось, и в скором времени начались переговоры с ханом Шагин-Гиреем, которые привели к желанной цели. Хан отказался от своих прав, и Крым 8 апреля 1783 года навсегда был присоединен к России.

Событие это вызвало чрезвычайно сильное волнение в Константинополе. Ожидался разрыв между Россией и Турцией, которая грозила войною. Однако благодаря усилиям Потемкина и русского посла в Турции Булгакова Порту удалось отклонить не только от войны, но еще и заключить с нею 23 июня 1783 года очень выгодный для России торговый трактат, а 28 декабря была подписана с турками конвенция, по которой Крым оставался за Россией и река Кубань назначалась границей между обоими государствами. Таким образом, за русскими закреплялся обширный, богатейший, но малонаселенный край, названный Новороссией.

Генерал-губернатор вновь приобретенных земель князь Потемкин энергично приступил к устройству городов, возведению крепостей, заселению диких степных пространств и развитию земледелия. Он мечтал о превращении Новороссии в оживленный край, в котором процветали бы промышленность, искусства, и тем самым Россия прочно стала бы на Черном море.

По его приказу разводились в степях леса, виноградники, тутовые деревья для шелковичных червей, возникали фабрики, казармы, дворцы и театры. И, самое важное, на Черном море стали строить русский флот.

Своим дерзновением Потемкин поражал многих современников. Он засыпал государыню самыми смелыми и неожиданными проектами, в которых было больше необузданной фантазии, чем реальной возможности. Екатерина Алексеевна, не зная подлинного состояния дел в Новороссии, слепо верила своему фавориту, щедро награждала его чинами, крепостными, дворцами. Потемкину пожаловали все русские ордена, звание генерал-фельдмаршала и президента военной коллегии. Ему шли огромные суммы, из которых он беззастенчиво

заимствовал на личные надобности и прихоти. Генерал-губернатор Новороссии не считался ни с чем. Пользуясь особым доверием и благорасположением к нему государыни, Потемкин злоупотреблял своею властью, часто не различая государственных средств от личных. Миллионы рублей уходили на удовлетворение причуд светлейшего. Города оставались недостроенными, проекты забывались, а между тем казна заметно опустошалась. Нашлись люди, которые повели против Потемкина борьбу, стремясь доказать, что он обманывает государыню, что делаемые огромные затраты не принесут никакой пользы, да зачастую и используются-то они не по назначению. В ответ на козни Потемкин прибыл в Санкт-Петербург и, хотя был принят Екатериной Алексеевной с заметной холодностью, все же сумел увлечь ее грандиозными проектами изгнания турок из Малой Азии. Он мечтал на развалинах Порты восстановить Грецию под скипетром Константина — внука Екатерины. «Греческий» проект наделал много шуму, и, хотя на первый взгляд казался плодом неудержимой фантазии Потемкина, на самом деле он был построен на серьезных основаниях. Стремление осуществить его привело к большим историческим событиям. Русские окончательно утвердились на Черном море, Крым стал неотъемлемой частью России, и границы нашего государства далеко раздвинулись на запад и юг.

Чтобы показать воочию, что творится на юге, Потемкин пригласил государыню совершить путешествие в Новороссию. 7 января 1787 года Екатерина Алексеевна с огромной блестящей свитой выехала из Царского Села. Потемкин окружил это путешествие императрицы большой помпезностью и блеском. Все делалось наспех, разбрасывались огромные средства, хищнически использовалась рабочая сила — и все только для того, чтобы обмануть царицу. Как опытный постановщик спектакля, Потемкин разыграл перед ней фантастическую феерию. По его проектам на пути следования государыни были построены на скорую руку показные дворцы, станции и даже города. Кременчуг был превращен в маленькое своеобразное подобие столицы. Всюду прокладывались дороги, разбивались тенистые сады, а на Днепре взрывались пороги. На левом берегу реки, против Херсона, в течение нескольких зимних месяцев 1787 года возвели город Алешки. На Днепре готовились десятки роскошных галер в

римском вкусе. Шло строительство Черноморского флота.

Путешествие императрицы Екатерины, которое она совершала вместе с австрийским императором Иосифом II, походило скорее на сказочный спектакль, чем на деловой осмотр вновь приобретенного края.

Громадная флотилия галер, во главе с самой роскошной — «Днепр», двинулась по реке. За ней следовал «Буг», на котором пребывал Потемкин. В наиболее живописных местах флотилия останавливалась, и государыня с гостем выходила на берег, где в ее честь устраивались пышные празднества, происходили маневры казачьих войск, гремели пушки и огнями радуг рассыпался фейерверк.

На всем протяжении пути по степи государыня и ее свита видели изумительные картины. Там, где еще недавно простиралась дикая пустыня, теперь виднелись богатые села, красивые здания, церкви, в гаванях — купеческие корабли, груженные товаром, а на полях паслись бесчисленные стада тучного скота. Красочно одетые поселяне водили хороводы и прославляли счастливую жизнь.

Еще более великолепные картины цветущего края раскрылись перед Екатериной Алексеевной в Крыму, где сама ласкающая природа и голубое море окончательно пленили ее. С момента вступления государыни в Тавриду императорскую карету сопровождала блестящая татарская конница. Самые знатные татарские мурзы, разодетые в яркие одежды, составляли почетный кортеж государыни, приводя ее в восхищение джигитовкой и различными конными эволюциями. Даже австрийский император не мог налюбоваться на это поистине прекрасное зрелище.

В Симферополе Екатерину Алексеевну поразил пышный сад, разбитый в английском вкусе. Не менее роскошный сад чисто восточного стиля привлек внимание государыни в Карасубазаре. Неумолчно журчали фонтаны, шумные водопады в знойный полдень приносили освежающую прохладу. В густой сени парка высился пышный дворец, а с наступлением ночи императрица была изумлена сказочным фейерверком в триста тысяч ракет. Все здесь напоминало сказку из «Тысячи и одной ночи».

Но самое эффектное зрелище ждало императрицу в Инкермане. В специально выстроенном для приема

дворце во время обеда вдруг распахнули занавес, и перед очарованной государыней открылся вид на море. Словно по волшебству, перед ней предстала Севастопольская гавань с десятками военных кораблей. И в этот торжественный миг началась пальба из пушек, приветствовавшая рождение Черноморского флота...

Государыня осталась в восторге от всего увиденного ею. В результате путешествия в Новороссию светлейшему были выданы большие награды и присвоено наименование Потемкина-Таврического...

Враги Потемкина были посрамлены и не посмели раскрыть перед царицей горькую правду. Между тем она была просто-напросто обманута энергичным и ловким фаворитом. Великолепные селения, которые императрица видела издали на своем пути, были не что иное, как театральные декорации. Огромные стада, которые паслись возле наспех созданных «потемкинских деревень», были пригнаны со всего края и украшали собою дорогу, а ночью их перегоняли с места на место, чтобы показать царице, сколь изобилен новый край. Передавали, что в интендантских складах вместо муки находился песок, а разодетые, веселящиеся пейзане сгонялись со всей Новороссии, чтобы создать картину полного народного благоденствия. Разговоры об обмане Потемкиным государыни были справедливы: в предприятиях его оказалось много показного и несерьезного. Но один несомненный и неопровержимый факт остался непоколебимым: благодаря талантливым русским флотоводцам и кораблестроителям отныне Российская держава упрочилась на Черном море, и это могущество нашей земли заставило призадуматься иностранные державы...

2

Блистательное путешествие в Новороссию русской императрицы явилось своеобразной политической демонстрацией. Турция не выдержала и объявила России войну, которая и началась в августе 1787 года. Открывшиеся военные действия потребовали от Урала — старинного испытанного поставщика оружия — огромного количества пушек, ядер, железа. Это придало силы Никите Акинфиевичу Демидову. Он постепенно стал поправляться от перенесенного удара. Жажда движения, стремительной деятельности по-прежнему овла-

дела его дряхлеющим телом. Неудержимо потянуло на завод. Но, увы, тело все еще не было послушно его желаниям! Шаркая парализованной ногой, опираясь на плечо приказчика Селезня, он с большим трудом на ранней заре подошел к распахнутому окну. Словно вновь рожденный, хозяин с любопытством оглядывал горы, пруд и прислушивался к заводским звукам. Тучи пара и дыма окутывали старые домны, в которых день и ночь плавили руду, лили чугун и сталь. Багровые языки пламени порой прорезали дымную мглу, и тогда Демидову казалось, будто на верхней площадке домны распускается невиданный жаркий цветок. На земле еще лежала ночная тень, но первые лучи солнца уже скользили по гребням высоких гор... Постепенно и незаметно все начало сверкать золотыми отблесками. Широкий пруд покрылся шелковистой рябью. Жирные и тугие караси выплывали на поверхность, стремительно выскакивали из воды и с громким плеском тяжело падали, сверкая золотой чешуей. В небе пронеслись трубные звуки перелетных лебедей. Осень надвигалась на горы, бродила по лесам и парку, раскрашивая их в золотисто-оранжевые цвета. На кустах в парке слюдяным блеском сверкала паутина.

— Ах, хорошо! Ах, дивно! — улыбаясь, прошептал Никита и стал жадно дышать.

Впереди на заголубевшем небе темнел четкий контур горы Высокой, давшей жизнь заводу. Редкие кустики чахло зеленели на красных глинистых склонах, по которым серыми змейками сбегали глубокие рытвины, промытые дождями. Кругом темными силуэтами громоздились знакомые с юности вершины Белой, Острого Камня, Старика, Шайтана, Веселых Гор. Одиноким пиком высился Медведь-Камень. А на берегу пруда, в самом центре Тагила,— высокая Лисья гора. Никиту Акинфиевича потянуло на вершину.

— Несите на Лисью! — приказал он.

— Ой, что ты, хозяин! — в страхе взглянул на него Селезень.— Поберечься надо! Придет час — сам зашагаешь... Мы еще потопаем по земле, Никита Акинфиевич,— лукаво ободрял он Демидова.

Прибежал лекарь, умоляюще поднял худые костлявые руки и затараторил:

— Бог мой, этого нельзя делать! Нельзя! Нельзя!

Маленький, остроносый, он походил на щуплого, за-

моренного курчонка. Никита поморщился, отмахнулся от лекаря.

— Кш... Уйди. Мне лучше себя знать. Нести на гору! — властно приказал он.

Соорудили род паланкина, накидали гору подушек и на них уложили хозяина. Крупный, породистый, с горделивой осанкой, он возлежал, как римский патриций. Его несли бережно, медленно, словно хрупкий сосуд с драгоценной влагой. Паланкин тихо и ритмично раскачивался в такт движению. Толпа слуг, во главе с Селезнем и лекарем, сопровождала хозяина.

Стоял синий сентябрьский день. Умиротворенный Демидов ненасытными глазами разглядывал окружающее. Было так отрадно ощущать заново мир, играющий всеми красками. В голубом небе тянули гусиные косяки. Он проводил их завистливым взглядом. Мимо горы сторонкой промелькнула стайка хохлатой чернети. Где-то тонкоголосо звенел ручей, и ветер приносил из леса смолистые бодрящие запахи.

С каждым шагом в гору все шире и пестрее раскрывается окрестность. Среди старых деревянных строений постепенно поднимается завод и распахиваются необъятные дали.

Хозяина принесли на вершину Лисьей горы.

— Стойте! — крикнул он людям, и они послушно спустили паланкин на землю, обложили Демидова подушками. Он сидел как старый зоркий коршун, рассматривая свое родовое гнездо.

Вот в широкой живописной долине синеет река Тагилка, неся свои воды к необозримому заводскому пруду. Огромный белый дворец среди осеннего парка. Под ярким солнцем пруд зыблется и мерцает. У самого берега — село Гальяны. А еще дальше — могучие, суровые горные кряжи, которые придают всему окружающему грозное величие. И опять взор перебегает на любимый завод. Знакомые доменные печи, выпускающие клубы черного дыма со снопами ярких искр и жаркими языками вырывающегося по временам огня. На склонах Магнитной горы, в отвалах, словно муравьи, копошатся люди, роют руду, грузят ее на тележки, и обозы лентой тянутся к доменным печам.

Никита пытливо посмотрел на приказчика и сказал:

— Многие всю жизнь ищут кладов втуне. А вот он, великий, неисчерпаемый клад! — Он указал глазами на Высокую и добавил: — Отныне и до века не исчерпать

тут руд. И все мое, демидовское! Руды тут самые лучшие, и железо оттого непревзойденное. Знал батюшка, где искать добро!

И впрямь, похвала Никиты Акинфиевича была не пустая: демидовское железо с маркой «Старый соболь» славилось не только на своей земле, но и за границей. К марке «Старый соболь» он добавил свое клеймо: «CCNAD», что означало — статский советник Никита Акинфиевич Демидов.

Хозяин еще раз оглядел завод и отвалы Высокой; взор его перебежал к пруду, к зеленым островкам, и вдруг на ресницах повисла тяжелая слеза. Никто не знал, что́ тронуло сердце заводчика. А перед его задумчивым взором вдруг мелькнуло минувшее. В куще дуплистых вязов догнивал старый дедовский дом — первое жилье Демидовых на Тагилке-реке. Обрушивался на островке храм Калипсо. Давно ли это было? Кажется, только вчера они бродили вместе с золотоголовой Юлькой, совсем недавно он был молодой, сильный, и вот все ушло и не воротится больше!

Никита Акинфиевич глубоко вздохнул и поманил приказчика.

— Несите к дому,— упавшим голосом сказал он.

На душу Демидова легла тихая грусть, он присмирел и дорогой не проронил ни слова...

Несмотря на томление, которое охватило хозяина при воспоминании о прошлом, он быстро справился с тоской.

— Хватит! — словно ножом отрезал он минувшее.— Снявши голову, по волосам не плачут! Не вернуть лихую младость. Все проходит, но и осень бывает мила сердцу!

Успокаивая себя, он потребовал из конторы книги и вновь с жаром принялся за хозяйственные дела. Он вызывал к себе в кабинет приказчиков, писцов из конторы, подолгу выслушивал доменщиков, литейщиков, рудокопов, давая дельные указания. Долгие часы Демидов высиживал за столом и проверял книги, стараясь наверстать упущенное за время болезни. В хлопотах и за делами Никита Акинфиевич стремился забыть неумолимую старость. Однако и среди бесконечных дел он не забывал о наследнике. Часто и подолгу отец заглядывался на своего единственного сына. Николенька был румяный, большеглазый и всегда озорной.

«Ничего, уйдет это! — успокаивал себя Никита.—

Кончится ребячья пора, другим станет. За дело время, за работу!»

Однажды по приказу хозяина Селезень привел в дом сивобородого мастерка.

— Вот, хозяин, этот и есть самый лучший у нас! — показывая на него, сказал приказчик.

Старик был широк в плечах, сухопар, строгие серые глаза не опустились перед Демидовым.

— Как звать тебя? — любопытствуя, спросил Никита Акинфиевич.

— Крещеное имя — Ерофей, а по батюшке Иванов, а народ запросто кличет Уралкой. Родился я тут, изроблюсь и кости сложу на этой земле!

— Сколько же тебе годков? — поинтересовался Демидов.

— Семь десятков исполнилось,— твердо ответил мастерко.— Еще при отце твоем, Акинфии Никитиче, робил я здесь...

Работный стоял прямо, старость не смогла еще согнуть его плечи. Зубы у него сохранились, были крепкими и белыми. Никита позавидовал старику.

— А помирать когда думаешь? — с подковыркой спросил он старика.

— Вот брякнет сотня годочков, тогда и на погост! — отозвался старик и вызывающе посмотрел на Демидова.

— Выходит, не торопишься на тот свет? — улыбнулся хозяин.

— Торопиться не к чему, пекло с чертями не уйдет от меня, да и тут похоже на это! — дерзко сказал он.

Демидов помрачнел, отвернулся и сказал Селезню:

— Зови Николеньку! А ты, неукротимый,— обратился он к работному,— держи язык за зубами. Учить нашего наследника поручаю!

— Уволь, хозяин! Несвычны мы с таким делом,— запросил мастерко.— За работой тяжко, а коли тяжко, всегда любое слово сорвется!

— Ничего! — снисходительно сказал Никита.— Ко времени сказанное крепкое слово бодрит русского человека, к стойкости приучает работника. Учи сына, как надо демидовскому корню. Пусть вглядится в наше дело. Пользе научишь — награжу. Оплошаешь — бит будешь!..

Пришел Николенька, и после наставлений хозяина мастерко увел его на завод. Из лесу, из-за Тагилки-реки

доносилась чуть слышная тоскливая песня. Уралко прислушался и сказал:

— Жигали от горемычной жизни завели! И-их, как жалобно поют, за душу берет! Тяжело им живется, сынок, а горщику и литейщику совсем пекло! Идем, идем, кормилец! — с лукавинкой посмотрел он на молодого хозяина и зашагал быстрее. Николенька еле успевал за сухопарым стариком. Навстречу им нарастал неровный гул, издавна знакомый Николеньке. Однако на сей раз заводские голоса звучали по-особому: Демидов впервые вступал в недра завода, и все ему казалось сегодня в диковинку. Вот гремят молотки, визжит железо, свистит что-то, да шумит вода, падающая в шлюз. А когда Николенька вошел в заводские ворота, завод предстал перед ним страшным чудовищем, неумолчно грохающим, стукающим, ревущим, лязгающим. Под горой протянулись приземистые кирпичные здания, потемневшие от времени, высились мрачные трубы, извергавшие тучи черного дыма. Под крышами шум непрестанной человеческой работы стал еще оглушительнее. У молодого Демидова голова пошла кругом. Уралко пытливо посмотрел на барчонка и недовольно покрутил головой.

— Погляжу я на тебя, сынок, с виду ты гладкий, откормленный, выпестованный, а душа и глаза пугливые! — сурово сказал он.— Страшно тут-ка? А как нам доводится? Мы весь век свой на огневой каторге прожили!

Николенька присмирел. Правда, хотелось ему наговорить старику дерзостей, но в первые минуты гром, лязг и визг ошеломили его, и он растерялся.

Мастерко провел Николеньку в кладовушу и добыл там для него кожаный фартук с нагрудником — запон.

— Ну, обряжайся, кобылка! — подавая ему рабочую одежонку, насмешливо сказал Уралко.

— Я не кобылка, а хозяин! — запротестовал Николенька.

— Ну, брат, не спорь здесь. У нас так: все ученики кобылкой кличутся! — пояснил мастерко.

Молодой Демидов нехотя надел фартук.

— Ну, а теперь пойдем в нашу храмину. Сперва оглядись, а потом, господи благослови, и за ученье!

Старик провел Николеньку в молотовую. Тяжелые огромные молоты срывались откуда-то сверху и с громом падали на куски железа. Мальчуган зажал ладош-

ками уши, но Уралко оторвал руки и строго прикрикнул:

— Не дури, парень, приучайся к нашей веселой жизни!

Стуки молота жестоко отдавались в мозгу. К ним присоединился свист вихря из огромных черных мехов, и сильные струи воздуха, откуда-то вырывающиеся, сорвали с головы Николеньки шапку и унесли бог знает куда. Глаза слепило от яркого раскаленного железа. Кругом был совершенный хаос: все мешалось, кружилось, сверкало искрами, гремело. От страха Николенька схватил деда за руку.

— Ну-ну, не балуй! Гляди-разглядывай, уму-разуму учись! — прикрикнул мастерко.— Эка невидаль, обдало жаром-варом, а ты стой, смотри, не смигни! Тут, брат, сробел — пропал! Это тебе, сынок, не шанежки[1] есть да молочко пить. Что верно, то верно: тут такая круть-верть, что страшно и взглянуть, но ты не пугайся! Запомни: страх на тараканьих ножках бродит. Гляди, не робей! Эва, поглядывай!..

Озаренный красным пламенем, Уралко щерил крепкие широкие зубы. С поговорками, со смешком, с одобрением мастерко провел Николеньку вперед. Вверху под стропилами — черный мрак, а рядом — жаркими ослепительными пастями пылают плавильные горны.

— Гляди, что надо робить! Примечай! — крикнул старик и устремился к одной из печей.

На ходу он проворно схватил железные щипцы и подбежал к пасти. Еще мгновение — и Уралко, озаренный пылающим металлом, как демон в преисподней, бросился к огромному молоту. У Николеньки от страха захолонуло под сердцем: ему почудилось, будто раскаленный шар стремился прямо на него, оставляя позади себя светящийся хвост. Но Уралко пробежал мимо, на мальчугана пахнуло горячей струей нагретого воздуха.

Темный грузный молот легко поднялся вверх, старик проворно положил под него раскаленный металл. И в тот же миг громадный, грузный молот с грохотом обрушился на белую от накала крицу, и потоки ослепительных звезд брызнули в стороны. Одна из них, шипя, упала на кожаный запон Николеньки и прожгла его. Тысячи других звезд, вспыхнув, меркли во мраке на сыром песке пола и на черных от копоти кирпичных

---

[1] Лепешки со слоем масла или сметаны; ватрушки.

стенах. Иные уносились в далекие темные углы и долго светились в воздухе.

Несколько раз поднимался молот и ударял по чугуну. Но вот наконец Уралко стащил отработанное железо и отбросил в сторону. А на смену старику уже бежал другой работный.

— Видал, сокол? — спросил Николеньку старик, утирая пот.— Вот так и бегай и торопись, как челнок в пряже. Одним словом, горячая работенка!

Молодой Демидов все еще с опаской озирался вокруг. В полутьме по-прежнему скользили черные тени, зловещим сиянием озарялись печи, и на фоне этого золотого сияния четко вырисовывались силуэты людей со щипцами, с полосами железа или непонятными крючьями в руках.

Работа кипела. Со стороны Николеньке казалось, что люди, стремительно снующие от печи к молоту, руки их, несущие раскаленный металл, не знают напряжения,— так легки и плавны были их движения.

Однако один из перемазанных сажей работных вдруг пошатнулся и чуть толкнул Демидова.

— Поберегись, парень! — прохрипел он.

— Ты пьян! — рассердился Николенька.— Смотри, батюшке скажу!

— Не греши! Не видишь, от работы очумел человек: еле держится на ногах, воздух ртом хватает. Закружился, стало быть, невмоготу стало! — сурово сказал Уралко и нахмурился.

— Верно, измаялся! — глухо отозвался работный.— С утра от печи не отходил, а во рту маковой росинки не было. Задыхаюсь! Ох, тошно мне!..

— Выйди на ветерок, подыши! Не ровен час, от натуги сердце лопнет! — сказал Уралко, и работный с тяжело опущенными руками пошел во двор.— Пойдем, передохнешь и ты,— предложил он мальчугану и вместе с ним вышел к пруду.

В лицо пахнуло свежестью. Николенька глубоко вздохнул:

— Славно здесь!

Он огляделся. За прудом весело шумящий лес. Пики елей синели на светлом фоне неба, по которому плыли седые клочковатые облака. На листьях склоненной над прудом березки дрожали капельки росы. Окружающий мир показался Николеньке прекрасным, и ни за что не хотелось возвращаться в молотовые, где грохотал и

вспыхивал изнуряющим жаром кромешный ад. Молодой Демидов полагал, что Уралко сейчас же начнет ругать свою долю и работу. Но старик присел на камень на самом бережку пруда и, щурясь на солнце, с душевной теплотой вымолвил:

— Хорошо и на солнышке! Хорошо и на работе! Работа да руки, сынок, надежные в людях поруки. Мастерство наше, милок, старинное, умное...

Уралко испытующе посмотрел на мальчугана и продолжал:

— Стары люди говорят: красна́ птица пером, а человек — умением. И наши деды, и отцы, и мы — работнички, привычные к железу. Железо-металл сто́ящему человеку дороже всего! Железо — первый металл!

Демидов улыбнулся и сказал старику:

— Неверно! Самый первый и дорогой металл — золото! Мой батюшка железо добывает, а сбывает его за золото!

Уралко укоряюще покачал головой.

— Эх, сынок, не то надумал ты. Послушай-ка, скажу тебе такое, о чем стары люди сказывали в давние годочки. В былое времечко наши горы — Камень — впусте лежали: жило тут племя незнаемое — чудь белоглазая[1] да бродячие людишки. Охотой все больше промышляли. И пришли сюда издалека, из новгородской земли, пращуры наши. Крепкий народ! Добрались они на ладьях к подножию гор и закричали властелину Камня:

«Э-ге-ге-гей, горный царь, пришли мы к тебе издалека счастья искать!» — «А чего вы хотите для счастья? — спросил их властелин гор.— Золота на сотню лет или железа навсегда?»

В ответ пращуры наши подняли мечи и закричали владыке горных дебрей:

«Железа нам! Железа навсегда!»

И тогда, сынок, из гор прогремело громом:

«Добрый твой выбор, могучий народ! Будь счастлив отныне и до века, железный род!..» Вишь ты, как вышло! — С умной улыбкой Уралко посмотрел на Демидова и предложил: — Хватит балясы точить. Надо и честь знать! Айда, сынок, за работу!

Мастерко снова увел Николеньку к пылающим жаром печам...

---

[1] Общее название финских племен у славян.

Проворный и сильный Николенька оказался медлителен и ленив в работе. Старик то и дело прикрикивал:

— Живей, живей, малый!

Мальчугану казалось, что он попал в преисподнюю. Что за люди окружали его? Сумрачные, молчаливые и злые в труде. Лица их обожжены на вечном огне подле раскаленного железа, потные лбы, медные от жара, кожа покраснела. Рваные рубахи взмокли от пота. Дед Уралко поминутно утирал рукавами морщинистое лицо, по которому стекали грязные струйки.

— Пот у нас соленый, сынок! До измору работаем! Рубахи от труда дубяные! — пожаловался старик; из его натруженной груди дыхание вырывалось с громким свистом.— Эх, дырявые мехи у меня стали. С продухом! — горько улыбнулся он.

Кругом мастерка бегали подручные, перекликаясь хриплыми голосами. А Уралко все подбадривал:

— Проворней, проворней, сынки!

Работали все до изнурения. Николенька неприязненно поглядывал на старика:

— Скоро ли пошабашим? Надоело, дед. И к чему эта му́ка?

— К науке! — отозвался Уралко.— Ты, милый, работой не гнушайся! На работе да трудах наших Русь держится. Сам царь Петра Ляксеич хорошее дело любил. Кто-кто, а он уж знал толк в мастерстве. Слушай-ка...

Он поманил Николеньку во двор и там, шумно дыша, уселся на камень.

— Маленький роздых костям старым! — устало сказал он.— Слышь-ко, ты не думай, я ведь знавал самого государя. Годов полсотню тому меня в Воронеж гоняли на верфи. Батя мой плотничал, а я якоря пристраивал... Батя отменный корабельный плотник был, царство ему небесное! Ух, топором рубил — как песню пел...

Один разок и похвались мой батя:

«Все Петр Ляксеич да Петр Ляксеич! Да я не хуже царя плотник! Да я...» «Стой, не хвались!» — крикнул тут бате высоченный мастер.

Отец оглянулся и обмер: перед ним стоял царь. Он-то все слышал, а батя его и не заметил.

Петр Ляксеич подошел к плотнику и сказывает:

«Хвасти у тебя много, а поглядим, как ты на деле

себя окажешь!» — «Виноват, ваше царское величество!» — повинился батя.

Царь говорит ему:

«Ну-ка, покажи свое мастерство! — и кладет свою руку на стол.— Давай выруби топором между этими перстами, да не задень ни единого, тогда ты не уступишь царю Петру — хороший, значит, плотник будешь!»

Ну что тут делать? Хочешь не хочешь, а пришлось мастеру рубить. Да так рубил он: не задел ни единого перста. Тогда царь и сам похвалил его:

«Молодец! По-честному хвалился умением: добрый ты мастер!..» Вишь ты как!..

Николенька посмотрел на свои грязные руки, вздохнул тяжко.

— Дедушка, а скоро ли домой?

— Погоди, сынок, не весь урок сробили. Великий урок твой батюшка задал: от темна до темна стараешься, а всего не переделаешь!

— Я уйду! — рассердился Николенька.

— А попробуй, бит будешь! — пригрозил Уралко и с презрением посмотрел на Демидова.— Погляжу на тебя: на баловство ты мастак, а в работе ни так ни этак! — Старик укоризненно покачал головой и добавил:

— Ты только краем хватил нашей корявой доли, а мы весь век свой надрываемся. А что, сынок, не сладко работному?

Демидов угрюмо молчал.

«Ничего себе растет звереныш! — подумал мастерко.— Деды и отцы Демидовы терзали нас, и этот крепнет на злосчастье наше».

Уралко прищурился на солнышко.

— Высоко еще, пора идти работать! — и опять повел Николеньку к молотам.

3

Из Санкт-Петербурга внезапно прибыл фельдъегерь с письмом от военного министра, а в нем сообщалось, что государыня, милостиво вспомнив о Демидове, определила судьбу его сына Николеньки.

«Не приличествует сыну столь славного дворянина пребывать в забвении,— высказала свое мнение Екате-

рина Алексеевна,— потомку знатных родителей надлежит служить в гвардии, у трона своей государыни!»

Это весьма польстило Никите Акинфиевичу и взволновало его. С малолетства любивший именитую знать, он мечтал о блистательной карьере для своего наследника. Об этом в свое время мечтала и покойная жена Александра Евтихиевна. Когда они возвращались из чужих краев и в метельную ноябрьскую ночь в селе Чирковицах, в восьмидесяти верстах от Санкт-Петербурга, родился столь долгожданный сын, решено было, по примеру столбового дворянства, немедленно записать его в гвардию.

По приезде в столицу младенца тотчас же зачислили на службу в лейб-гвардии Преображенский полк капралом. В 1775 году двухлетнее дитя произвели в подпрапорщики, а когда Николеньке исполнилось девять лет, последовало повышение в сержанты; ныне пятнадцатилетний юнец был переведен с тем же чином в лейб-гвардии Семеновский полк. Так, находясь в отчем доме на попечении мисс Джесси и других наставников, Николенька, по примеру всех дворянских недорослей, успешно проходил военную службу в гвардии. И сейчас повеление государыни призывало его в свой полк, которого он отродясь не видел, но числился в нем офицером.

Никита Акинфиевич затосковал перед разлукой с наследником. Все дни слуги хлопотливо готовили молодого Демидова в дальнюю дорогу, укладывая в сундуки белье и одежду. Мисс Джесси закрылась в светелке и все ждала: вот-вот появится Николенька: она расскажет ему о своей неудавшейся жизни, и, кто знает, может быть он пожалеет ее и скажет ласковое слово? А питомец мисс в эти минуты сидел в отцовском кабинете и выслушивал поучения старика. Ссутулившийся, поседевший Никита Акинфиевич тяжелыми шагами ходил по кабинету и строго внушал сыну:

— Может, это последнее расставание с тобой, Николай. Неладное чует сердце! Стар стал. Помни, на тебя ноне вся надежда. Род наш стал велик и прославился, но ты главный демидовский корень, не забывай об этом! Деды наши и отцы были сильны хваткой, величием духа, своего достигали упорством. Добрый корень, сын мой, скалу дробит, так и демидовская сила преодолевала все!

Старый Демидов размеренно ходил по комнате,

и слова его глухо отдавались под сводами. Покорно опустив голову, Николенька притворно вздыхал и соглашался во всем:

— Будет по-твоему, батюшка!

А внутри него каждая жилочка трепетала от радости. Ему хотелось вскочить и пуститься в пляс, но юнец сдержал себя. Он уже мечтал о предстоящем путешествии и мыслями был в Санкт-Петербурге, но покорно слушал старика, который внушал:

— Кланяйся матушке государыне да поблагодари за всех Демидовых!

— Поблагодарю и поклонюсь! — охотно кивнул головой Николенька.

— Слушайся управляющего нашей санкт-петербургской конторой Павла Даниловича Данилова. Он есть главный опекатель добра нашего! Поберегись, сын мой, мотовства! Сие приводит к разорению и бедности! — продолжал внушать Демидов.

— Буду слушаться, батюшка, господина Данилова и поберегусь.

— Данилов не господин, а холоп наш! — сердито перебил Никита Акинфиевич.— А с холопами надо себя держать высоко и вызывать к себе почтение, господин гвардии сержант! — Он поднял перст и, довольный, рассмеялся.

Николенька покраснел от удовольствия, что батюшка впервые назвал его по чину. Был весьма счастлив и Никита Акинфиевич: сбылось то, о чем он сам мечтал в младости: сын его, наравне со знатными отпрысками империи, состоит в гвардии. Это сильно льстило старику. Он обмяк, прищурил лукавые глаза на сына:

— Небось побегать хочешь впоследне по заводу?

— Хочу,— чистосердечно признался Николенька.

— Иди,— отпустил его отец.

Угловатый, загорелый Николенька проворно вскочил и устремился из горницы. Выйдя из отцовского кабинета, он сразу повеселел и запрыгал по обширным паркетам. Из светелки на шум спустилась мисс Джесси. Она укоризненно взглянула на питомца, но тот вдруг вытянулся по-строевому, стал грозен и прокричал на весь зал:

— Смирно! Руки по швам! Глаза на-ле-во! Сержант лейб-гвардии Семеновского полка шествует.

У мисс испуганно округлились глаза, и на них навернулись слезы.

— Вы варвар! — укоризненно пожаловалась она.— Мы скоро расстаемся, а вы...

Она не договорила и приложила к мокрым ресницам платок. Костлявая англичанка выглядела жалко, но у здорового Николеньки не было жалости. Он небрежно махнул рукой и на ходу бросил ей:

— Как всегда, вы очень сентиментальны, мисс...

Ему хотелось скорей вырваться из этих опостылевших стен, где за каждым его шагом следили, делали бесконечные замечания, где только и разговоров, что о рудах да о железе!

«Я есть главный демидовский корень! Погодите, я покажу вам, как надо жить!» — с гордостью подумал про себя Николенька...

Между тем Никита Акинфиевич после глубоких раздумий избрал среди дворовой челяди дядьку для отбывающего в столицу сынка. Несколько лет Николеньку обучал русской словесности дьячок домовой церкви — крепкий, жилистый Филатка. Церковный служака вел себя хитро, замкнуто и отличался страшной скупостью. Про него сказывали, что он носил червонцы зашитыми в шейный платок. От хмельного дьячок упорно уклонялся, держался всегда трезво и рассудительно. Это и понравилось Демидову.

«Такой скареда не подведет, юнца обережет от соблазнов. Скупость — достоинство человека. Копейка за копейкой бежит, глядишь — и рубль в кармане! Пусть Николай перенимает, как надо беречь добро!» — решил Никита Акинфиевич.

Хозяин вызвал дьячка к себе в кабинет. Тот робко переступил порог, опасливо огляделся. Демидов зорко осмотрел приглашенного.

— Чирьями не болеешь? Тайную хворость какую-либо не скрываешь? — вдруг пытливо спросил он дьячка.

— Что вы, Никита Акинфиевич! Помилуй бог! — взволновался церковный служитель. В уме у него мелькнула догадка о доносе. «Кто же чернить задумал меня перед хозяином?» — в тревоге подумал дьячок.

Демидов взял его за руку и подвел к окну.

— Ну, милок, раздевайся!

Филатка испуганно покосился на хозяина, взглянул на окно.

«Помилуй бог, не худое ли задумал старый пес? Демидовы — они, брат, такие!» — со страхом подумал

он, но покорился и, поеживаясь от неловкости, разоблачился.

Дьячок был статен, сухопар, телом чист и бел.

— Гож! — облегченно вздохнул Никита Акинфиевич.

— Батюшка! — вдруг спохватился и бросился голым в ноги хозяину дьячок.— Неужто под красную шапку надумали сдать? А известно вам, сударь, что духовные лица законом ограждены от солдатчины?

— Молчи! — прервал его сердито Демидов.— Не о том идет речь! Одевайся!

Филатка облачился и все еще стоял среди комнаты в недоумении.

Никита Акинфиевич опустился в кресло и, положив на стол большие руки, вразумительно сказал:

— Надумал я дядькой тебя к наследнику приставить. Поедешь ты с ним в Санкт-Петербург. Угодно ли тебе служить моему единственному дитяти?

— А мне, сударь, все едино, что богу служить, что господину, лишь бы в убытке не был! — просто ответил дьячок.

— В убытке не будешь! — подтвердил Демидов.— Гляди, самое дорогое вручаю на попечение тебе!

— Много довольны будете, сударь! От мирских соблазнов ваше чадо, ей-ей, сохраню, Никита Акинфиевич!

Однако хозяин не довольствовался одними пустыми обещаниями: он подвел Филатку к образу и поставил его на колени.

— Клянись! — строго предложил дьячку Демидов.— Клянись беречь моего сына как зеницу ока и наставлять его на трудном житейском пути!

— Клянусь! — торжественно сказал дьячок и, положив крестное знамение, пообещал: — Крепче жизни буду охранять отрока Николая и на путь истины бескорыстно и благолепно наставлять!

После этого Демидов успокоился и отпустил дядьку:

— Ну, иди и готовься в дорогу...

Наконец настал день отъезда. К этой поре подоспели крепкие заморозки, горные леса сбросили последний багряный лист, а дороги установились твердые и надежные. Путешествие предстояло совершить «на долгих». Собирая коней в путь, их загодя откормили, объездили. На день вперед отправили обоз со съестным и поваром, чтобы приготовлять на привалах и ночлегах обеды и

ужины для молодого заводчика. Дьячок Филатка составил опись всего имущества Николая Никитича и упрятал ее в ладанку. Такая заботливость понравилась Демидову.

Призвали священника, и он вместе с дьячком торжественно отслужил напутственный молебен. Демидов стоял рядом с сыном, одетый в мундир, при всех орденах и регалиях, пожалованных государыней. Поодаль от него стояла дворовая челядь, учителя, мисс Джесси и приказчик Селезень. Долго и торжественно молились, а после молебна демидовская стряпуха поднесла всем по чарке.

— Чтобы дорожку сгладить, чтобы добром поминали молодого хозяина! — объявил Селезень.

После полудня Николай Никитич отбыл из отцовской вотчины...

4

В экипаже, обитом мехом, было уютно, и, как ни буянил на дороге ветер, Демидову было тепло. Уральские горы постепенно уходили назад, заволакиваясь синью. Окрест лежали серые унылые деревушки. К вечеру навстречу показался бесконечный обоз. Головной воз поднимался на соседний холм, а последние подводы терялись в дальнем перелеске. Молодой Демидов загляделся на проезжающих.

«Что за люди? Куда едут в такую глухую пору?» — подумал он.

Впереди обоза трусил на сивой кобыле старик капрал в ветхом, выцветшем мундире, а между телег на холодном осеннем солнце скупо сверкали штыки. На подводах сидели мужики в рваных сермягах, в истоптанных лаптях. У многих за поясом торчали топоры, у некоторых в руках были пилы, завернутые в грязные тряпицы.

— Кто это? — спросил Николенька и, не дожидаясь ответа, выскочил на дорогу.

Хотелось поразмять ноги и порасспросить проезжих. Демидов подбежал к первому возу и отшатнулся. На телеге непокрытыми лежали два мертвеца со скрещенными на груди руками. Закрытые глаза покойников запали, носы заострились, и лица их казались пыльными, серыми. К сложенным рукам каждого была прислонена иконка.

— Что смотришь, барин? — угрюмо окликнул капрал.— Замаялись люди, лопнула жила!

Не глядя на капрала, Николай Никитич спросил:

— Куда столько народу собралось?

— Известно куда! — недовольно блеснув глазами, хмуро отозвался бородатый мужик.— Не демидовскую каторгу. Приписные мы!

— А покойники почему? — в расстройстве спросил Николай Никитич.

— Проедешь тыщу верстов да вместо хлеба кору с мучицей пожрешь, небось не выдержишь! А тела влекем для показа барину, что не убегли. Да и без пристава мертвое тело хоронить не дозволено.— Крестьянин исподлобья хмуро посмотрел на молодого Демидова. А тот, растерявшись, совсем некстати спросил:

— А зачем тогда идете в такую даль?

— Вот дурак, прости господи! Да нешто сами пошли, силой нас повели! — обидчиво ответил мужичонка.

— Ну-ну, пошли-поехали! — закричал капрал.— Не видишь, что ли, вечер наползает, под крышу поспеть надо.

Скрипя колесами, обоз покатился дальше. Тощие лошаденки с хрипом, надрываясь, тащили жалкие телеги. Покачивая заостренными носами, покойники поплыли дальше, оставив среди дороги ошарашенного молодого Демидова.

— Э, батюшка, хватит вам о сем думать! — потащил его в экипаж Филатка.— Всех, родимый мой, не пережалеешь, на каждый чих не наздравствуешься!

Глава третья

1

Стояла глубокая осень, когда Николай Демидов прибыл в Санкт-Петербург. По небу плыли низкие набухшие тучи, изредка моросил мелкий дождик. Из гавани доносились одиночные орудийные выстрелы: жители островов оповещались о грозившем наводнении. Но никто не обращал внимания на сеющий дождик, который покрывал одежду прохожих серебристой пылью. Никого не интересовали орудийные выстрелы. По широкой Невской першпективе лился оживленный

людской поток, то и дело проносились блестящие кареты с гайдуками на запятках. Нередко впереди позолоченной кареты бежали скороходы, предупреждая народ:

— Пади! Пади!

Среди пестрого людского потока выделялись высокие кивера рослых гвардейцев, одетых в цветные мундиры, украшенные позолотой и серебром. На всю першпективу раздавался звон шпор, бряцание волочившихся по панели сабель. Семенили отставные чиновники, совершая утренний моцион, прогуливались дамы в бархатных нарядах. У Гостиного двора толпы бородатых людей в синих кафтанах и в меховых шапках осаждали прохожих, предлагая товар, голосисто расхваливая его и чуть ли не силком зазывая покупателей. «Купчишки!» — презрительно подумал молодой Демидов и брезгливо отвернулся. На площадке перед Гостиным двором раздавались крики сбитенщиков...[1]

Сквозь разорвавшиеся тучи нежданно блеснул узкий солнечный луч и засверкал на адмиралтейской игле. И это минутное золотое сияние по-иному представило город. Среди оголенных рощ и туманной сырости он вставал прекрасным и неповторимым видением. Окрашенные в разнообразные колера красок стены домов, омытые дождиком, радовали глаз своей свежестью. Строгие, гармоничные линии зданий — творений великих зодчих — вставали во всем своем величии и красоте. Полуциркульные арки над каналами, одетыми в гранит, стройные колоннады, чугунные садовые решетки подле особняков — все казалось чудом, от которого нельзя было оторвать восторженных глаз. Вот налево мимо коляски проплыл дворец Строгановых, строенный славным зодчим Растрелли. Возвели его руки уральских крепостных, среди которых были отменные мастера по каменной части. Напротив — трактир Демута. Простое, строгое здание, а влечет душу...

Николай Никитич вздохнул. Луч солнца угас, и снова все ушло и укрылось в серый сумрак промозглого осеннего дня. На набережной Мойки возок Демидова свернул к старым отцовским хоромам. При виде их сердце потомка болезненно сжалось. Тут когда-то пребывали отец и дед, и на эту землю ступил первый из Демидовых — тульский кузнец Никита.

---

[1] Продавцов сбитня (горячего напитка из меда с пряностями).

Двухэтажный родовой особняк сейчас выглядел мрачно. Сложенный из серого камня, он сливался с хмурым петербургским небом. Огромные зеркальные окна его отсвечивали холодным блеском. Тяжелые черные двери из мореного дуба медленно и плавно распахнулись: Из них выбежали слуги в потертых ливреях и засуетились вокруг экипажа. На пороге появился невысокого роста, толстенький человек с обнаженной лысой головой. Несмотря на темный бархатный камзол и башмаки с пряжками, он скорее походил на купчика средней руки. Разгладив курчавую рыжеватую бороду, он подобострастно склонился перед Николаем Никитичем в глубоком поклоне.

— Заждались, сударь! Дом без хозяина — сирота! Сколь годков пустуют покои, пора их по-настоящему обжить!

«Управляющий санкт-петербургской конторы Данилов»,— догадался Демидов и, сделав надменное лицо, пошел прямо на него. Управителя нисколько не смутило высокомерие молодого хозяина. Поддерживая Николая вежливо под локоток, он повел его по широкой мраморной лестнице, покрытой ковром, во второй этаж.

Данилов провел Демидова по анфиладе парадных залов — обширных, холодных. Ощущение холода усиливали зеркальные окна, отливавшие синевой льдин. В одном из пышных залов висели портреты предков. Из старинных золоченых рам величественно и строго взирали на юнца основатели уральских заводов — прадед Никита Демидов и дед Акинфий Никитич. Находился тут и портрет батюшки Никиты Акинфиевича и матери Александры Евтихиевны. Из потускневших рам все они зорко следили за молодым Демидовым. Ему стало не по себе, и он ускорил шаг. Управитель провел Николая Никитича в отведенные покои. Они не отличались обширностью, но были опрятны, чисты; директор конторы, как бы оправдываясь, сказал:

— Сами изволите видеть — безлюден наш дворец, а на содержание многие тысячи требует: отопление, освещение, ремонты, челядь... А нельзя! — огорченно развел он руками.— Прилику ради и славы благодетелей наших содержится сей дворец!

Данилов взглянул на Филатку, который прошел следом за Демидовым в отведенные покои, и строго сказал ему:

— Ты дядькой приставлен к господину и блюди его, ибо он еще млад и неопытен!

Филатка покорно поклонился управителю конторы:

— Будь покоен, Павел Данилович, перед богом поклялся беречь нашего господина!

Николай Никитич от досады прикусил губу, налился румянцем. Его злило, что его все еще считают мальчишкой, и он успокоился только тогда, когда Данилов покинул комнату.

В доме застыла тишина. Казалось, весь мир был погружен в глубокое безмолвие.

— Ты займись хозяйством! — приказал он дядьке, а сам обошел весь дом.

Залы и небольшие комнаты были обиты штофом разных расцветок, уставлены хрупкой витой мебелью и дорогими вазами. За окнами наплывали сумерки, когда Николай Никитич покинул опустевшие покои, возвратился к себе и там снова застал Данилова. На этот раз на управителе был красный бархатный камзол, белоснежное кружевное жабо. Он выглядел важно и надуто.

— Ты выйди, не мешай нам! — приказал он дядьке.

Когда Филатка покорно вышел, управляющий санкт-петербургской демидовской конторы без приглашения уселся в кресло и положил на стол книгу в толстом переплете. С минуту он многозначительно молчал, барабаня пальцами по переплету, отчего на безымянном пальце нежными искорками засверкал перстень.

— В сей книжице записаны все доходы и расходы на содержание по дому, сударь! — строго начал он.— Волею господина нашего Никиты Акинфиевича указано нам, сколько будет вам отпускаться на приличествующее содержание.— Данилов говорил медленно, сильно окая, от чего слова его казались округленными и весомыми.

Некоторая вольность обращения и наставнический тон не понравились Демидову. Однако Николай Никитич сдержался и промолчал. Между тем управитель продолжал свою назидательную речь:

— Знайте, сударь, что Санкт-Петербург — город великий и много в нем прощелыг, которые алчны и ненасытны. Никакими доходами не ублаготворишь всех. Много прогоревших господ шатается по столице и рыскает, как бы за чужой счет поживиться. К тому же, сударь, прелестницы-метрески и прочие соблазны тут

в изобилии! Наказано нам господином нашим крепко блюсти интересы ваши, сударь...

— Я не сударь вам, а господин! — вдруг резко прервал управителя Николай Никитич и поднялся из-за стола.— Вот что, холоп, я тут наследник всему. Слышал это?

Молодой хозяин насупился и пронзительно посмотрел на Данилова. По лицу управителя прошла тень недовольства. Делая вид, что не замечает вспыльчивости молодого хозяина, он продолжал спокойно:

— То верно, что вы наследник всему! Но пока батюшка ваш установили расходы, преходить их нельзя! Ведомо вам, господин мой, что доходы сии от заводов притекают. Оно верно, хвала богу, выплавка железа в Нижнетагильском заводе велика, и в Англию ходко оно идет, потому что нет во всем свете славнее нашего уральского металла. А с той поры, как англичанин Томас Фауль вошел в торговую сделку с вашим батюшкой, железо наше поплыло за океан, в Америку. Вот куда метнуло, господин мой... А все же надо беречь копейку, сударь... господин,— поправился Данилов,— ибо с копеечки Москва построилась, с невеликих денег и праотец ваш, покойной памяти Никита Антуфьевич, начал свое дело. Большим пóтом и превеликим трудом каждая копеечка добывается на заводах. Вот оно как!

— Я один у батюшки, и мне на мой век хватит! — сердито отрезал Николай Никитич.— А потом — знай наперед порядок: когда разговариваешь с господином своим, чинно стоять полагается. Ишь расселся, борода, словно купец из Гостиного! — Глаза Демидова вспыхнули гневом.— Встать изволь, Данилов!

Управитель растерялся. «Откуда что и взялось»,— удивленно подумал он, живо поднялся, и лицо его приняло строгое выражение. Он чинно поклонился молодому Демидову:

— Слушаю вас, господин!

— Я вызван ко двору государыни... Чтобы в короткий срок сделали экипировку. Гвардии сержанту надлежит явиться по форме. Не копейки считать я сюда прибыл, а воевать за свою жизнь и фортуну. Надо сие разуметь, Данилов!

— Разумею, господин,— подавленным тоном отозвался управитель.— Все будет сделано...

— А теперь иди! Устал я с дороги, и словеса твои

ни к чему. Иди! — Он властно указал Данилову на дверь.

Присмиревший и покоренный, управитель тихонько вышел из комнаты и за дверью столкнулся с Филаткой. Дядька с блудливым видом отскочил от замочной скважины.

— Ты у меня смотри, ершиная борода! — пригрозил управитель и сокрушенно вытер выступивший на лбу пот.

Уходя в контору, он растерянно подумал:

«Вон куда метнуло! Демидовский корень!..»

Данилов с горестью понял, что кончилась его размеренная, чинная жизнь. Молодой хозяин принес с собой большие заботы и треволнения...

2

Мундир гвардии сержанта отменно сшил лучший военный портной Шевалье; экипировка была в полном порядке, и Николенька порывался немедля предстать перед князем Потемкиным. Письмо батюшки он тщательно берег и знал, что оно возымеет силу. Однако осторожный управитель Данилов удерживал Демидова от визита.

— Потерпите малость, господин. Не к вашей выгоде сейчас ехать к князю,— уговаривал он Николеньку.

— Да ты откуда о сем знаешь, борода?

— Знаю-с! — многозначительно отозвался Данилов.— К сему есть верная примета! У подъезда его сиятельства нет карет — все отступились...

— Да что ты мелешь? — поразился Николенька.

— А то, что есть! Карет нет, выходит — обойден светлейший милостями государыни...

Николенька не знал, что придворная знать интриговала против Потемкина, стараясь его свалить. Сын княгини Дашковой, бывшей в милости и в доверии у государыни, передал сведения, порочившие князя. Было доложено императрице, что Потемкин допустил злоупотребления в устройстве Новороссийского края.

Потемкин жил в эту пору в царском дворце, в особом корпусе. Из него вела галерея, и проход шел мимо апартаментов государыни. Всем придворным стало известно, что князь закрылся в покоях и не показывался несколько дней во дворце. Все покинули его. Всегда

запруженная экипажами петербургской знати Миллионная, словно по мановению жезла, опустела. Вскоре Николенька и сам убедился в справедливости слов Данилова.

В ожидании перемены он пешком ходил по столице, любуясь красотой города. Екатерининские вельможи обзавелись великолепными дворцами. Фронтоны их были украшены массивными балконами с позолоченными решетками. Летом, по праздничным дням, на этих балконах играли хоры роговой музыки, привлекавшие гуляющую публику. Во всем великолепии зданий и дворцов чувствовалась талантливая рука русских зодчих. Но что поразило Николеньку—в обществе почиталось за стыд признаваться, что все это величие создано русскими умельцами. Все наперебой старались хвалиться иностранцами, находя в этом особую прелесть. Придворные пустили молву, что отстроенный в Царском Селе дворец, в котором летом пребывала Екатерина Алексеевна, возведен якобы по плану итальянского зодчего Бартоломео Растрелли. Однако многие из осведомленных людей в столице знали, что возведение этого чудесного дворца начал в 1743 году по своему проекту русский архитектор Андрей Квасов. В 1745 году он уехал на Украину, и дворец достроил Савва Чевакинский, много внесший своего дарования в дивное творение. В столице знать всюду расхваливала архитектурный ансамбль Александро-Невской лавры, приписывая его творчеству Доменико Трезини, а на самом деле лавру возводил русский зодчий Михаил Расторгуев, умышленно забытый знатью. В народе знали, что бесподобный шереметевский дворец над Фонтанкой-рекой возвел не кто иной, как русский строитель Федор Аргунов... Во всем Николенька чувствовал преклонение перед иноземцами и, сам того не замечая, проникся преклонением перед ними. Особенно поразил Демидова невский водный простор и скачущий Медный Всадник. Об этом творении говорила вся Европа, а о том, что отливал статую русский литейщик Хайлов, не вспоминали.

Удивляло Николеньку необычное сочетание прекрасных зданий с неустройством городских улиц. Плохие булыжные мостовые при езде по ним вытряхивали душу. Ночью улицы Санкт-Петербурга тускло освещались масляными фонарями, отстоявшими друг от друга на расстоянии ста пятидесяти шагов. В одиннадцать часов вечера огни гасились, и на столичных улицах

водворялась тьма. Тишину лишь изредка нарушали переклички сонных будочников:

— Слуша-ай!..

Иногда в ночном мраке раздавалось призывное:

— Караул!..

Но будочники или сладко посапывали в своих будках, или делали вид, что не слышали истошных криков...

В эту пору Демидову становилось страшновато, и он торопился засветло явиться домой.

В хождениях и любовании столицей прошла неделя долгих и томительных ожиданий. Ударили северные ветры, которые принесли холод и легкий снежок. Было синее морозное утро, когда в покой Николеньки поспешно вошел управитель и, ликуя, сообщил:

— Наша взяла, господин! Возьмите батюшкино письмо и, не мешкая, поезжайте к светлейшему!

— Что случилось?

— Все хорошо, Николай Никитич. Вся Миллионная запружена экипажами, проехать невозможно. Все вельможи поторопились к светлейшему. Вновь возвратилась к нему милость государыни нашей!

Мешкать не приходилось. Демидов нарядился в парадный мундир. К подъезду подали выездную карету.

«Чем бы удивить князя? Что поднести ему?» — обеспокоенно подумал он.

Однако пришлось отбросить эту мысль. Потемкина ничем нельзя было удивить. Все имелось к его услугам: власть, чины, ордена, богатство, бриллианты. Любое желание его исполнялось немедленно.

Николенька захватил лишь письмо батюшки.

Еле удалось въехать на Миллионную, столько теснилось на улице экипажей. Николенька легко взбежал по лестнице, крытой ковром, в приемную князя. Слуги с бесстрастными лицами распахнули перед ним дверь. Приемная блистала великолепием расшитых золотом мундиров, сверканием бриллиантов, украшавших прически дам. Весь вельможный Санкт-Петербург собрался сюда: первые министры государства Российского, увешанные орденами генералы, разодетые в шелка жеманные дамы. Николенька оторопел: ничего подобного ему никогда не приходилось видеть. Демидова подавила неслыханная расточительная роскошь, по сравнению с которой богатства отца и деда потускнели. Огромные зеркала отражали и умножали сияние бриллиантов и зо-

лота. Свет из золоченых люстр искрился в хрустальных подвесках и озарял своим сиянием дорогое убранство. Шелка, драгоценные камни, затейливые прически дам, их обнаженные молочно-белые плечи — все скорее походило на сказку, чем на действительность. Вся эта высокородная знать с нескрываемым удивлением и презрением посмотрела на переступившего порог приемной гвардейского сержанта. Весьма бойкий дома, Николенька здесь стушевался и робко подошел к адъютанту. Протягивая письмо, он сказал офицеру:

— Прошу вас доложить его светлости о Демидове и вручить сие письмо!

Упоминание фамилии Демидова нисколько не тронуло адъютанта. С заученной учтивой улыбкой он ответил:

— Прошу вас, господин сержант, обождать!..

Приемную наполнял легкий гул голосов, напоминавший полет роившихся пчел. Кавалеры и дамы с подчеркнутой учтивостью спешили поделиться светскими новостями. Только один Демидов, всеми забытый, не принимал участия в общем оживлении. Каким ничтожеством вдруг он показался себе!

Время тянулось медленно. За окном постепенно угасал серый день. Однако за массивной палисандровой дверью, богато отделанной инкрустациями и бронзой, царила тишина. Несколько раз адъютант уходил в апартаменты князя и возвращался с неизменной улыбкой.

— Как чувствует себя светлейший? — тревожно перешептывались ожидающие кавалеры и дамы.— Выйдет ли?

За окном темнела синева вечера. Люстры засверкали ярче. Свет, дробясь о хрустальные подвески, сыпал искрами всех цветов радуги. А в это время с каждой минутой меркли лица ожидавших. Словно в отместку им за дни забвения, Потемкин так и не вышел.

— Не в духе князь,— разочарованно прошептал один из ожидавших в приемной вельмож.

— Хандрит...

— Ипохондрия... Ныне даже цирюльника прогнал...

— И это в день милости государыни...

Пугливо озираясь, шепотком переговариваясь, гости один за другим удалились. Миллионная пустела. В раззолоченных покоях установилось безмолвие.

А Николенька все сидел в углу в глубоком кресле и наивно ждал.

— Что же вы, господин сержант, выжидаете? — бесцеремонно спросил его адъютант.

Демидов поднялся и увидел, что письмо батюшки все еще сиротливо лежит на столе.

— Жду, когда вручите. Иначе не уйду отсюда! — набравшись духу, сказал он.

Адъютант улыбнулся. То ли храбрость молодого гвардейца покорила его, то ли он решил потешиться над неопытным офицериком, не испытавшим на себе гнева светлейшего.

— Хорошо, письмо ваше, господин сержант, вручу немедленно! — вдруг уступчиво согласился он.— Только за последствия не ручаюсь!

Схватив со стола письмо, позванивая шпорами, он поспешно удалился во внутренние покои...

Спустя минуту Николенька заслышал недовольное рычание, и вслед за тем из княжеских апартаментов выбежал раскрасневшийся адъютант.

— Прошу! — торопливо пригласил он Демидова и повел его за собой, сам распахивая перед ним двери. Николенька робел, но, скрывая это, твердой поступью шел за адъютантом, который раскрыл последнюю дверь и доложил громко:

— Демидов, ваша светлость!

В большой комнате, ярко освещенной люстрами, на широком диване сидел в незастегнутом халате одноглазый великан. Всей пятерней он с наслаждением чесал свою широкую волосатую грудь. Голубой, чуть навыкате глаз недовольно уставился в Демидова.

«Потемкин»,— догадался Николенька и в немом восхищении застыл у двери.

Несмотря на халат, неряшливость, лицо князя и его рост поразили уральца. Перед ним сидел богатырь, могучий в плечах, с красивым холеным лицом.

Потемкин не сводил с гвардии сержанта проницательного взгляда.

— Демидов! — заговорил он и поманил к себе.— А ну, покажись!

Николенька шагнул вперед и стоял перед князем ни жив ни мертв. Потемкин внимательно оглядел гостя.

— Дерзок! Как смел попасть мне на глаза?

— Батюшка приказал! — твердо выговорил сержант.

— Батюшка! — усмехнулся князь, и на мгновенье сверкнули его чистые ровные зубы.— У батюшки твоего

кость пошире и хватка похлеще! А ты — жидковат... В шахматы играешь? — неожиданно спросил он.

— Играю, ваше сиятельство,— поклонился Николенька.

— Садись! — указал Потемкин на кресло перед шахматным столиком. Сам он удивительно легко и живо поднялся с дивана и уселся напротив Демидова.

Николенька поспешно расставил на доске фигуры. Князь молча оперся локтями на стол, зажал между ладонями свою крупную голову и внимательно смотрел на фигуры. Лоб у него был высокий, округлый. Потемкин поднял приятно выгнутые темные брови и глуховато предложил:

— Начинай, Демидов!

Николенька украдкой взглянул на руку Потемкина. На большом пальце князя блестел перстень из червонного золота: тонкая змейка, сверкая чешуей, обвила перст, глаза ее — из алабандина, а на жале искрой брызнул вкрапленный адамант. Пониже змеиной головки сиял камень хризопраз...

— Что же ты медлишь? — повторил Потемкин, и Николенька, быстро сообразив, передвинул фигуру.

Мисс Джесси не раз удивлялась преуспеванию питомца в шахматной игре. И как пригодилось это искусство Николеньке сейчас!

Потемкин двинул офицера, но Демидов, помедлив лишь минуту, понял его ход и передвинул пешку...

Погруженные в игру, они забыли обо всем. Казалось, все сосредоточилось на шахматной доске. Где-то звонко пробили куранты. Адъютант исчез...

Потемкин изредка отрывался от фигур, изумленно разглядывая Демидова. Николенька не щадил самолюбия князя: беспощадно наседал и, сделав неожиданно удачный ход, весело объявил:

— Мат королю!

Князь вскочил, сбросил со стола шахматы. Голубой глаз его сверкнул, лицо налилось темно-сизым румянцем.

— Как ты смел позволить себе это! — взбешенно закричал он.

— Ваше сиятельство, игра велась по чести! — смело глядя Потемкину в глаза, вымолвил Николенька.

— Да я всегда выигрывал! — закричал князь и, ероша волосы, возбужденно прошелся по комнате.

— Я не знал здешних порядков,— учтиво ответил сержант.

— Шельмец! — не унимался Потемкин.— Выходит, меня надували?

Он набежал на Демидова, но юнец бестрепетно стоял перед ним, не сводя влюбленных глаз.

— Не нашелся покривить душой. Виноват, ваше сиятельство! — чистосердечно признался Николенька.

Внезапная улыбка озарила лицо Потемкина. Он засмеялся и хлопнул Демидова по плечу.

— Молодец! Потемкина не побоялся. Ай, молодец! Прямая душа! — Он снял с руки перстень — золотую змейку — и вручил сержанту: — Бери и уходи немедля!

Николенька откланялся и стал отступать к двери. Они вдруг сами распахнулись, и перед Демидовым предстал улыбающийся адъютант. Провожая Николеньку через покои, он весело сказал ему:

— Вам повезло, господин гвардии сержант. Еще того не бывало, чтобы так быстро «в случай» попасть!

— Ну, это вы напрасно! — дерзко отозвался Николенька.— Демидовы не случаем славны, а заводами! — Шумно звеня шпорами, он стал быстро спускаться с лестницы...

3

Потемкин не забыл просьб Никиты Акинфиевича Демидова. Гвардии сержанта вызвали в полк и объявили ему, что он записан на предстоящую неделю в «уборные». В ту пору так именовались сержанты, вызываемые во дворец на дежурство. Обряженный в парадный мундир лейб-гвардейского Семеновского полка, Николенька направился во дворцовую кордегардию. Голову сержанта украшал шишак, сделанный наподобие римского, со сверкающей серебряной арматурой и панашом страусовых перьев. Сума для патронов тоже была украшена серебром.

Явившийся к дежурному караульному офицеру Демидов был проинструктирован о поведении. Когда часы отбили десять, дежурный повел Николеньку в паре с другим сержантом на пост. Демидов оказался на часах перед кавалергардским залом. В это дворцовое помещение допускались военные только от капитана и лица, носящие дворянский мундир. За обширным залом находи-

лась тронная, у дверей которой на часах стояли два кавалергарда. Не всякий генерал-поручик и тайный советник мог пройти в тронную. Только особое соизволение государыни открывало туда доступ...

Николенька застыл на часах. Его сотоварищ превратился в безмолвный столб. В большом зале сияли мундирами генералы, вельможи, бриллиантами — дамы, одетые в русские платья особого, парадного покроя. Для уменьшения роскоши государыней был введен род женских мундиров по цветам, назначенным для губерний. Однако придворные прелестницы находили возможность украшать драгоценностями и эти требующие скромности платья.

Несмотря на то, что в зале пребывало много ожидающих выхода царицы, стояла тишина. Николеньку влекло неудержимое любопытство: он косил глаза в сторону кавалергардов и поражался их огромному росту и блестящему обмундированию. На офицерах были синие бархатные мундиры, обложенные в виде лат кованым серебром. Шишаки тоже были серебряные и весьма тяжелые. Сержант втайне позавидовал кавалергардам. До чего они были хороши!

Николеньке стало немного грустно, ему хотелось вздохнуть, но он только перевел взгляд на товарища и, подобно ему, старался не шевелить даже ресницами.

Ожидался выход государыни к обедне, и это держало Демидова все время в напряжении. Сколько с упоением рассказывал батюшка о государыне! В результате у Николеньки в душе сложился образ величественной, обаятельной женщины, и он готов был пасть к ее стопам. С замиранием сердца он ловил шорохи, идущие по дворцовому залу. Прошло много времени, когда наконец после томительного напряжения вдали послышался еле уловимый шум. Все взоры устремились на дверь, охраняемую кавалергардами. Отделанная бронзой и голубой эмалью, она отражала сияние огней, с утра зажженных в это серое петербургское утро. Легкое движение прошло среди ожидавших выхода. Готовые улыбки появились на лицах. Демидов догадался: из далеких внутренних покоев приближалась государыня.

Высокие двери красного дерева распахнулись. Сержант переглянулся с товарищем и затаил дыхание. Из анфилады дворцовых залов величаво, медленно приближалась государыня Екатерина Алексеевна в сопровождении Потемкина. Статный, в малиновом бархатном

камзоле, он шел, улыбаясь государыне. Большая бриллиантовая звезда горела на левой стороне его груди.

Возбужденный рассказами отца, Николенька восторженно смотрел на приближающуюся императрицу. Он ожидал увидеть роскошную, цветущую красавицу, величественную, с неотразимым взглядом.

Увы, государыня не отличалась красотой! Она была толста, сильно нарумянена, но даже густые белила и румяна не могли скрыть старческую морщинистую кожу. Царица выглядела старухой, одетой с претензией на красоту и молодость. Она двигалась медленно, и каждое движение, наклон головы сопровождались сиянием драгоценных камней, украшавших прическу государыни. Седые волосы у нее были зачесаны кверху, с двумя стоячими буклями за ушами. Вокруг головы располагались короной самые крупные и ценные бриллианты. Они имели форму ветки, каждый листок которой прикреплялся к сучку посредством крупного бриллианта. Около больших камней помещались более мелкие по зубчикам листьев. С обеих сторон этого великолепного убора красовались два громадных сапфира...

Насколько ослепительно сверкали драгоценные камни, настолько усталыми и потухшими были глаза государыни.

Все низко склонили головы, а дамы присели в плавном реверансе. Государыня шла вперед с застывшей, безжизненной улыбкой. Сопровождавший ее Потемкин выглядел превосходно. Он пленял Николеньку своим ростом, могучестью и свежестью лица.

Сержант уловил веселый взгляд князя, и ему показалось, что Потемкин слегка наклонил голову в сторону государыни и что-то шепнул ей. Не успел Демидов прийти в себя, как государыня оказалась уже рядом. Усталый взор царицы скользнул по сержанту слева и вдруг остановился на Демидове.

Государыня с минуту задержалась подле него, и на Николеньку неприятно пахну́ло: то ли от болезни, то ли от иной причины от царицы тяжело пахло.

— Ваше величество, это и есть сын Демидова! — чуть слышно сказал ей Потемкин.

Государыня прищурила глаза, улыбнулась:

— Надеюсь, господин сержант, вы будете столь же ревностно служить трону, как ваш дед и отец!

Голос царицы оказался глуховатым и неприятным. Не слушая ответа Николеньки, она медленно удали-

лась. А рядом с ней, сдерживая шаги, весь сияя и свысока рассматривая знать, шел Потемкин.

Демидов разочарованно подумал: «Где же то, что я ожидал увидеть?»

Он перевел глаза и увидел слегка сутулую спину и седые букли государыни. Просто не хотелось верить, что это и есть повелительница огромного государства, воспетая в одах Державина...

4

В первый же день пребывания в полку молодой Демидов познакомился с гвардии поручиком Свистуновым. Рослый, подтянутый красавец с роскошными пушистыми усами браво подошел к сержанту и наглыми серыми глазами оглядел его.

— Свистунов! — запросто представился он.—О тебе наслышан. Сказывали! Из толстосумов...

Он говорил отрывисто, энергично, без стеснения повернул Николеньку, осмотрел с головы до ног. Демидов был строен, с нежным девичьим лицом, в форме гвардейца выглядел неотразимо. Поручик остался доволен осмотром, похлопал Демидова по плечу:

— Хорош! Чудесен! Ну, братец, поздравляю! Среди столичных дам успех будет превеликий!

Сержант хотел обидеться на бесцеремонность Свистунова, но только покраснел и смущенно промолчал. Поручик взбил короткими пальцами, на которых сверкнули драгоценные перстни, пушистые усы.

— Понимаю, братец, не обстрелян пока! Придет первое дело, и смелость обретешь. Погоди, не одну штурмом брать будем!

Николенька гуще залился краской.

— А служба когда же? — наивно спросил он.

— Служба? — как бы удивленно спросил Свистунов.— Ты что, братец, ради службы в столицу да в гвардию изволил прибыть? Выслуживаются, Демидов, тут не в полку, а на паркете! Служба, братец, и без нас исправлена будет. Солдат выправит! Господину офицеру наипервейшее дело метреску завести, хорошо пунш пить, в карты играть! Разумей, дорогой: на свете есть три вещи, которые для господ офицеров превыше всего,— карты, женщины и вино!

— А долг воинский? — осмелев, смущенно вымолвил сержант.

— Долг воинский? — возвысив голос, повторил поручик.— Придет время, и умирать будем. Русский солдат — наилучший в мире: терпелив, вынослив, храбр, находчив, благороден и земле родной предан до самозабвения! Он не выдаст, не подведет, братец! Русского солдата сам черт боится!

В эту минуту через комнату проходили два офицера с бледными, усталыми лицами. Гремя шпорами и саблями, вялой походкой они прошли в приемную полкового командира.

— Фанфаронишки! Пустомели! За тетушкиными хвостами укрываются! — сквозь зубы злобно процедил Свистунов.— В полку бывают дважды в год. С ними не играй, братец, обчистят в полчаса. Идем отсюда! — Он увлек Демидова на улицу.

Ведя сержанта под руку, поручик дружески спросил:

— Червонцы есть?

Удивленный вопросом, Николенька промолчал.

— Не беспокойся! В долг не беру и сам не даю! — предупредил Свистунов.— А для знакомства нужно, братец, бокал поднять. Время? — Поручик вынул золотой брегет и посмотрел на стрелки.— Пора, Демидов! В «Красный кабачок» на Петергофской дороге. Ах, братец, какие там прохладительные напитки, вафли и...

Остальное он досказал многозначительным взором. Николенька повеселел. Вот когда пришел долгожданный час веселья. Все почтительные и нудные поучения Данилова мгновенно вылетели из головы. Он радостно взглянул на Свистунова. В поручике ему положительно все нравилось: и то, что он хорошо, со вкусом одет, подтянут, и то, что держится с достоинством.

Перед подъездом ожидала карета, а подле нее вертелся дьячок Филатка, одетый в новенькую темно-синюю поддевку, но все с тем же грязным платком на шее — так и не расставался дьячок со своими спрятанными червонцами.

— Твой выезд? — кивнув на карету, спросил поручик.

— Мой! — с удовольствием отозвался Демидов и ждал похвалы поручика. Однако Свистунов весьма небрежно оглядел коней.

— Плохие, братец! — сказал он строго.— Толсто-

суму Демидову коней надо иметь лучших! Золотистых мастей! Погоди, выменяем у цыган! Ты ведь один у батюшки! А это что за морда? — показал он глазами на Филатку.

— Дядька мой.

— Прочь, оглашенный! — прикрикнул на Филатку поручик, но дядька нисколько не испугался гвардейского окрика. Он проворно вскочил на запятки кареты и закричал:

— Без Николая Никитича никуда не уйду! Дите!

— Черт с тобой, езжай! Но запомни: барин не дите, а господин офицер лейб-гвардейского полка.

Свистунов по-хозяйски забрался в демидовскую карету и пригласил Николая Никитича:

— Садись, братец, славно прокатим. Эй, ты! — закричал он кучеру.— Гони на Петергофскую дорогу, да быстрей, а то бит будешь!

Поручик самовластно распоряжался, и Николенька подчинился ему: не хотелось молодому Демидову опростоволоситься перед блестящим гвардейцем. Без Свистунова он был бы сейчас как рыба без воды. С этой минуты он всей душой прирос к поручику.

Со взморья дул холодный, пронзительный ветер. Наступали сумерки, а на Петергофском шоссе было оживленно: вереницы экипажей — самые роскошные кареты и простая телега крестьянина, наполненная всевозможной поклажей,— стремились за город. Скакали конные, чаще гвардейцы, которые не могли пропустить своим ласкающим взором ни одной из дам, сидевших в экипажах. Петербургские модницы в роскошных туалетах, нарумяненные и напудренные, не оставались в долгу, отвечая на призывный взор гвардейцев томной улыбкой.

На седьмой версте от Санкт-Петербурга, в соседстве с грустным кладбищем, шумел, гремел «Красный кабачок». Ожидая гуляк, лихие тройки нетерпеливо били копытами, гремели бубенчиками.

— Прибыли! — закричал Свистунов и первый выскочил из экипажа.— За мной, Демидов!

— Куда вы, батюшка Николай Никитич? — бросился к хозяину дядька.— В этаком вертепе разорят поганые, опустошат!

— Не мешай! — с неудовольствием отодвинул его Демидов и поспешил за поручиком.

В большом зале было людно, шумно и дымно от трубок. Впереди, под яркой люстрой, вертелись в лихой пляске цыгане. Черномазые, кудрявые, они плясали так, что все ходуном ходило вокруг. Разодетые в пестрые платья молодые цыганки, обжигая горящими глазами, вихляя бедрами и плечами, кружились в буйном плясе. Высокий носатый цыган с густой черной бородой, одетый в бархатную поддевку и в голубую рубашку, бил в такт ладошами и выкрикивал задорно:

— Эх, давай, давай, радость моя!

Шумные гости — гвардейские офицеры, дамы — с упоением смотрели на цыганскую пляску.

— Свистунов! — энергично окликнул поручика кто-то из гуляк, но тот, схватив за руку Демидова, увлек его в полутемный коридор. Навстречу гостям вынырнул толстенький кудлатый цыган.

— Отдельный кабинет и вина! — приказал Свистунов.— Сюда! — показал он на дверь Николаю Никитичу.

Цыган, угодливо улыбаясь, посмотрел на поручика.

— Вина и Грушеньку, душа моя! — обронил Свистунов.— Песни расположены слушать.

Все было быстро исполнено. Только что успели офицеры расположиться в комнате за столом, уставленным яствами и винами, как дверь скрипнула и в кабинет неслышно вошла молоденькая и тоненькая, как гибкий стебелек, цыганка. Большие жгучие глаза ее сверкнули синеватым отливом, когда она быстро взглянула на гостей. Демидов очарованно смотрел на девушку. Одетая в легкое пестрое платье, с закинутыми на высокую грудь черными косами, она прошла на середину комнаты. Склонив головку, тонкими пальцами она стала быстро перебирать струны гитары. Робкий нежный звук легким дыханием пронесся по комнате и замер. С минуту длилось молчание, и вдруг девушка вся встрепенулась, взглянула на Свистунова и обожгла его искрометным взглядом.

— Грушенька, спой нам! — ласково попросил он. Неугомонный гвардейский офицер стал неузнаваем: притих, размяк; ласково он смотрел на цыганку и ждал.

— Что же тебе спеть, Феденька? — певучим голосом спросила она.

Простота обращения цыганки с гвардейским поручиком удивила Демидова; очарованный прелестью юности,

он неотрывно смотрел на девушку и завидовал Свистунову.

— Спой мою любимую, Грушенька! — сказал поручик и переглянулся с цыганкой.

И она запела чистым, захватывающим душу голосом. Николай Никитич поразился: цыганка пела не романс, а простую русскую песню:

Ах, матушка, голова болит...

Как пленяла эта бесхитростная песня! Словно хрустальный родничок, словно звенящая струйка лилась, так чист, свободен и приятен был голос. Грушенька сверкала безукоризненно прекрасными зубами, а на глазах блестели слезинки.

Подперев щеку, Свистунов вздыхал:

— Ах, радость моя! Ах, курский соловушка, до слез сердце мое умилила!..

Цыганка умоляюще взглянула на поручика, и он затих. Сидел околдованный и не мог отвести восхищенных глаз. Не шевелясь сидел и Демидов. Что-то родное, милое вдруг коснулось сердца, и какая-то невыносимо сладкая тоска сжала его.

Голос переходил на все более грустный мотив, и глаза цыганки не поднимались от струн. Словно камышинка под вихрем, она сама трепетала от песни...

Демидов неожиданно очнулся от очарования: рядом зарыдал Свистунов. Схватясь пальцами за темные курчавые волосы, он раскачивался и ронял слезы. Цыганка отбросила гитару на диван и кинулась к нему:

— Что с тобой, Феденька?

— Ах, бесценная моя радость, Грушенька, извини меня! — разомлевшим голосом сказал поручик.— Твоя песня мне все нутро перевернула.

Она запросто взяла его взъерошенную голову и прижала к груди:

— Замолчи, Феденька, замолчи!..

Он стих, взял ее тонкие руки и перецеловал каждый перст.

— Хочешь, я теперь романс спою? — предложила она и, не ожидая согласия, запела:

Милый друг, милый друг, сдалеча поспеши!..

Плечи ее задвигались в такт песне, стан изгибался. И как ни хороша была в эту минуту цыганка, но что-то

кабацкое, вульгарное сквозило в этих движениях. Очарование, которое охватило Демидова, угасло. Перед ним была обычная таборная цыганка. Николай Никитич прикусил губу.

— Грушенька, бесценная, не надо этого! — поморщился Свистунов.

Она послушно на полуслове оборвала песню и уселась рядом с ним.

— Уедем, радость моя! Уедем отсюда — ко мне, в орловские степи! — жарко заговорил Свистунов.

Цыганка отрицательно покачала головой.

— Убьет Данила! Да и куда уедешь, когда нет сил покинуть табор! — печально отозвалась она.— Не говори о том, Феденька!

Поручик взглянул на Демидова.

— Ну, если так, гуляй! Своих зови!..

Кабинет так быстро заполнился цыганами, словно они стояли за дверями и ждали. Цыганки, в цветистых платьях и шалях, с большими серьгами в ушах — старые и молодые,— начали величание. Цыгане, в цветных рубахах под бархатными жилетами, запели.

Свистунов полез в карман и выбросил в толпу горсть золотых. И разом все закружились в буйной пляске. Огонь и вихрь — все стихии пробудились в ней. Сверкающие глаза смуглых цыганок, полуобнаженные тела, трепетавшие в сладкой истоме под лихие звуки гитар, пляски удалых цыган захватили Демидова.

В круг бешено плясавших ворвался сам Данила и завертелся чертом. Он пел, плясал, бесновался, бренчал на гитаре и кричал во все горло:

— Сага баба, ай-люли!

Вся тоска отлетела прочь, от сердца отвалился камень. Буйные и шальные напевы подмывали, и молодой Демидов пустился в пляс...

Груша все еще сидела рядом с поручиком и, опустив голову, нежно разглядывала перстень с голубым глазком.

Разгоряченный, охваченный безумием пляски, Данила, однако, успевал зорко следить за цыганкой. И когда Свистунов обнял ее, он вспыхнул весь и закричал девушке что-то по-цыгански. Груша вскочила и ворвалась в круг. Данила громче ударил в ладоши и яростнее запел плясовую...

Ночь прошла в шумном угаре. Николай Никитич впервые был пьян. Свистунов оставался неизменным.

Цыгане пили вино, разливали его, шумели,— разгул лился через край. Пошатываясь, Демидов вышел в коридор, ощупал кошелек и с огорчением подумал: «Все, выданное батюшкой, спустил...»

За окном прогремели бубенчики: гуляки покидали «Красный кабачок». Зал опустел. Николай Никитич вернулся в комнату и мрачно предложил:

— Пора и нам!

Он полез за деньгами, но поручик решительно отвел его руку:

— За все плачу я! Слышишь? — Он выхватил пачку ассигнаций и вручил Даниле.

— Бери!

Цыган жадно схватил деньги и упрятал под жилет.

— Эх, черт! — горестно выкрикнул Свистунов цыгану.— Погасил ты мое горячее счастье... Ну, Груша, прощай!..

Цыганка мелкими шагами подбежала к нему и поцеловала в сухие губы.

— Это можно, в нашем обычае! — спокойно сказал Данила и поклонился гостям: — Благодарим-с, господа!

— Сатана кабацкая! — отвернулся от него поручик.— Идем, Демидов, отсюда!

Оба вышли из кабака. На востоке яснело сизое небо. Запоздалые тройки уныло стояли у подъезда. Из-за угла выбежал Филатка и пожаловался Демидову:

— Батюшка, почитай все спустили! Эти сатаны умеют подчистую господ потрошить! — Он взглянул на восток и часто закрестился: — Спаси, господи, нас от цыганской любви! Она, как пламень, пожрет все, а после нее только и остается один пепел да пустой кошелек!

— Слышишь, Демидов? — сказал поручик, забираясь в карету.— Твой холоп, поди, и не знает, что есть возвышенное чувство? Ах, любовь, любовь! — вздохнул он и зычно закричал ямщику:

— Погоняй!

Над Санкт-Петербургом стояла синяя дымка. Дорога еще была пустынна, и в свежести осеннего утра особенно грустно заливались бубенцы под дугой...

5

Всю неделю колобродил Демидов с однополчанами. После бурно проведенной ночи он до полудня отсыпался, затем приказывал закладывать карету и снова выбывал в город.

Столичные увеселения увлекали старых и молодых, Вся петербургская знать восторгалась новым балетом «Шалости Эола», в котором пластикой и грацией танца пленял знаменитый танцовщик Ле Пик. Демидов, который доселе не видел ни балета, ни театра, был ошеломлен. Разве мог он пропустить хотя бы одну постановку и не полюбоваться на привлекательных русских балерин Наточку Помореву и Настюшу Барилеву? Что могло быть очаровательнее этих созданий? И как можно было не сделать им презента и не увлечься? На Царицыном лугу имелся театр, а в нем подвизалась русская вольная труппа. Крепостной певчий Ягужинского — Михайло Матинский написал и поставил презабавную оперу «Гостиный двор». Все роли игрались актерами до слез уморительно. После театра Свистунов непременно увозил Демидова в злачные места, в которых так умело опустошались господские кошельки...

Напрасно Данилов приступал к Николеньке с уговорами — ничто не действовало. Демидов презрительно выслушивал тирады управителя и, махнув рукой, отговаривался:

— Все сие известно издавна! Запомни, Данилов: настоящее веселье бывает только в младости, и на мое счастье выпали великие капиталы батюшки!

— Да нешто их по ресторациям да по цыганам проматывать надо? Капитал всему хозяин. Без него и заводы станут...

Только от дьячка Филатки не было избавления. Он не отставал от Николеньки, всюду его сопровождая. Не успеет Демидов и рот раскрыть, а дядька уже громоздится на ко́злах. На все протесты господина у него находился один ответ:

— И, батенька, ругайте не ругайте, все равно не оставлю вас. Мне доверено ваше драгоценное здоровье, и я в ответе за него!

Когда экипаж трогался, он толкал кучера в бок:

— Ты, парень, небось все перевидал в столицах, а я родился в лесу и молился колесу. А бабенки и тут бывают впрямь хороши, только вся беда — худы телом.

Тьфу, прости господи, Вавилон здесь, и у доброго человека голова закружится, глядя на все это...

Кучер, плечистый мужик в синей поддевке и в круглой шапочке с павлиньими перьями, свысока разглядывал Филатку:

— Ты бы, пономарь, хоть лоскут с шеи скинул. Стыд на людях тряпицу носить!

— Да нешто это тряпица! — возмущался Филатка.— Это шейный платок, притом заветный. Сибирская зазноба поднесла!

— Ну-ну, хватит врать! Какая дура ухватится за тебя! Одна ершиная бородка стоит алтын, да рубль сдачи! — насмешливо разглядывал кучер тощую растительность на хитрой мордочке дьячка.

Управителя санкт-петербургской конторы Данилова сильно тревожило поведение демидовского наследника.

— Закружил, завертел! С цепи сорвался малый. Не сходить ли к светлейшему,— одна надежда и спасение. Приструнит, не посмотрит, что Демидов!

Он всерьез подумывал добраться до Потемкина и просить угомонить не в меру расходившегося Демидова.

Николенька так разгулялся, так свыкся с поручиком Свистуновым, что на все махнул рукой. Столичные увеселения целиком захватили его, и в полк он больше не являлся. В эти дни его увлекли разные прелестницы. Все они нравились и одновременно не нравились ему. Назойливые, бесстыдные и жеманные, они отталкивали его своею бесцеремонностью и опустошенностью. Среди них только одна цыганка Грушенька запечатлелась сильно. Но Грушенька была «предмет» Свистунова...

«Эх, мне бы ее! — с досадой думал он.— Я бы уволок ее в уральские горы».

Но тут в памяти вставал грозный батюшка, и Демидов остывал...

В одно туманное утро Николенька и Свистунов возвращались домой с очередной попойки. Лихая тройка пронесла их по шоссе, кони прогремели копытами по мосту через Фонтанку-реку и вынесли в Коломну. Впереди, среди оголенной рощицы, высилась церквушка Покрова. Из высоких стрельчатых окон лился бледный свет лампад.

— Стой! — крикнул Свистунов кучеру.— Давай, брат, Демидов, зайдем в церквушку. К богу потянуло...

Следом за поручиком Николенька вошел в притвор. Там, в полутьме, мерцали одинокие восковые свечечки.

Было тихо, благостно. После шумной ночи Демидов сразу окунулся в другой мир. Тут, в притворе, он увидел потемневшую картину страшного суда: рогатых дьяволов и грешников, влекомых в огонь... А рядом с устрашающей иконой, склонив головку, в полумраке стояла хорошенькая монашка с кружкой на построение храма. Золотистые блики от восковых свечей падали на ее лицо. Николенька взглянул в большие синие глаза сборщицы, и по сердцу прошла жаркая волна.

— Как тебя звать? Откуда ты? — тихо спросил он.

Монашка подняла холодные глаза, они блеснули, как синеватые льдинки.

— Инокиня Елена,— с достоинством отозвалась она и протянула кружку: — Пожертвуйте, сколько в силах!

Чудеснее всякой музыки показался ее голос Николеньке. Он поспешно полез в карман.

— Эх, и хороша голубка! С огоньком, шельма!— бесцеремонно взял ее за приятный подбородок Свистунов.

Монашка изо всей силы ударила поручика по руке:

— Не смей, барин!

— О-о! — удивленно взглянул на нее гвардеец.— Гляди, Демидов, и зубки есть! Хороша порода!

Николенька не слушал друга. Строгость сборщицы ему была приятна. Он открыл кошелек и все золотые, которые берег до случая, со звоном опустил в кружку. Глаза монашки расширились от изумления, и руки чуть-чуть задрожали от волнения.

— Вот, Аленушка, все тебе отдал! И сердце готов!— ласково сказал он.

— Спасибо, барин. Только я не Аленушка, а инокиня Елена! — сдержанно сказала она.— А сердце свое добрым делам отдайте!

— Дай я тебя поцелую! — осмелел вдруг Николенька и потянулся к ней.

Монашка заслонила лицо кружкой и пригрозила:

— Гляди, матушке Наталии пожалуюсь, несдобровать тебе!

— А что нам твоя матушка, если мы самого черта не боимся! — рассмеялся Свистунов и попытался поймать ее за руку.— Милая Аленушка, будь сговорчивей!

Со страхом глядя на красивых гвардейцев, монашка отступила в церковь. Они тоже вошли под своды храма. Две старушки стояли у колонн и шевелили бескровными

губами. Дребезжащий голос попика наполнял пустынную храмину. Монашка легкой походкой прошла вперед и опустилась перед образом. Она ни разу не оглянулась, впилась взором в икону. Стараясь не бряцать шпорами, гвардейцы, томясь, долго стояли в углу.

— Хороша шельма! — с молитвенным выражением на лице шепнул Свистунов.— О господи!...— Он часто закрестился, возвел очи горé и завздыхал: — Пресвятая богородица, сколько соблазнов рассеяно на человеческом пути в юности... Ей-ей, она получше моей Грушеньки...

— Перестань! — сердито обрезал Николенька.— Аленушка про меня писана. Заклинаю тебя, не мешай!

— Боже, спаси меня и помилуй! — нарочито громко, покаянно взмолился Свистунов...

Что творилось в эту минуту в душе молодой сборщицы,— больше всего волновало Николеньку. Впервые в его жизни сердце защемило сладкой любовной тоской. Синие глаза Аленушки покорили его своей безмятежностью. Разбивая очарование, поручик возмущенно прошептал другу:

— Ну и дурак же ты, Демидов! Все золото сразу высыпал! Это же поповские глаза, разве их насытишь!

Николенька не хотел слушать. Он недовольно повел плечами.

«Оглянись, оглянись, голубка!» — мысленно призывал Николенька, не сводя глаз с девушки.

Словно угадывая его призыв, кланяясь образу, монашка украдкой взглянула на Демидова. И Николеньке почудилась ответная ласка в этом взоре. Неожиданно осмелев, он подошел к ней, опустил в кружку последний рублевик и прошептал:

— Люблю! Ой, как люблю...

Как горячее дыхание, пронеслось это и коснулось ее слуха. Она ниже склонила головку, а он, чуть слышно позвякивая шпорами, удалился на свое место и потянул Свистунова за рукав:

— Уйдем, тут больше нечего делать!

Они вышли на паперть. Со взморья тянуло густым туманом. Большой каменный город, пробуждаясь, наполнялся шумом. Вездесущий Филатка немедленно подвернулся Николеньке под руку и зашептал ему укоризненно:

— Нехорошо, батюшка, совращать духовное лицо!
— А разве ты видел ее? — удивился Демидов.
— Все видел, батюшка. Слов нет, хороша! Ой, и до чего хороша! Да и вы, батюшка, красавец. Ой-ой, на архангела Гавриила сейчас похожи... Только грех, большой грех — с духовным лицом!..
Глубокая заноза засела в сердце Николеньки: он засыпал и просыпался с мыслью об Аленушке.
Два дня спустя он вместе со Свистуновым ранним утром отправился к Покрову. Все так же под сводами горели редкие лампадки, те же безмолвные старушки шевелили морщинистыми губами. Увы, монашки ни в храме, ни в притворе не было!
— Езжай к Симеону! — приказал Демидов кучеру.
Но и в церкви Симеона он не встретил знакомых синих глаз. Гвардейцы объездили все церкви и церквушки и нигде не встретили сборщицы. Николенька упал духом, заскучал.
— Ах, Свистунов, один раз улыбнулось счастье, и то угасло! — с глубокой скорбью пожаловался он поручику.
— Ты что ж, и впрямь полюбил девку? — строго спросил Свистунов.
— Полюбил, сильно полюбил! — признался Николенька.
— Эх, любовь, любовь! — вздохнул Свистунов.— Из-за нее ни зги не видать. И себя потерял и от людей отошел!
— Что же теперь делать? — спросил юнец, и в голосе его прозвучала искренняя сердечная боль.— Как найти ее? Санкт-Петербург велик, ищи песчинку в море!
— А ты у своего Филатки спроси! Он из духовных и нравы этих бестий досконально знает! Эй, Филатка! — позвал Свистунов.
Дьячок насторожился.
— Послушай, церковная крыса, где нам отыскать Аленушку?
Филатка почесал в затылке.
— Монашку? — догадался он.— Известно где: на то и курица, чтобы в курятнике жить, а монашествующая девка — в монастыре. А какой монастырь в Санкт-Петербурге для инокинь? Известно какой! Новодевичий...
— Видишь! — похвалил Свистунов.— Рыбак рыбака чует издалека. Эй, погоняй в монастырь!

— Пощадите, батюшка! — взмолился Филатка.— Сами в грех по уши завязли и меня с собой в адскую пучину тянете!

— Гони коней! — прикрикнул поручик, и коляска понеслась к Московской заставе.

Филатка оказался прав, и час этот был удачным для Демидова. Оставив карету у монастырских ворот, гвардейцы прошли за ограду. По дорожке к церкви шла бледная и скучная Аленушка. Завидев Николеньку, она вспыхнула, глаза ее озарились радостью, но тут же, спохватившись, монашка смущенно потупила взор.

— Аленушка! — вскричал Николенька.— Мы весь Санкт-Петербург обрыскали, отыскивая тебя!

Она молча шла вперед, не поднимая головы. Гвардеец не отставал, страстно нашептывая:

— Жить не могу без тебя!

Она приостановилась, подняла на Демидова синие глаза. В них заблестели слезинки.

— Зачем смутили мою душу! — с тоской сказала она.

— Я хочу видеть и слышать тебя! — воскликнул Николенька.

Монашка степенно пошла к церкви, оставив гвардейцев на дорожке.

— Боже мой, что делать? — горестно вырвалось у Николеньки.

— Ну, брат, пустяки! Дело в порядке. Нельзя больше колебаться: атака, приступ, победа!

— Как?

— Очень просто, Демидов. Взгляни на себя: господь бог наградил тебя смазливой рожей. А это все!

— Лицо у меня девичье! — со вздохом признался сержант.

— Вот это и хорошо! Ты по виду совершеннейшая девица! — вразумительно сказал Свистунов и посоветовал: — Одеть тебя в платье, и всякий за девицу примет, ничтоже сумняшеся. Понял?

— Ничего не понимаю! — недоумевающе посмотрел на друга Николенька.

— С завтрашнего дня ты моя сестра Катюша и желаешь вкусить иноческую жизнь. Я тебя представлю сюда на испытание, ну ты и поживешь! — Глаза поручика сверкнули озорством.

Николенька засиял.

— Свистунов, братец мой, дай расцелую. А она не закричит?

— Да что ты, милый! По глазам видно: согласна с тобой хоть в омут головой!..

6

Свершилось небывалое: дядька Филатка по настоянию Николеньки пригубил чарку. Ничего — легко прошла! За ней — вторую. Еще веселее прокатилась.

— Я о том и говорил: первая — колом, вторая— соколом, а потом — мелкими пташками! — смеялся Свистунов и подбадривал дядьку: — Пей, пей, дьякон! Пити — веселие Руси. Так, что ли, в законе божьем сказано?

— Так, батюшка, так! — охотно согласился Филатка и осушил третью чару. Скоро дьячок захмелел и мертвецки пьяным свалился у кабацкой стойки. Вечерело, когда он очухался под забором. Ни барина, ни кареты. Хвать, и шейный платок с червонцами исчез.

— Караул! — завопил дьячок.— Дотла обчистили и барина похитили!

Набежали будочник, квартальный и стащили очумевшего с похмелья Филатку в участок.

— Батюшки, не губите, барина потерял! — завопил он.

Дьячок упал на колени и повинился: сколько лет не брал в рот хмельного — зарок перед богом и господином дал, а тут разрешил! Размазывая слезы, с горьким сокрушением рассказал он квартальному про свою беду.

Уставившись в мочальную бороденку дьячка, квартальный вдруг загрохотал хриплым басом:

— Ха-ха-ха! Гвардейцы — известное дело! Пошалили малость! — Он хохотал до колик и хватался за бока. А когда отошел от смеха, вдруг сдвинул брови и поднялся со скамьи.— А это видел? — сунул он под нос Филатки волосатый кулак.— Сгинь, шишига! По-пустому караул кричал! — Он сгреб его за шиворот и выбросил за порог.

Дьячок долго кружил по площадям и улицам, боясь предстать перед управителем. Когда же появился перед ним, то поразился: Данилов не топал, не кричал, а повалился на стул и, пуча серые жабьи глаза, все спрашивал:

— Что теперь будет? Куда запропастился Николай Никитич? Матушка ты моя, запорет нас Никита Акинфиевич, сгноит в погребище! Ох, милые мои!

Толстый, плешивый, всегда такой внушительный, он вдруг стал жалким и растерянным.

— Что же ты глядел, дурья твоя голова! — укорял он дьячка.

Филатка потер ладонью длинную тощую шею.

— Где тут было глядеть, когда и свое добро упустил! — скорбно пожаловался он...

Весь день оба обсуждали: куда мог скрыться Демидов? Под страхом батогов допросили кучера, и тот поведал:

— Верно, отвозил барина к Свистунову. Стоял час. Барин загостился, вместо него вышел поручик с ихней сестрицей и сказал: «Отвези в монастырь». Известное дело, отвез...

— А куда же девался Николай Никитич? — наседал на кучера Данилов.

— Господин Свистунов сказал, что барин пешим пошел.

Николенька как в воду канул. С большой осторожностью управитель объявил квартальному о беде. Тот и ухом не повел.

— Закутил барское чадушко! — с насмешкой отозвался он.— В столице всякое видано!

На третий день пришла горшая беда,— в демидовскую контору примчался курьер и объявил Данилову: его благородие гвардии сержанта Демидова князь Потемкин требует!

А где отыскать его благородие гвардии сержанта, если третьи сутки ни его, ни Свистунова?

«Большая гроза будет»,— с ужасом подумал Данилов, тщательно обрядился в бархатный кафтан, надел парик и поплелся с повинной к светлейшему. Долго он сидел в обширной приемной, пока его допустили к князю.

Войдя в гостиную, он брякнулся Потемкину в ноги.

В расшитом золотом халате, в туфлях на босу ногу, князь удивленно разглядывал демидовского слугу:

— Ты почему здесь? Мне Демидов нужен! Где он?

— Ваше сиятельство, батюшка, пропал демидовский сынок, ой, пропал! Не сносить мне головы!

— Вставай, дурак! — Потемкин ткнул ногой в бок управителя.— Как так пропал? Где это слыхано, чтобы

в Санкт-Петербурге пропал гвардеец? Найти, живо отыскать!

— Ума не приложу, где искать! — взмолился Данилов.

Потемкин запахнул халат, прошелся по комнате. В руках его был длинный черешневый чубук, он затянулся и пустил клубы дыма. Управитель не поднимался с колен. Его беспомощный, растерянный вид разжалобил князя.

— Скажи, борода, за кем Демидов волочился?— улыбаясь, спросил он.

— Дядька сказывал, к монашке приставал...

— О! — удивленно поднял брови Потемкин.— В монастырский курятник забрался сержант. Эх ты, чумазый, вот где надо искать господина сержанта. Живо! Квартальному наказать!

В Новодевичьем монастыре в ту пору поднялся переполох, ударили в набат. Подоспевший к обители Данилов и квартальный диву дались: ни дыма, ни огня. Стало быть, не пожар. Бросились в покои к игуменье Наталии.

— Что стряслось в обители, матушка? — смиренно стали допытываться они.— Ни огня, ни дыма, а набат?

— Ах, голубчики, отцы вы наши! Несчастье совершилось. От века тут подобного не слыхано. В инокиню Катерину бес вселился!

— Не может этого быть, матушка!—поразился квартальный.— В моем околотке да такое... Нет, тут что-то не то, матушка. Бес?..

— Истинно бес! — гневно выкрикнула игуменья.— Судите сами, отцы мои: девица Катерина — сестра поручика Свистунова — мужчиной оказалась!

— Неужели? Господи, да что градоначальник скажет! — возопил, в свою очередь, квартальный.

— Верно, бес... Он все! Он, враг рода человеческого! Такая девица богомольная, почтительная была и вдруг... Ах, господи, мы ее с инокиней Еленой в одной келье держали!..

— Да где же этот бес? — просияв, спросил Данилов.

— А там, на колокольне, заперли его. А он, проклятый, в набат! На всю столицу теперь на обитель поношение.

— Благослови, матушка! — Квартальный и управитель бросились к звоннице.

Самая храбрая из инокинь отперла им железную

дверь, а другие монашки шарахнулись в сторону. Лица побледнели у них, глаза испуганные. Вот-вот из двери выбежит бес.

Одна Аленушка тихо стояла в отдалении и молчала.

Квартальный вызвал будочника, и тот, погромыхивая алебардой, полез вверх. За ним, опасливо озираясь, стали подниматься Данилов и квартальный. В звоннице было темно, только гул набата, ударяясь о каменные стены, стал гуще; казалось, сверху бросали камни.

— А что, если и в самом деле бес завелся в околотке? — беспокойно закрестился квартальный.

Набат вдруг стих, и сверху раздался крик.

— Эй, кто там? — закричал квартальный.

— Здесь бес, ваше благородие. Тут он,— отозвался будочник.— Держу!

— Давай вниз!

— Да он и сам идет!

По лестнице раздались шаги, и в полумрак притвора спустились двое. Данилов взглянул в лицо монашенки и заорал от радости:

— Николай Никитич, да вы ли это?

Демидов поморщился и нехотя отозвался:

— Не видишь, что ли, грехи замаливал!

Управитель и квартальный бережно усадили Николеньку в карету и покатили. Рядом с ним поместили Филатку.

— Ты его упустил, ты его и стереги! — пригрозил управитель.

Николенька и не думал бежать. Ехал он молча, хмурился. Дьячок вертелся, пыхтел, никак не мог угомониться. Распирало любопытство.

— Ну чего юлой вертишься? — сердито спросил Демидов.— Или блох нахватал в трактире?

Филатка пытливо посмотрел в лицо Николеньки и лукаво спросил:

— Скажи, батюшка, по совести, выгорело ли задуманное?

— Вот о том и горюю, что шуму много, а дела ни на грош! — с обидой отозвался он и отвалился в угол кареты.

Дьячок укоризненно покачал головой:

— Эх, батюшка, ну и простак ты по всем статьям! Где это видано: в курятнике побывать и вернуться без пушинки в зубах! А хлопот, хлопот сколько, и все зря... Эх-хе-хе, промазали, господин мой хороший!

7

Вернувшись домой, Николенька нашел на столе большой синий пакет. Он поспешно вскрыл его и прочел предписание немедленно явиться на прием к светлейшему князю Потемкину. Демидов изрядно струсил.

«Ну, будет головомойка за озорство в женской обители!» — со страхом подумал он. Всем был известен необузданный нрав светлейшего. Особенно опасно было попасть под руку разгневанного всесильного вельможи. Николеньке оставалось одно — покориться участи.

Он тщательно натянул новенькие лосины, надел в талию сшитый мундир и долго, внимательно разглядывал себя в зеркало. Подле него вертелся Данилов. Он чутьем догадывался о тревоге Николеньки, а самого в это время подмывала радость.

«Вот когда остепенится! Григорий Александрович прижмет хвост, не посмотрит, что демидовский корень!» — утешал себя управитель.

С важным, степенным видом он проводил гвардии сержанта до кареты. Стоя на ступеньке крыльца, Данилов с особым упоением прокричал кучеру:

— Гони к светлейшему!

На сей раз выезд обошелся без дядьки. Огорченный Филатка псом вертелся подле управителя, умильно заглядывая ему в глаза:

— Как там обойдется без меня, Павел Данилович? Глядишь, я присоветовал бы Николаю Никитичу, какое словцо к месту сказать, направил бы его на добрую стезю.

— Ну, это и без тебя светлейший похлеще сделает! Непременно пустит по прямой стезе! — насмешливо сказал управитель.— Ты вот что, лучше подале от меня уходи, а то сердце мое кипит. Сам тебе стезю покажу!

Пугливо озираясь, дьячок юркнул в прохладную прихожую. Данилов сладко зевнул и торопливо перекрестил рот:

— Помоги, господи, избавиться от суеты и беспокойств!..

Между тем Николенька подъехал к дворцу. С трепетом он вступил в разубранные чертоги князя. В приемной, устланной пушистыми коврами, сверкающей зеркалами, золоченой мебелью, толпилось много одетых в парадную форму генералов, важных, в атласных камзолах, вельмож. Все они разговаривали вполголоса, с

плохо скрываемым беспокойством поглядывая на высокую, изукрашенную бронзой дверь. Никто из них не обратил внимания на скромного сержанта, пробиравшегося в угол.

В приемную торопливо вышел адъютант, краснощекий гвардеец: его мгновенно окружили.

— Светлейший в духе? — приглушенным голосом, косясь на дверь, спросил толстоносый генерал.— Опять хандрит? Ах, боже мой, когда нам солнышко блеснет!

Адъютант поднял голову и торжественно объявил:

— Светлейший изволит сейчас выйти!

В ту же минуту два арапа бесшумно распахнули дверь. Из анфилады раззолоченных покоев величественно, медленно приближался знакомый гигант в лиловом, шитом золотом мундире, усыпанном звездами. Говорок сразу стих, и установилась глубокая тишина. Николенька услышал учащенные удары своего сердца. Грузные шаги раздались совсем близко. Все в приемной склонились в глубоком, почтительном поклоне и с замиранием сердца ждали.

С холодным, строгим лицом, никого не замечая, Потемкин вышел на середину зала. Неуловимый трепет прошел среди ожидающих. Николенька стоял в тени, за спинами вельмож, чувствуя, что у него от страха холодеют руки. Каким маленьким и незаметным показался он себе в эту минуту! Разве до него сейчас князю среди такого блистательного общества?

Светлейший остановил свое единственное око на молоденьком адъютанте, улыбнулся чему-то и вдруг громко сказал:

— Гвардии сержанта Демидова сюда!

Все вздрогнули, удивленно взглянули на юнца с темным пушком на губе. Давно ли он носит форму, а между тем...

Потемкин равнодушно повернулся ко всем спиной и, тяжело ступая, пошел в апартаменты. Адъютант предложил Демидову следовать за князем.

«Теперь пропал!» — твердо решил Николенька и безмолвно пошел за Потемкиным.

Бледный сержант проследовал за князем через ряд роскошных покоев. Потемкин безмолвствовал, и это еще больше усиливало тревогу Демидова.

Войдя в диванную, князь присел на широкую софу,

поднял на сержанта свой взор. В голубом глазу циклопа вдруг вспыхнул веселый смех.

— Ну что, сибирский плут, наблудил в обители?— улыбнулся Потемкин, и крупное красивое лицо его подобрело.

— Был грех! — сознался Демидов.

— А скажи, любезный, о чем ты сейчас думал? — улыбаясь, спросил князь.

— А я ни о чем не думал. Со страху умирал, следуя за вами! — чистосердечно признался Николенька.

— Страшен я, что ли? — построжав, спросил Потемкин.

— Совсем другое, ваше сиятельство,— осмелев, пояснил сержант;— Страшно стало, что больше не увижу вас. Прогоните за озорство! А то — страшнее смерти!

— Ну, брат, молодец! — вставая с дивана, сказал Потемкин.— За монашку прощаю. Быль молодцу не укор. Только о сей черной курочке не выходило звонить на весь Санкт-Петербург! Экое кукареку задал, братец!

— Винюсь! — склонил голову Николенька.

— Повинную голову и меч не сечет! Поздравляю, братец, тебя своим адъютантом. Собирайся в путь, а пока поспеши в полк, непременно отдай последний визит командиру...

Радость брызнула из глаз Николеньки, он схватил руку князя и жадно поцеловал ее.

— На всю жизнь обязан вам! — восторженно воскликнул он.

Потемкин улыбнулся и сказал:

— Не думай, что избран ты по капризу! Ради рода твоего сие сотворил. Демидовы — народ крепкий, упорный — дубы! А такие мне на службе нужны. Прощай!..

Николенька откланялся и сияющий выбежал из покоев. Все кинулись к нему с расспросами, но он, отмахиваясь, бросил скороговоркой:

— Извините, спешу, послан светлейшим...

Он вихрем пронесся через приемную, галопом проскочил ступеньки крыльца и, влетев в карету, закричал кучеру:

— Гони в лейб-гвардии Семеновский полк!

Стоило Демидову явиться туда и поведать о своем назначении, как командир обнял его и расцеловал.

— Желаю, господин сержант, удачи! Светлейший умен, деятелен, и вам, господин адъютант, улыбнулась фортуна.

Он учтиво проводил Николеньку до приемной.

Не чуя под собой ног, Демидов бросился к Свистунову. Сонный денщик подал гостю наспех написанную цидульку.

«Демидов,— писал поручик,— извини, не буду дома два дня. Веду фортеции к новой твердыне. Дама черненькая, с пухлой губкой, одно слово — прелесть!»

«А Грушенька? — подумал Николенька и тут же махнул рукой.— Для этой свой брат цыган дороже гвардейца!»

У подъезда Демидову встретились знакомые однополчане, которых невзлюбил Свистунов. Завитые, раздушенные, затянутые в корсеты, они выглядели изысканно. Гвардейские аксельбанты и галуны горели жаром.

— Демидов, пойдем с нами! Наслышаны о твоей фортуне! Попал в случай! — залебезили они перед ним.— Идем, идем, брат! Испытай счастье на зеленом поле.

Они увлекли сержанта в собрание. Демидов не успел опомниться, как очутился за карточным столом. Кругом в клубах табачного дыма ходили офицеры, многие из них, любопытствуя, стояли за креслами у зеленых столиков. Николенька скользнул взглядом по лицу банкомета. Бледнолицый, с тяжелым взглядом свинцовых глаз, он стал быстро метать. Мало смысливший в игре, Николенька внимательно следил за картами. Он высыпал все золото на стол и стал ждать.

А ждать долго не пришлось.

— Ваша бита, сударь! — сухо отрезал банкомет.

Демидов улыбнулся неудаче, отделил пять червонцев.

— Погодите, придет фортуна и ко мне! — пригрозил он.— Валет на пè!

Но и в другой раз его ставка была бита. Николеньку охватил азарт.

«Не может того быть, чтобы все время проигрыш!»— подумал он и поставил на все.

Банкомет тщательно перетасовал карты и стал метать.

— И эта, сударь, бита! — ухмыляясь, сказал он.

У Николеньки на лбу выступил холодный пот. Про-

сто не верилось, что в полчаса весь кошелек опустошили.

— Ну что ж, будем играть еще, сударь? — спросил партнер и поощряюще улыбнулся Демидову.— Право, получилось неудобно: впервые встретились, и вы проигрались...

На лице сержанта вспыхнул румянец. Преодолевая смущение, он признался:

— Все червонцы вышли, господа. Не знаю, как и быть.

— Демидов, душа! — вскочил партнер и вкрадчиво предложил: — Мы тебе под офицерское слово верим. Пожалуй в долг! На мелок!

«Отыграюсь! Непременно отыграюсь!» — решил Николенька и согласился:

— Давай в долг!..

Банкомет сбросил карты.

— На сколько?

Николенька решил на все. Но только он произнес крупную сумму, как сморщился, словно от зубной боли.

— Бита!

Руки Демидова задрожали. Он взглянул на груду червонцев и мелок, которым партнер быстро нанес пятерку с четырьмя нулями.

— Пятьдесят тысяч! Не может того быть!

В отчаянии, больше не владея собою, он чужим голосом выкрикнул:

— На пятьдесят, сударь!

— Пожалуйте, сержант! — скрипучим голосом отозвался банкомет, быстро стасовал карты и выкинул три.

Николенька открыл свои.

— Вам сегодня не везет, сударь. Надо прекратить игру. Сто тысяч за вами! — Он смешал карты, небрежно сгреб червонцы и сухо поклонился Демидову.— Когда прикажете, сударь, прибыть за долгом в контору?

Только сейчас дошло до сознания Николеньки, какую опрометчивость он совершил. Смертельная бледность покрыла его лицо. Он встал, ухватился за край стола.

— Так скоро! А если... если я сейчас стеснен? — пробормотал он.

— Уговор дороже денег, сударь. Карточные долги для офицерской чести обязательны...

Загремели стулья.

— Я, может быть, отыграюсь, господа! — вскричал в отчаянии Николенька.

— Нет, господин сержант, с вас хватит. Да и ваш управитель Данилов вряд ли больше уплатит! Итак, до завтра! — Офицеры небрежно раскланялись и вышли из зала.

Николенька, с покривившимися губами, готовый заплакать, огляделся. Кругом с сочувствием глядели на него, но молчали...

— Господа, как же это?

— Господин сержант, вы сами допустили промах!— пожалел его седоусый капитан.— Теперь извольте расплачиваться.

«Да они обобрали, ограбили меня!» — хотел закричать Демидов, но промолчал и, пошатываясь, пошел к выходу.

— Не пойман за руку, не вор! — негромко вслед сказал капитан.— Напрасно, сударь, связывались с фанфаронишками.

Николенька не помнил, как в прихожей ему набросили на плечи плащ и он вышел к карете. Обезумевший, он помчался прямо в контору.

— Данилов! — закричал он с порога.— Со мной беда!

— Выходит, их сиятельство Потемкин на озорство ваше рассердились? — радуясь в душе, спросил управитель.

— Никак нет! Пожалован адъютантом! — вспыхнул Николенька и вдруг со всей отчетливостью представил себе беду.

— Так нешто это плохо? Дозвольте, господин, поздравить вас со столь высоким назначением. Батюшка обрадуются!

— Не в этом дело! — бросаясь на стул, отчаянно выкрикнул молодой Демидов.— Я сто тысяч только что проиграл!

Жирное лицо Данилова выразило крайнее изумление.

— Да где же вы столько денег взяли?

— Я в долг играл! — с горечью выпалил Николенька.— Понимаешь, в долг!

— Как это можно в долг, Николай Никитич? Денежки-то батюшкины, а вы руку в них запускаете. Не гоже-с!

Лицо управителя побагровело. Тяжело дыша, он по-

лез в карман, вытащил клетчатый платок и отер блестевшую от пота лысину.

— Ах, господин, что вы натворили! Однако...

Он схватился за большой выпуклый лоб, задумался.

— Разумею я так, карточный долг не подобает платить! — после глубокого раздумья сказал он.— Во-первых, вы, господин, совершенное дитя, во-вторых, расписки не давали!

— А честное слово офицера? — с негодованием перебил его Николенька.— Плати, Данилов!

— Не буду, господин! Шутка ли? — Управитель мешком опустился в кресло.— Не буду... Ох, господи, какая беда!

— Плати, Данилов! — стоял на своем Николенька.— А не то хуже будет! Я горшую беду тебе учиню... Знаешь, что в таких случаях офицер повинен над собой сделать, коли не в силах выполнить долг чести?

У Данилова от страха отвисла нижняя челюсть, глаза расширились. С нескрываемым ужасом глядел он на Демидова.

— Да вы что, Николай Никитич! Меня тогда ваш батюшка батогами засечет! Помилуй господи, пронеси несчастье великое!..

Он опустил голову и задумался.

«Подумать только, этакие деньги — и придется платить. И кому? Шаромыжникам, шулерам! Ай-яй-яй...»

8

В Нижний Тагил пришло неожиданное сообщение от управляющего санкт-петербургской конторой Данилова, в котором он осторожно доносил хозяину о похождениях наследника. Словно почуяв неладное, Селезень долго мял пакет в руках, рассматривал его на свет, раздумывал, отдать или не отдавать его сегодня Никите Акинфиевичу. Наконец решившись, осторожно покашливая, он вошел в кабинет хозяина. Демидов сидел перед громоздким дубовым столом. Погрузившись в глубокое мягкое кресло, он утомленно опустил голову и полудремал. Жирные сизые щеки его отвисли, а под глазами темнели отеки. Прикрывая ладошкой рот, Селезень покашлял громче. Никита Акинфиевич поднял усталые глаза.

— С чем явился, старик? — недовольно спросил он.

— Пакет, батюшка, из Санкт-Петербурга с оказией прислан. Должно быть, весточка от Николая Никитича,— протянул синий конверт приказчик.

Демидов жадно схватил пакет, вскрыл его и обеспокоенно забегал глазами по строкам. Лицо Никиты мгновенно налилось багровостью, судорожным движением он скомкал письмо и бросил в угол.

— Подлец! Разоритель! — страшным голосом закричал он.— Отец и деды великим усердием наживали каждую копеечку, а он в одночасье спустил петербургским фанфаронишкам сто тысяч! Погоди ж!

Никита Акинфиевич сердито сорвался с кресла, вскинул над головой большие кулаки и, весь закипая злобой, пригрозил:

— Наследства лишу, беспутный, коли не умеешь беречь отцовское добро! Ты! — прикрикнул он на Селезня.— Беги за попом, пусть духовную перепишет... Вырастили разорителя! Мот! Картежник!..

Он хотел еще что-то выкрикнуть в палящей злобе, но вдруг схватился за сердце, обмяк и грохнулся на пол.

«Господи! — в страхе подумал Селезень.— Второй удар!»

— Батюшка мой! — заголосил он и кинулся к хозяину, схватил тяжелое тело под руки, но, внезапно ставшее громоздким и безвольным, оно выскользнуло на пол.

Приказчик присел рядом и заглянул в лицо хозяина. Полуостекленевшие глаза Демидова поразили Селезня, его сознания коснулась страшная догадка:

«Батюшки, никак хозяин отходит!»

Из глаз приказчика выкатились скупые слезы. Он выпрямился, взглянул на образа и трижды истово перекрестился:

— Господи, господи, прости и помоги нам!

В эту минуту Селезню стало жаль не столько хозяина, сколько себя.

«Вот и прошла жизнь, а сколько было суетни и беспокойств. Отлетели радости!» — огорченно подумал он. Ноги старого приказчика отяжелели. Шаркая ими, он вышел в людскую и оповестил:

— Сбегайте за управителем Любимовым. Хозяину дурно!

Прибежали Любимов, лекарь, дворовые люди, уло-

жили тяжелое тело Никиты Акинфиевича на широкий диван. Демидов лежал без движения, у него отнялся язык. Медленно, в безмолвии проходил день, и по мере того как угасал он, угасал и старый Демидов. К вечеру Никиты Акинфиевича не стало. Пушки оповестили о том Тагильский завод, а над барским домом взвился траурный флаг.

Похоронили Никиту Акинфиевича с великой пышностью. Еще задолго до своей смерти Никита Акинфиевич возвел на кладбище Введенскую церковь. Это каменное сооружение было построено выписанным итальянцем во вкусе эпохи Возрождения. Иноземный художник расписал своды и купол фресками. Лепные украшения делали крепостные мастера... В этой церкви, в склепе, и нашел свой вечный покой Никита Акинфиевич, последний из Демидовых, который сам управлял и доглядывал за уральскими заводами.

После него осталось девять заводов с деревнями и вотчинами, в которых числилось девять тысяч двести девять душ крепостных. Государыня утвердила вскрытое демидовское завещание, по которому все богатства поступали во владение сына заводчика, Николая Никитича. Так как он был весьма неопытен в делах управления имениями, то над ним была назначена опека во главе со статс-секретарем императрицы Александром Васильевичем Храповицким, а фактическим управителем уральских заводов остался Любимов, который по-прежнему сохранял старые демидовские порядки.

Ничто не изменилось в судьбе приписных, только в хозяйских хоромах поубавилось дворовой челяди, часть которой управитель приставил на рудокопную работу. И совсем без дела остались двое: высохшая англичанка Джесси и старый приказчик Селезень.

Мисс долго сиротливо бродила по пустынным демидовским покоям, вспоминая своего питомца Николеньку. Всеми забытая, она обратилась к управителю завода за пособием, но тот отказал ей в помощи, не возражая против отбытия англичанки из Нижнего Тагила.

— Пусть убирается с богом! Кабы моя воля, поиному бы решил!

Селезень бережно уложил тощий чемоданчик мисс Джесси в тряскую тележку, усадил ее на охапку сена и отправил в дальнюю путь-дорогу.

— Отслужились мы с тобой, милая! Одры стали! —

сочувственно напутствовал англичанку отставной приказчик.— Скажи спасибо, что из наших палестин отпустили. У Демидовых такой обычай: ни своих, ни иноземцев из вотчин не отпускать. Тут изробился, тут и кости донашивай! Но воли покойного Никиты Акинфиевича не переступишь: в завещании указал отпустить тебя, сударушка. Ну, трогай! — ощеря зубы, крикнул он вознице и отвернулся...

Спустя неделю и сам Селезень покинул Нижне-Тагильский завод. Все свое незатейливое имущество он собрал в котомку, взял посох и ушел в обитель.

— Побито, награблено, обижено людей — не счесть! Пора у бога прощение вымаливать,— примиренно сказал он и, ссутулившись, тихой походкой странника на зорьке ушел по пыльной дороге из демидовского гнезда, где столько было пережито и перечувствовано...

Глава четвертая

1

Николай Никитич не долго скорбел по батюшке. Легкомысленный по своему характеру, он быстро забыл горе и увлекся своим новым положением. Демидовский наследник бегал по обширному дедовскому дому и ко всему присматривался. «Все это теперь мое! Все мое!» — восторженно думал он.

Ему казалось, что он теперь властелин всего. Управляющий санкт-петербургской конторой Павел Данилов стал весьма почтителен и быстр на повороты, но, однако, не все дозволял молодому наследнику. Многое после смерти батюшки было немедленно опечатано и ждало приказа опекунов. Когда Николай Никитич в своем любопытстве тронул замóк одного чугунного шкафа, Данилов встревоженно схватил его за руку

— Батюшка милый, сюда нельзя до поры до времени забираться! — почтительно остановил он гвардейца.

— Как нельзя! — удивился Демидов.— Да я же хозяин!

— Это верно, что вы, господин мой, ныне хозяин, но пока еще хозяин не в полной силе! — мягким голосом сказал Данилов и лукаво прищуренными глазами посмотрел на Николая Никитича.

— То есть как это — не в полной силе? — обидчиво выкрикнул Демидов.

— Над вами пока опека, господин мой! От нее и ваши расходы зависеть будут! — отечески-ласково пояснил управляющий.

— Вот как! — разочарованно вырвалось у гвардейца.— А если я, скажем, задумаю в этот ящик забраться, что тогда?

Данилов развел руками.

— Этого никак невозможно, батюшка! Слом печати и вскрытие шкафа почтется за воровство! — пояснил он.

— А что здесь хранится? — Демидов испытующе посмотрел на старика.

— Хранятся тут редкие драгоценности вашей покойной матушки.

— Бриллианты! — засиял Николай Никитич. — Когда же я смогу ими воспользоваться?

— Завещано Александрой Евтихиевной передать сие богатство, драгоценные камни и жемчуг, вашей супруге, когда господь бог наградит вас ею! — терпеливо рассказывал управляющий.

Николай Никитич помрачнел. Сразу все стало как-то буднично, серо. Он недружелюбно посмотрел на управляющего и с сожалением вымолвил:

— Вялая душа у тебя, Данилов! Жить теперь хочется, а ты все в долгий ящик откладываешь!

— Потерпите годочки! Да и денежки-капиталы не на потехи оставлены вам, а на усиление заводов! О них вам завещаны заботы!

Тоска и злоба распирали грудь демидовского наследника. Одним махом он опрокинул бы этого скупого слугу, но тот, крепкий и медлительно-внушительный, был упрям и опасен. Каждую копеечку приходилось выжимать у него со скандалом. Готовясь к отъезду в Яссы, Николай Никитич не щадил ни управляющего, ни дворовых. Он загонял их своими поручениями. И как ни бесился Павел Данилов, Демидов щедрой рукой рассыпал деньги на покупки, связанные с предстоящим путешествием. Были приобретены и отменная лисья шуба и драгоценные меха, сукна и бархат, аксельбанты и темляки, табакерка, усыпанная бриллиантами, и «походный домик», штабная кухня и походная конюшня, и людская палатка, и фуры, и кибитки, и верховая арабская лошадь с турецким седлом, и дорогие

конские уборы. Все дни на демидовском дворе каретники ремонтировали экипажи, кузнецы ковали коней, шорники украшали упряжь. В конюшни нагнали целый табун коней, купленных на окрестных ярмарках. В приемной Демидова с утра до ночи толклись и шумели бородатые купцы-гостинодворцы, вертлявые комиссионеры, черномазые цыгане-барышники и неизвестные ветхие старушки, предлагавшие свои секретные услуги. Николай Никитич всех гнал прочь, посылая к Данилову.

Озабоченный управляющий вставал с первыми петухами, обегáл конюшни, мастерские, проверял контору. То и дело слышался его зычный недовольный голос, ругающий работников, или раздавались плаксивые жалобы на дороговизну вещей...

В одно июльское утро, потный и разгоряченный, он вбежал в комнату Демидова. Лицо у него было самое несчастное, горемычное. Он размахивал руками и жадно ловил раскрытым ртом воздух.

— Батюшка дорогой, что вы с добром делаете? Каким шаромыжникам вы векселя надавали? — визгливым голосом заголосил он.— Глядите, как разошлись! За все путное и непутное истратили на дорогу сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей, как одну копеечку! К тому же расходы по дому да по конторе! К тому же за труды опекунству! А где же их взять?.. Ах ты, господи!..

Он тяжко вздохнул, стащил с потной головы парик и отер лысину пестрым платком.

— Батюшки! — продолжал он жаловаться.— Где же нам столько денег взять?

— А заводы на что? — изумленно спросил Демидов.

— Заводы, мой господин, железо и чугун льют, а не деньги! — сердито ответил Данилов.— Заводам самим капиталы до зарезу нужны! Не могу больше я отпускать на расходы! Все!..

— Да ты сдурел, кошачьи глаза! — вспыхнул Демидов.— Да я тебя самого на червонцы порежу. Достань да выложь!

— Убейте меня, батюшка! Все одно — сразу конец! — взмолился управляющий.

— Ну и выжига ты, Данилов! — сердито крикнул Демидов, поспешно обрядился в новенький мундир, схватил кивер, саблю и выбежал из покоев.

Легкой походкой, словно молодой резвый конек,

играя каждым мускулом, гвардеец сбежал с крыльца, забрался в карету и возбужденно крикнул:

— Пади!

Сидевший на ко́злах Филатка толкнул кучера в бок.

— Гляди, как ноне мы размахнулись. Все нам нипочем, море по колено! Заиграл Демидов!

Филатка с умилением оглянулся на Демидова и одобрительно покрутил головой.

— Вот коли́ наша взяла, Николай Никитич! Ну и заживем! Ух, и заживем!

Николай Никитич думал о другом. В приемной светлейшего он встретил очаровательную особу. Она была стройна, изящна, с большими темными глазами. Когда адъютант своей легкой походкой, вздрагивая бедрами, прошел мимо нее, она подняла длинные ресницы и обожгла его взглядом. Сердце Демидова сладко защемило.

«Кто же эта прелестница?» — взволнованно подумал он.

Адъютант прошел в покои светлейшего. Густая тишина стыла в обширных залах: светлейший отбыл во дворец. За громадными окнами потемнело, набежали тучки, и сразу померкло сияние яркого солнечного дня. Демидов прошелся по безмолвным апартаментам князя и вернулся в приемную. Звякнув шпорами, он молодцевато оповестил на всю приемную:

— Светлейший отбыл к ее императорскому величеству!

Он тщательно и веско выговаривал каждое слово, следя за смуглой пышной красавицей.

— Ах, боже мой! — всплеснула она руками.— Что же мне делать? К тому же, кажется, пошел дождь! — Продолговатые, осененные пушистыми ресницами выразительные глаза умоляюще смотрели на гвардейца. Верхняя пухлая губа капризно полуоткрылась, и ослепительно блеснули белые мелкие зубы.

Николай Никитич решительно подошел к незнакомке, щелкнул шпорами и учтиво поклонился:

— Сударыня, разрешите предложить вам мою карету!

— Галант! Ах, как я благодарна вам, господин адъютант! — восторженно отозвалась она и, не колеблясь, подала ему руку. Демидов вспыхнул от нежного женского прикосновения.

Она прильнула к нему, красноречиво взглянула

в глаза юнца. Ей, видимо, по серду пришелся краснощекий гвардеец с темным пушком на губе. Белые лосины плотно обтягивали его полные ноги, грудь он держал горделиво. Всем своим вызывающим видом моложенький адъютант весьма напоминал бойкого забияку-петушка. Счастливая юность, неизрасходованные силы переполняли его, он так легко и свободно чувствовал свое сильное и свежее тело, что его вовсе не обременял парадный мундир.

Незнакомка окинула его опытным взором и осталась довольна беглым осмотром.

«Потешный мальчуган!» — удовлетворенно подумала она.

Прелестница хорошо знала, кто этот юный адъютант, но детски наивным взглядом удивленно смотрела ему в глаза.

— С кем имею честь беседовать? — жеманясь, спросила она.

— Я Демидов. Слышали о таком? — с важностью своего возраста сказал он, усаживая ее в карету.

— О! Но вы совсем мальчик! — восторженно прошептала она, и ее рот округлился приятным колечком.

— Далеко не мальчик. Я владелец многих заводов на Урале!

— Вот как! Интересно! — голос ее прозвучал интимно-нежно. Она слегка пожала ему руку.

Волнуясь, путаясь в мыслях, он косноязычно пробормотал несколько комплиментов. Она засмеялась ласковым, приятным смехом; казалось, рядом прозвучали серебряные колокольчики.

— Вы совсем ребенок и не умеете интриговать дам! Но это очаровательно! — ободрила она гвардейца и, не смущаясь, склонила головку к нему на плечо.

У Демидова сперло дыхание. Как в тумане, он где-то далеко слышал насмешливый, вкрадчивый голос.

— Я не ребенок, а независимый человек! — обиделся гвардеец.

— Ух, какой сердитый! — наклоняясь к нему, прошептала она.

Демидов осмелел и, словно бросаясь в бездну, потянулся к ней. Она проворно ускользнула из его рук. Приложив тонкий пальчик к губам, она таинственно прошептала:

— О, поцелуй невозможен...

Косые сильные струи хлестали в окно кареты. На

улицах быстро темнело. Кони пронеслись по Невскому проспекту и свернули на Садовую.

— Теперь скоро! — тихо обронила она и откинула головку на спинку сиденья. Слегка прижмуренные глаза были неподвижно устремлены вперед.

— Я пойду с вами! — решительно предложил Демидов.— Я должен вам все рассказать!

— О, это не нужно! Страшно! — округляя темные глаза, прошептала прелестница.

Свет мелькнувшего за окном кареты фонаря на мгновение озарил ее лицо, маленькую руку в серой тонкой перчатке, державшую у рта надушенный платок.

Гвардеец быстро наклонился и заглянул в глубину женских влекущих глаз. Синие шальные огоньки сверкнули в них.

«Теперь или никогда!» — решил Демидов и, загораясь страстью, схватил ее в объятия, сжал до боли в груди и стал осыпать поцелуями лицо, шею, руки. Она безвольно откинулась на спинку кареты и укоризненно шептала:

— Только не здесь, мой мальчик! Только не здесь! Ваш слуга может увидеть, и тогда узнает свет!..

— Ах, что мне свет! — отчаянно отмахнулся адъютант.— Никто и ничего не узнает!

В последний раз кони цокнули подковами, кучер разом осадил пару, и карета остановилась. Незнакомка оттолкнула гвардейца, изумленно разглядывая его.

— Так вот вы какой! Сильный, смелый и решительный! Мальчик!..

И вдруг, наклонясь, быстро и неуловимо поцеловала Демидова в губы.

— Приезжай завтра! Буду одна! — прошептала она и, словно летучая мышь, бесшумно выпорхнула из кареты и скрылась в мокром осеннем мраке.

Адъютант взволнованно старался проникнуть взглядом во тьму. На улице было безлюдно, с хлюпанием выхлестывали струи из водосточных труб, дождь все усиливался.

На дне кареты что-то белело. Он наклонился и схватил оброненный платочек. Тонкий запах духов исходил от батиста. Демидов прижал к губам платочек, и опьяняющее очарование любви охватило все его существо.

«Ну да, я ее любовник! Как же иначе? Теперь я, как и все великосветские люди, имею очаровательную,

веселую любовницу! — самодовольно подумал юнец и усмехнулся.— Всего только в десяти шагах спит, как сурок, ее муж. Интересно посмотреть на его лицо в эту минуту! Каков рогоносец!»

— Куда ехать, барин? — окликнул кучер, вернув его к действительности.

— Живее домой! — приказал Демидов, сам не понимая, почему он заторопился в дедовский особняк.

2

Отослав кучера, Демидов тихой тенью скользнул в подъезд, сам открыл дверь и без света, в потемках, прошел в свою половину. Утомленный переживаниями, он устало опустился в глубокое кресло. В ушах все еще слышался ее мелодичный смех. Демидов зажег свечу и задумался. В комнатах огромного дома было тихо и безмолвно. Филатка ушел в город, а слуги спали. Где-то под полом заскреблись мыши, подчеркивая тишину. На свече заблестели горячие капельки растопленного воска. Демидов протянул руку к свече, глаза его вспыхнули мрачной решимостью.

«Да, да, ей нужен подарок! Надо показать, кто такие Демидовы!» — с бесшабашностью юности подумал он и отрезал кусок воска. Он долго мял его в руках. Податливый и теплый воск был послушен. «Вот, вот именно так»,— прошептал он, погасил свечу и впотьмах выбрался из комнаты.

Гвардеец безмолвно обошел старинные покои. Скрипнул раз-другой высохший паркет. Снова заскреблись мыши. Тайные тихие звуки внезапно возникали и быстро гасли. В темноте все казалось необычным и загадочным. Демидов бесшумно пробрался в комнату, в которой стоял знакомый чугунный шкаф. Он нащупал его в темноте и, огладив холодный металл, приложил мягкий воск к замочной скважине.

«Что я делаю? — испуганно спросил он вдруг свою совесть. Однако преступный соблазн победил нерешительность.— Я покажу тебе, какой я мальчик! Демидов хозяин всему здесь, и ты завтра убедишься в этом!» — пригрозил он мысленно Данилову.

С отпечатком замка́ в руке он вернулся в комнаты, переоделся и воровски выбрался на осеннюю улицу. Дождь продолжал хлестать, жалобно гудели ржавые

трубы, и в оголённых деревьях бесприютно шумел ветер. Демидов на все махнул рукой: под ливнем, в грязь он прошел Мойку, вышел на Вознесенский проспект и долго кружил, отыскивая Мещанскую улицу, на которой жили немецкие кустари...

Наконец он отыскал подвал с ржавой вывеской, сошел по ступенькам и стал стучать в дверь. Стучал долго, настойчиво, а дождь все лил и лил ему на плечи.

— Откройте! Откройте! — упорно взывал гвардеец..

В оконце мелькнул робкий огонек, и встревоженный голос за дверью испуганно спросил:

— Кто здесь? Что нужно?

— Открой! — властно предложил Демидов.— Не пугайся, к тебе стучит благородный человек.

— Добрый человек не ходит в такую ночь,— ломаным русским языком ответили из-за двери. Однако вслед за тем звякнули засовы, дверь полуоткрылась и в щель высунулось худенькое морщинистое лицо старичка немца в ночном колпаке. Завидя гвардейского офицера, стоявшего под ливнем, немец торопливо отступил.

— Что вам нужно, господин, в такую ночь? — обеспокоенно спросил он.

— Меня пригнало срочное дело! — отозвался Демидов, уверенно вошел в мастерскую и закрыл за собою дверь. С брезгливостью оглядел он темное убогое помещение с низкими сводами. У стола стояла испуганная бледная женщина. В углу за пологом копошились разбуженные стуком ребята. Демидов без приглашения присел к столу.

— Чем могу служить господину офицеру? — с тревогой спросил немец.

Демидов встал, подошел к двери, проверил, закрыта ли она, и, убедившись в этом, положил перед мастером застывший воск.

— Мне нужно срочно сделать ключ. У меня утерян от денежного ящика,— сказал он.

Немец испуганно переглянулся с женщиной. Она отвела глаза в сторону, нахмурилась. Мастер долго молчал.

— Что же ты молчишь? — нетерпеливо спросил Демидов.— Я тороплюсь, мне нужны деньги!

— Может быть, господин офицер, вы слишком торопитесь? — тихо обронил немец.— Может быть, этот

ключ не от вашего ящика?.. В карты можно проиграть и казенное...

— Не мели пустого! — вспылил гвардеец.— Разве ты не видишь, с кем имеешь дело?

— Господин офицер, сейчас дождь, а вы так торопитесь! — не сдавался немец.

— Говори дело и принимайся за работу! — хмуро предложил Демидов.

Немец взглянул на его злое, решительное лицо, пожал плечами и, взяв восковый отпечаток, засеменил к верстаку...

Адъютант не сводил настороженных глаз с неторопливых, но уверенных движений мастера. Тянулись минуты. Демидову казалось, что старик нарочно медлит, чего-то выжидает. Пламя в лампешке то меркло, то вспыхивало трепетным синим язычком. У гвардейца слипались глаза от усталости, и он уже задремал, когда тщедушный сухонький немец легонько толкнул его в плечо.

— Господин, работа исполнена! — Мастер робко протянул Демидову ключ и со слезами на глазах взмолился: — Бог мой, я честный немец. Господин, берите этот ключ и уходите скорее. Я не знаю, для чего он вам. Дай бог, чтобы не для худого дела. Пусть будет так: ни вы, ни я не видели друг друга!..

— Хорошо! — согласился Демидов.— Это и меня и вас устроит. Получай за труды! — Он полез в карман и небрежно выбросил оттуда золотой.— Прощай!

Он сам открыл дверь из подвала и вышел на улицу. Ветер разогнал тучи; дождь перестал лить. В просветах блестели холодные одинокие звезды...

Когда адъютант вернулся домой, в покоях по-прежнему царила полуночная тишина. Николай Никитич разулся и, крадучись по коридорам, добрался до заветного чугунного шкафа. Под его сильной рукой мигом отлетела сургучная печать. Он оборвал шнурок и ключом открыл шкаф. Вот она, заветная шкатулка с фамильными драгоценностями матери!

3

«Кто же в конце концов она?» — думал о прелестнице Демидов. Он просмотрел записи в приемной, но они ничего не сказали. Дежурный адъютант Энгель-

гардт, высокий, представительный офицер, понял беспокойство сослуживца. Он взял его под руку и увлек в угол, к дивану.

— Я догадываюсь, Демидов: вас интересует эта особа? — интимным тоном повел он разговор.— Эта прелестная дама выдает себя за польскую графиню. Мне думается, что это ложь!

— Кто же тогда она? — огорченно воскликнул Демидов.

— Тшш... Не волнуйтесь! — улыбнулся Энгельгардт.— Будьте терпеливы. Я кое-что узнал из верных источников. Сия прекрасная фанариотка[1] — гречанка, она пятнадцати лет была рабыней у турецкого султана Абдул-Гамида. Как рабыню и купил ее посланник Боскан. Но случилось так, что Боскана внезапно отозвали в Варшаву. Он поехал туда и узнал, что его больше не отпустят в Константинополь. Тогда он послал в Турцию своего конюшего и поручил привезти известную вам особу с вещами и прислугой в Варшаву. Однако красавица была столь строптива и капризна, что в Яссах взбунтовалась и отказалась ехать дальше. Тогда Боскан приказал оставить ее в сем городе.

— Что же дальше? — взволнованно спросил Демидов.

— Чувствую, вы неравнодушны к ней,— спокойно заметил Энгельгардт.— Однако умейте выслушать меня до конца. Наголодавшись в Яссах и не найдя предмета, достойного внимания, она сбежала на свой риск в Каменец. Там ее увидел комендант крепости, полковник де Витт, сразу пленился ею и сделал супругой...

— Это он и пребывает с ней в Санкт-Петербурге! — с горечью вымолвил Демидов.

— Э, нет! При ней неизвестное лицо, которое именует себя польским графом и мужем сей особы!

— Так ли это? — недоверчиво спросил Демидов.

— Бабушка на́двое сказала. Известно только, что она и от полковника сбежала, появилась в Варшаве, вскружила многим головы и очаровала принцессу Нассаускую. Сия принцесса повезла ее в Париж, где красота прекрасной фанариотки пленила многих... И вот она теперь здесь!

---

[1] В восемнадцатом веке при французском и австрийском дворах фанариотами называли греков, занимавших среди турецкой администрации высокие посты, независимо от своего происхождения.

— Что же она тут ищет? — дрогнувшим голосом спросил Николай Никитич.— Она видела светлейшего? Понравилась ему?

— Нет, она еще не видела князя, не попалась ему на глаза. Я не допустил ее. Боюсь...

— Неужели так страшно? — наивно спросил Демидов.

Энгельгардт презрительно сжал губы, промолчал.

— Эта особа прибыла из Франции. А граф, видимо, вовсе не граф. На какие средства они живут? Что им в Санкт-Петербурге нужно? Положение главнокомандующего обязывает нас, Демидов... Вы поняли меня? — пытливо взглянул он на адъютанта.

— Догадываюсь! — упавшим голосом отозвался Николай Никитич.

В приемной на камине тикали часы. Демидов взглянул на стрелки и с потухшим видом поднялся. Смущенный, он уехал домой и весь день с тревогой бродил по комнатам. А когда над Петербургом опустилась ночь, Николай Никитич велел заложить карету и отправился на Садовую, к знакомому дому.

Сухая старуха, со строгим лицом, в белом чепце, открыла дверь и провела Демидова в уютную гостиную, стены которой были крыты розовым штофом. Взволнованный офицер вынул из-под плаща ларец и осторожно поставил на стол. Долго, очень долго он сидел в одиночестве. В глубокой тишине отчетливо стучало сердце. И вот наконец после томительного безмолвия за стеной послышался шорох, дверь бесшумно открылась, и в облаке белоснежных кружев появилась прекрасная фанариотка...

Взгляд прелестницы упал на черный ларец, и глаза ее мгновенно зажглись шаловливым огоньком. Адъютант перехватил ее взгляд и, весь красный, дрожащий от волнения, раскрыл ларец и вынул алмазное ожерелье. В ярком живительном потоке света брызнули синеватые искры, и драгоценные камни заиграли переливами радуги.

— Какая прелесть! — Очарованными глазами гречанка впилась в сверкающее ожерелье.

Демидов молча подошел к ней и бережно надел драгоценности на ее смуглую шею. На теплой коже самоцветы вспыхнули жарким огнем. Гречанка подбежала к зеркалу и, околдованная переливами красок, долго любовалась сказочными камнями. Охваченная

восторгом, сияющая, она, как ребенок, радостно захлопала в ладоши:

— Смотри, смотри, как сияют!

Демидов подошел к ней, желая обнять, но прелестница протянула руку, и он покорно поцеловал ее. Жеманясь, она пригрозила ему:

— Больше ни-ни!

— Разве это вся награда? — разочарованно спросил он.

— Не сердись, мой мальчик! — ласково посмотрела она.— Нельзя!

Гвардеец вспыхнул и решительно двинулся к ней...

В этот миг распахнулась дверь, и на пороге появился низенький лысый человечек в бархатном камзоле. Он почтительно поклонился Николаю Никитичу.

— Ах! — с фальшивым испугом вскрикнула прелестница.— Мой муж. Знакомьтесь!

Демидов холодно раскланялся и, недовольный, молча уселся в уголок. Она подошла к мужу.

— Займитесь гостем, граф! — прощебетала она и упорхнула из комнаты.

«Граф» уселся в кресло. Рассеянным взглядом он бродил по комнате, не нарушая молчания. Так, безмолвные и отчужденные, они просидели несколько минут и разошлись.

Чувствуя себя обманутым, Демидов, сбегая с лестницы, оскорбленно думал:

«Нагло надули! Опростоволосился! Так тебе и надо!»

Ему хотелось броситься обратно, схватить «графа» за воротник и тряхнуть. Но кто знает, кто там еще стоит за дверями? Боясь скандала, бичуя себя, он сошел к подъезду, уселся в карету и, разочарованный, поехал в Семеновский полк.

4

Предстояла разлука с Петербургом и друзьями. С прощальной попойки у Свистунова Николай Никитич вернулся на рассвете в дедовский особняк. В голове шумело, глаза застилала хмельная одурь.

Утро было прохладное, окрашенное в сиреневые цвета. Догорали последние звезды. Столица досыпала

сладкий сон. На востоке в небе вспыхнули первые отблески поздней зари. Наступал тихий день.

Демидов выбрался из кареты и, пошатываясь, стал подниматься на крыльцо. Заспанный слуга, старик с лиловым носом и седой щетиной на щеках, в помятой ливрее, распахнул дверь и обеспокоенно взглянул на хмельного хозяина.

В доме шла суета. Николай Никитич пытливо посмотрел на слугу:

— Что случилось?

В живых, умных глазах старика выразилось недовольство.

— Беда, барин! В дом забрался лиходей! — угрюмо пробурчал он и опустил голову.

— Что за лиходей? — пошатываясь, спросил Демидов. Он толкнул слугу и торопливо поднялся в покои. В дальней комнате раздавались громкие голоса и ругань. Гвардеец подошел к знакомой горнице, в которой стоял чугунный шкаф, и распахнул дверь. На скамье, со связанными на спине руками, сидел Филатка, а с боков его стояли два полицейских будочника. За столом расположился усатый пристав и усердно писал. Растрепанный, без парика, лысый Данилов, завидя Демидова, обрадовался:

— Вот и сам барин!

— Батюшка! — слезно взвизгнул Филатка и повалился хозяину в ноги.— Батюшка, спаси и огради меня от сей нечисти! — вопил он; у него из носа обильно сочилась сукровица.

— Ну-ну, ты, гляди! Двину! — угрожающе сжал кулаки Данилов.— Сумел грабить, изволь по совести и ответ держать!

— Грабителя нашли во мне, окаянные! Батюшка, Николай Никитич, скажи им, балбесам, что невиновен я. Век у Демидовых жил, и ни одной пушинки не пристало! — не унимался Филатка—

— Молчи, ворюга! — выкрикнул управитель конторы и показал на чугунный шкаф.— Оглядел и вижу — печатка долой. И ни шкатулки, ни самоцветов!

— Дело ясное, господин! — откашливаясь, встал из-за стола полицейский пристав и, не сводя глаз с Демидова, отрапортовал: — Доказуемо! Сей плут найден хмельным в комнате. Несомненно, он в шкафу хозяйничал. Драгоценности, господин, растаяли, яко дым! Кто в сем виновен? Ясно, сей пьянчуга и хват!

— Слышали? — со слезами выкрикнул дьячок.— Ни ухом, ни слухом не ведаю. Одна беда, хмельным забрел в горницу и проспал тут. А кто и что, не ведаю. Батюшка, прикажи освободить. Избавь от позора!

Демидову стало жалко истерзанного дядьку. Худенькое острое лицо Филатки с косыми глазками просяще уставилось на хозяина. Однако Николай Никитич строго и надменно сказал:

— Не понимаю, кто же тогда вор?

Всегда веселый и легкомысленный хозяин показался дьячку вдруг грубым и злым.

— Уж не ты ли, Данилов, похитил шкатулку? Да, кстати, ведь и ключи у тебя хранятся! — с легкой насмешкой продолжал Демидов.

Глаза Данилова испуганно забегали, он торопливо перекрестился.

— Что вы, господин! Убей меня бог! Да разве ж я смею царскую печать ломать? Да разве ж я хоть на крошку хозяйского добра позарился?

Пристав грубо-наставническим тоном перебил:

— Господа, не будем спорить! Вопрос ясен. Вот вор, берите его! — приказал он будочникам.

— Кормилец, батюшка, не дай на поругание и погибель! — снова заголосил Филатка.

Демидов с холодно-брезгливым лицом оттолкнул дядьку.

— Поди прочь! Не пристало мне, столбовому дворянину, покрывать татей!

Он повернулся и пошел прочь. Филатка внезапно выпрямился, дернулся, веревки впились в тело. Глаза его налились жгучей ненавистью.

— Худая душа! Кровососы! Сами грабят, а других чернят. Стой, стой! — прокричал он вслед Николаю Никитичу, отбиваясь от побоев будочников.— Все равно не смолчу я. Невиновен, истин бог, невиновен! Братцы, за что же бьете! Братцы!..

Он упал и забился в припадке.

Демидов угрюмо прошел в свои комнаты, свалился в кресло и, протягивая ноги, выкрикнул камердинеру:

— Разоблачай! Сон валит!

Он сладко зевнул, потянулся. В душе его не проснулось ни чувства сожаления, ни справедливости. В очищение своей совести он хмуро про себя рассудил:

«Неужели мне самому срамиться из-за ларца? Дьяч-

ку и каторга впору, а столбовому дворянину — не с руки! Да и кто поверит холопу?..»

— Эй ты, окаянный, не сопи! — прикрикнул он на камердинера.— Живей раздевай!

Из-за деревьев, раскачивавшихся за окном, брызнул скупой солнечный луч. Слуга, старательно и осторожно раздевая барина, подумал:

«Все люди как люди! А наш трутень ночь кобелем бегает, а днем при солнышке дрыхнет...»

В последний день пребывания в Санкт-Петербурге Демидов снова неожиданно встретил прелестницу. Она сходила по широкой лестнице вниз. Поймав его обиженный взгляд, она на мгновение задержалась и прошептала:

— Ради всего святого, не сердитесь! Мы не можем встречаться... Князь и муж... Могут быть неприятности... Пожалейте меня и себя... Ах, какая сегодня чудесная погода!

С невозмутимым видом она улыбнулась и унеслась, как пушистое, легкое облачко.

«Авантюристка!» — зло подумал Демидов, но все же ему стало жаль расставаться с нею.

В приемной его встретил Энгельгардт. Он сидел, опустив голову на ладони, задумчивый и печальный.

— О чем закручинились? — окликнул его Николай Никитич.

— Ах, Демидов! — беда! Сия авантюристка добралась-таки до светлейшего, и теперь он без ума от прелестницы. Поостерегись, милый!

— А я и не думал вступать с нею в связь! — стараясь сохранить спокойствие, сказал адъютант.

— Ну вот и чудесно! Теперь я спокоен за вас. Я так и знал, что вы благоразумный офицер! — Он с горячностью схватил руку Демидова и крепко пожал ее.

5

Демидовский обоз приготовили к отправке. На обширном дворе громоздились фуры, экипажи, ржали кони — шла обычная суета перед дальней дорогой. Управитель Данилов обошел и самолично пересмотрел все: ощупал бабки коней, проверил подковы, узлы, ящики. Все было в порядке. Подле него ходил новый

дядька, приставленный к молодому потемкинскому адъютанту. Рядом с Даниловым дядька Орелка казался богатырем с широкой грудью, с большими цепкими руками. С виду холоп походил на безгрешную душу: тихий, молчаливый, с невинным простодушным взглядом. Но кто он был на самом деле, трудно сказать. Орелка вел трезвую жизнь и старательно избегал женщин. Это и понравилось Данилову. Испытывая нового дядьку, управитель с лукавым умыслом укорил его:

— Гляжу на тебя, мужик ты приметный. Бабы, как мухи на мед, липнут. Отчего гонишь их прочь?

— Баба — бес! Во всяком подлом деле непременно ищи бабу! — потемнев, отрезал Орелка.

— Это ты верно! — согласился Данилов.— Но ты, мил друг, помни, что в человеке дьявол силен. Ой, как силен! — Прищурив глаза, Данилов с удовлетворением оглядел могучую, сильную фигуру Орелки.

— Так что же, что силен дьявол! Умей свою кровь угомонить! Ты, Павел Данилович, про женский род мне не говори! Знаю.

В жизни Орелки многое казалось темным управителю санкт-петербургской демидовской конторы. Признался Орелка в том, что он беглый, а откуда и почему сбежал — один бог знает. Догадывался Данилов, что не от добра сбег барский холоп к Демидовым и что непременно в этом деле замешана женщина. То, что Орелка сторонится женщин, понравилось управителю.

«Стойкий перед соблазном человек, убережет и хозяина своего от блуда!» — рассудил Данилов и посоветовал дядьке:

— Смотри, береги демидовского наследника, тщись о его здоровье, а баб от него гони в три шеи! Гони, родимый!

Скупой и прижимистый Данилов не пожалел хозяйского добра: он обрядил Орелку в новый кафтан, выдал крепкие сапоги и наградил чистым бельем.

— В баню почаще ходи! Чист и опрятен за барином доглядывай. Помни, что он есть адъютант самого светлейшего!

— Не извольте беспокоиться, Павел Данилович! — пообещал слуга.

Он и в самом деле оказался чистоплотным и рачительным слугой. Орелка пересмотрел гардероб хо-

зяина, вытряс, вычистил одежду и бережно уложил в сундуки.

Демидову он понравился своею статностью и силой.

— Песни поешь? — с улыбкой спросил его адъютант.

— Пою! Только про горе больше пою! — признался Орелка.

— Почему про горе? — полюбопытствовал хозяин.

— Известно почему,— нехотя отозвался дядька.— Земля наша большая, всего, кажется, человеку вдоволь, а между людей — разливанное горе! Отчего так, господин?

— Не твое дело о сем рассуждать. Будешь так думать — спятишь с ума! — недовольно сказал Демидов.

Орелка ничего не ответил, смолчал. Стоял он, покорно склонив голову, а глаза его были спокойны. Угодливость холопа понравилась Демидову. Понравилось и то, что дядька как-то незаметно вошел в его жизнь. Казалось, он век служил Демидовым. Все у него ладилось и спорилось, и приятно было смотреть, как Орелка без суеты, молчаливо готовил хозяина в дорогу.

Быстро подошел день отъезда. На заре запрягли коней в большие фуры и ждали отправки. Ночью выпал первый чистый снежок, и на деревьях блестело тонкое нежное кружево инея. Голубые искорки сыпались с прихваченных морозом веток. Луна неторопливо катилась над сонным городом, бледный ее круг светился золотым сиянием.

В этот тихий утренний час в распахнутые ворота вошла молодая монашка. Хлопотавший у подвод Данилов сразу узнал ее. Со злым, хмурым видом он подошел к черничке.

— Ты зачем здесь? Кто звал тебя? Орелка, гони отсель черную галку! — закричал он холопу.

Из-за возов степенно вышел Орелка. Он приблизился к монашке, встретился с нею глазами и растерялся.

— Кто ты? — смущенно спросил он.

— Аленушка! — спокойно ответила девушка.— Не гони меня!

— Ты, девка, лучше уходи отсюда! — насупив брови, глухо сказал Орелка, а у самого на сердце

разлилось тепло. «Глаза-то какие синие! Ох, господи, грех-то!» — ласково подумал он, переминаясь перед ней и не зная, что же делать.

— Гони ее, гони! — не унимался Данилов.— Эй ты, пошла, пошла со двора! — толкнул он девушку в спину.

Аленушка спокойно взглянула на управителя, глаза ее потемнели.

— Не трожь! Не к тебе пришла и не с тобою разговор буду вести!

Монашка неторопливо прошла в глубь двора и уселась на бревнышке.

— Не для того явилась, чтобы уходить! — решительно сказала она, а глаза ее затуманились слезой.— Бессердечные, куда гоните!

Орелка смущенно опустил голову. Данилов сердито запыхтел и сказал с укором холопу:

— Ну чего болваном перед бабой стоишь! Гони прочь! Сам только что сказывал, баба — нечистая сила! Блудницы!

Но Орелка, однако, не двинулся с места. Что-то привлекательное, чистое было в этой девушке. Холоп по-своему угадал причину появления Аленушки. «Господин обманул! Вот грех!» — подумал он, и ему сердечно стало жаль девушку. Боясь выдать свои чувства, он сурово сказал монашке:

— Без спросу, милая, нельзя ломиться в чужой двор. Уж, право, не знаю, что и делать с тобой.

Широко раскрытыми синими глазами Аленушка смотрела на Орелку:

— Видать, не было у тебя в жизни горя! Так и знай: не сойду, пока не увижу Николая Никитича!

— Батюшки! — огорченно вскрикнул Данилов.— Что ты делаешь со мною, монашеская душа! Только-только откупился от пристава за монастырский шум, а тут изволь, черная галка опять шасть в хоромы! Блудница! — поднял кулаки управитель.

Орелка закрыл собою девушку:

— Зря обижаешь духовное лицо, Павел Данилович! Она и сама подобру уйдет!

Аленушка хотела что-то сказать, но вдруг всплеснула руками и рванулась вперед.

— Николенька! — обрадованно закричала она.

В распахнутые ворота на белом арабском скакуне тихим аллюром въехал Демидов. Аленушка подбежала к нему и крепко уцепилась за стремя.

— Николенька, ой, Николенька! — тихо и жарко прошептала она, и мелкие слезинки брызнули из ее глаз.

Адъютант смущенно слез с коня. Статный, в гвардейском мундире и в сверкающем кивере, он бережно взял ее за руку.

— Уйдем отсюда, Аленушка. Тут народу много, неудобно! — краснея под взглядом Данилова, обронил он.

Просиявшая, затихшая, она послушно пошла за ним. Демидов обернулся к Данилову и сказал властно:

— Оставь нас!

Управитель недовольно пожал плечами.

— Помилуй, Николай Никитич! — взмолился он.— Сия чернорясница не к добру пришла. Известно, что у вас душа добрая, но только скажу вам, господин, что и рублики у нас не бросовые!

— Пошел прочь! — багровея, оборвал его адъютант и провел Аленушку в хоромы. Массивная дубовая дверь захлопнулась перед самым носом Данилова.

Николай Никитич усадил Аленушку в кресло и, удивленно разглядывая девушку, спросил:

— Как ты узнала, где я живу?

— Узнала! — загадочно сказала она и, вспыхнув, со всей страстью, запросила:

— Николенька, возьми меня с собой! Не жить мне без тебя, не жить! Все ночи думала, очи выплакала! — Синие глаза ее просяще смотрели на Демидова.

— А монастырь? А матушка? — взволнованно спросил он.

— Люб ты мне! Ой, как люб! — жарко сказала Аленушка и прислонилась к его плечу.— Ушел ты, и словно солнышко закатилось. Что мне монастырь? Не жить мне без тебя... Истерзалась!

— Но почему ты тогда гнала меня прочь? — допытывался он.

Лицо Аленушки зарделось, она стыдливо опустила голову.

— Да разве ж можно так? Испугалась баловства...

— А теперь пойдешь за мной? Не будешь жалеть? Не будешь раскаиваться?

— Теперь все равно! Хоть день, да с тобой, родненький ты мой! — Она теснее прижалась к его плечу. Демидов взглянул на зардевшиеся щеки монашки; стало тепло и хорошо на сердце. Он долго-

долго смотрел на хорошенькое личико, гладил ее русые волосы и шептал ласковые слова, а она все ниже и ниже клонила голову, прислушиваясь к нежным словам...

Через час Николай Никитич вышел из покоев и позвал Данилова. Когда управитель явился, он приказал строго:

— Знаю, что скажешь! Не спорь! Решено нами: Аленушка едет с обозом. Переодень ее, а монашеское платье сожги, да не пытай ее своими расспросами. Посади ее в лучшую фуру, и пусть Орелка бережет...

Данилов порывался что-то сказать Демидову, но тот не дал ему и слова вымолвить.

— Помолчи, так лучше будет! — пригрозил он.

Оставив раздраженного управителя, Николай Никитич снова ушел.

— Это ты все, сатана! — прикрикнул Данилов на Орелку.— Говорил, что баба — бес! А теперь на-ка, вступился! Как это понимать? Вот и береги свою птаху!

Орелка не осердился на брань управителя. Он спокойно выслушал его и смущенно попросил:

— Прости ты меня, Павел Данилович, руки не поднялись на синеокую. Видать, душевная девка! Может, и не на радость пришла сюда, да что ж поделаешь, Павел Данилович, против хозяйской воли не пойдешь!

Орелка и сам поразился своим речам; откуда явилась эта приблудная монашка, и что за сила в ее глазах! Взглянула на Орелку, и он смирился!

«Эх, девка, девка, на огонек потянулась! Гляди, сгибнешь. А жалко!» — подумал он об Аленушке.

6

Потемкин выехал из Санкт-Петербурга 5 мая 1789 года. Толпы народу сбежались посмотреть на пышные проводы светлейшего. Ехал он в золоченой карете, сопровождаемый блестящей свитой. Впереди бежали скороходы, одетые в алые кафтаны с золотыми позументами. Размахивая булавами, они на ходу зычно кричали толпам зевак:

— Пади! Пади! Сторонись!

На запятках княжеской кареты громоздились два громадных арапа в лиловых плащах. Они сверкали

изумительно белыми зубами, сохраняя при этом совершенно невозмутимое выражение лица. За каретой скакали уланы, драгуны, казаки. Сбоку экипажа на вороном коне следовал адъютант Демидов в походной лейб-гвардейской форме. Николай Никитич восхищенно поглядывал в окно кареты, ловя каждое движение светлейшего. Потемкин держался величественно: полное лицо его дышало покоем. Демидову было приятно показать себя толпе. В белых лосинах, затянутый в мундир, румяный и свежий, он выглядел красавцем. Сам понимая это, он горячил своего коня, чтобы покрасоваться. Игривый конь гарцевал под ним,躬 кося на толпу влажные фиолетовые глаза. Он бережно нес всадника, играл каждым мускулом и, высоко задрав длинную тонкую голову, время от времени оглашал дали звонким ржанием...

Вот и застава! Толпы поредели и наконец совсем отстали от поезда. Перед Демидовым распахнулась поросшая вереском равнина. Скороходы теперь тащились за каретой. Потемкин опустил голову и ехал задумчивый. Кто знает, о чем он думал?

Демидов с завистью смотрел на выхоленное лицо князя, на его умение держаться величественно и надменно. «Он ведет себя как триумфатор!» — восторгался светлейшим его адъютант.

И в самом деле, не успел Потемкин отъехать десяти верст, следом за ним погнались курьеры. Они везли князю то записочки государыни, то подарки, то благословение на подвиги. Под станцией Бологое княжеский поезд нагнал императорский курьер и испросил у Потемкина личный прием. Светлейший приказал остановить карету и вышел на шоссе. Курьер почтительно вручил князю шкатулку, присланную императрицей. На виду всей свиты Потемкин благоговейно поцеловал шкатулку и раскрыл ее. В ней лежали медали с его портретом и письмо. Светлейший вынул письмо из шкатулки, горячо облобызал его и прочел про себя. Затем князь неторопливо вернулся в карету, и поезд тронулся дальше.

На всем пути Потемкин сохранял величие и спокойствие. Демидов скакал рядом, его сменял Энгельгардт. Весь день так и не удалось Николаю Никитичу вырваться к обозу, в котором ехала Аленушка. Да ему и не очень хотелось: на душе кипела буря. Блеск и величие, окружавшие поезд светлейшего, заставляли

Демидова пожалеть о совершенном. Ему очень нравилась Аленушка, ее нетронутость и покорность, приятный ласковый голос с мягким тембром и непорочные синие глаза. Но то, что так сильно захватывало сердце час назад, теперь охлаждало своей простотой. В почтительном расстоянии от поезда светлейшего медленно катилась вереница блестящих экипажей, в которых князя сопровождали столичные друзья, знакомые и таинственные искатели приключений. Среди этого шумного, беспокойного общества кавалеров и дам ехала и очаровательная гречанка де Витт.

Еле успевал Демидов смениться, как его уже тянуло к экипажу коварной прелестницы. Она ехала в зеркальной карете, принадлежавшей Потемкину. Рядом с красавицей восседал желтый и мрачный муж. Он злобно взглядывал на подъезжавшего адъютанта, когда тот появлялся у кареты, но все же снисходительно перекидывался с Демидовым ничего не значащими фразами, а дама держалась очень заносчиво.

На одном из привалов, воспользовавшись общей суетой, она, сверкнув глазами, шепнула Демидову:

— Прошу, не преследуйте меня. Слышите?

— Но мы еще не сквитались! — озорно сказал адъютант и нагло посмотрел в ее темные глаза.

— На большее не рассчитывайте! — резко сказала она и отошла к экипажу, где ее поджидал хмурый муж.

С этого времени Демидов вздыхал, терзался, он избегал встречаться с гречанкой...

Далеко позади остались дремучие брянские леса, русские избы, приветливые волнистые холмы. Впереди раскинулась степь, могучая, необъятная и однообразная. Деревни прятались в балках. Белые мазанки укрывались в садочках. Глубокая тишина охватила степь: ничто не нарушало ее однообразия и безмолвия. Изредка навстречу попадались огромные овечьи отары. Древние пастухи в вывернутых мехом наружу шубах, с длинными посохами стерегли стада. Они подолгу недвижимо стояли среди живого руна, пристально всматриваясь в даль, где небо сходилось с землей. Поджарые злые псы, завидев поезд Потемкина, с хриплым лаем бросались вслед, но казаки разгоняли их плетьми.

С наступлением сумерек на степь надвигалась синеватая мгла, и все быстро уходило в ночь. Лишь

изредка в стороне, в отдалении, вспыхивал костер странника.

На ночлегах обычно ждали в степи разбитые палатки, и потемкинский поезд шумно устраивался на отдых. Усталый и обозленный, Демидов уезжал в табор, забирался в палатку, устроенную Орелкой, и валился на походную кровать.

Напрасно Аленушка просяще смотрела на него. Могучий сон обуревал адъютанта, слипались глаза, и как ни боролся Николай Никитич с дремотой, Орелка еле успевал разоблачить гвардейца, и тот сразу засыпал. Аленушка не уходила из палатки. Усевшись в изголовье, она долго любовалась своим возлюбленным, осторожно приглаживала его темные волнистые волосы. В глубокой ночной тишине, как еле уловимый ветерок, шелестел шепот девушки:

— Николенька... Николенька...

Она на все лады повторяла это приятное для нее имя. Все свои душевные переживания и настроения она вкладывала в это волшебное для нее слово, произнося его с различными оттенками в ночном безмолвии. В нем звучали и любовь, и радость, и восхищение, и горечь, и тихая печаль. Далеко за полночь, затаив дыхание, она все сидела и ждала ласки. Вот он проснется, протянет руку и привлечет к себе...

Но ласки возлюбленного оскудели. Аленушке становилось страшно за будущее. Что будет, если Николенька разлюбит? Она гнала прочь тревожные мысли, старалась не думать о плохом...

Утром звучали рожки. Небо яснело, уходила ночная мгла. Первые лучи солнца распахивали перед взором широкий простор. Вдали на солнце блестели золотые кресты сельской церквушки. С просветленным лицом Аленушка радостно приветствовала пробуждение мира. Она склонялась над возлюбленным и будила его:

— Николенька, проснись!

Наступали блаженные минутки его пробуждения. Здоровый, сильный, он протягивал руки и привлекал ее к себе. Она ждала этого мгновения и не сопротивлялась его бурной ласке.

Орелка проворно обряжал господина, и освеженный адъютант, улыбнувшись Аленушке, спешил к шатру светлейшего.

Снова весь день она одна ехала в кибитке, от без-

делья разглядывая встречных. Тянулись обозы. Ленивые волы, еле передвигая ноги, медленно влачили пыльные арбы, бежали крестьянские лошаденки по темной степной дороге, в стороне важно расхаживали стаи ворон. Раз ей навстречу попался худой носатый монах. Был он весь пыльный, на груди бряцала железная кружка. Он внезапно возник перед кибиткой. Черные глаза монаха насквозь прожгли Аленушку.

— Подайте на построение божьего храма! — сиплым голосом попросил он.

Она стала рыться в узлах и вспомнила, что у нее нет ни копеечки. С тех пор как девушка пришла к Демидову, она боялась взять в руки деньги, чтоб не осквернить свое безмятежное счастье. У нее много лет хранился перстенек, подобранный на дороге в ее блужданиях по храмам. Чей он был — кто знает? Однако она берегла его...

Монах все еще не опускал протянутой загорелой руки. Аленушка испугалась его черных пронизывающих глаз, силилась отвернуться — и не смогла. Чтобы избавиться от него, она сняла с пальца золотой перстенек и опустила в кружку.

Монах истово перекрестился. Страшная улыбка прошла по его коричневому лицу.

— С барином едешь? Прости, господи, блудницу! — Он тряхнул кружкой и медленно пошел прочь. Испуганная Аленушка замерла и долго смотрела ему вслед, пока он не исчез в сиреневой мари. Весь день она находилась под впечатлением встречи со странным монахом с пронзительными глазами...

Вечером на привале к палатке на белом коне прискакала нарядная дама. Она осадила скакуна перед Аленушкой и, снисходительно улыбаясь ей, крикнула:

— Холопка, Демидова сюда!

Напудренная, в ярком шелковом платье, украшенном лентами, она казалась пестрой птицей, залетевшей издалека. У Аленушки замерло сердце. Она потемнела от обиды и ревности. С ненавистью посмотрела на щеголиху.

— Его нет! — коротко отрезала она и уперлась в бока, готовая сцепиться с приезжей.

— Где же он? — настойчиво допытывалась всадница.

— Не знаю! — Аленушка недовольно повела пле-

чом и подошла ближе к сопернице: ох, как хотелось вцепиться в ее надушенный парик!

Конь гарцевал под незнакомкой, но она ловко протянула руку и ухватила Аленушку за подбородок. Глядя в ясные глаза девушки, щеголиха насмешливо сказала:

— Не злись, милая простушка! Мне твой Демидов вовсе не нужен!

— Что же тогда вам тут понадобилось? — строго спросила Аленушка.

— Полюбопытствовала, с кем блистательный адъютант изволит сейчас водиться! — засмеялась она, стегнула скакуна хлыстом и умчалась к шатру светлейшего.

— Паскуда! — сплюнула ей вслед Аленушка.— Это вам баловство — любовь, вы...

Ей стало горько, слезы подкатились к горлу. Как она смела светлое, глубокое чувство к Николеньке назвать таким словом!

— Будь ты проклята! — заплакала Аленушка и, ссутулившись от большого горя, скрылась в палатке...

Чем дальше на юг, тем прозрачнее и синее становилось небо. Вот и запорожские хутора миновали, и на дорогах теперь белеют долгополые свитки и широкие войлочные капелюхи молдаван. На бойких местах — еврейские корчмы и лавчонки. Нередко дымят костры, а подле них шумный и грязный цыганский табор. Все оживленнее становился шлях: то навстречу пронесутся казацкие разъезды, то обгонят в походном марше идущую роту пехотинцев или надоедливо проскрипят арбы, запряженные верблюдами.

Последний привал, и в полдень показались Бендеры. Внизу блеснули воды Днестра. Демидов поразился виду городка. Он ожидал встретить тихие, безлюдные улицы, поросшие травой, и чем больше вглядывался в окружающее, тем все больше удивлялся. Под городом поезд светлейшего встретила делегация. Тут было самое разнообразное, пестрое общество. Заиграла музыка, и при появлении у заставы кареты Потемкина грянули пушки.

Маленький захолустный городок вдруг предстал перед очами Демидова неким подобием столицы. По широкой немощеной улице катились золоченые кареты, скакали в блестящих мундирах гвардейцы, то и дело слышались пронзительные выкрики форейторов: «Пади!»

Напудренные щеголи, петиметры в цветастых одеждах и в пышных париках сновали мимо окон, из которых выглядывали томные красавицы под стать столичным. И что было всего поразительнее — на улицах разгуливало много иноземцев: французов, греков, итальянцев, молдаванских бояр в живописных нарядах.

Большой двухэтажный дом, роскошно обставленный, являлся ставкой Потемкина. Уже по одному кипучему оживлению у подъезда можно было догадаться об этом. Черкесы, татары, армяне, турки, молдаване, венгры осаждали штаб командующего, стремясь попасть на прием. И как только поезд князя остановился у подъезда, самая пестрая и разноязычная толпа окружила князя. Заиграл роговой оркестр, и плеяда блестящих кавалеров и дам поспешила навстречу Потемкину...

7

Потемкин нисколько не изменил своих привычек с тех пор, как покинул Петербург: по-прежнему он был расточителен и жаден к увеселениям. Пышность и роскошь, которыми он окружил себя в Бендерах, изумляли всех. Главная ставка князя скорее походила на великолепный двор восточного деспота, чем на военный штаб главнокомандующего. Полковник для поручений Бауэр насадил вокруг потемкинских покоев сад в английском вкусе. Капельмейстер Сарти с двумя хорами роговой музыки забавлял гостей князя. С утра до глубокой ночи в большой приемной Потемкина толпились разные искатели приключений, просители и пройдохи. Князь не занимался делами. В кабинете на дубовых столах валялись запыленные военные карты, книги и важные донесения. На низком турецком столике, украшенном инкрустациями из золота и перламутра, лежали груды пакетов, нераспечатанных писем и депеш. Всей перепиской Потемкина ведал начальник канцелярии Попов. Низенький, тучный, с нездоровым цветом лица, он никогда не снимал с себя изрядно помятого мундира. Круглые сутки он стоически дежурил, всегда исполнительный и готовый к услугам своего господина.

В первые же дни пребывания в Бендерах адъютант Демидов был ошеломлен. После многих дней пути — пыли, грязи, дождей, ломоты в костях, грубых окриков

гайдуков, унылых, спаленных степей, переполненных и душных станций, истерзанных, загнанных коней — вдруг, словно по волшебству, он очутился во дворце, в сиянии яркого света, хрустальных люстр, прекрасной музыки, благоухания цветов, среди волнующегося моря перьев, кружев и воздушных тканей над очаровательными женскими головками и мраморными плечами красавиц. Впервые ему пришлось попасть в такое большое пестрое общество, какое наполняло «княжеский двор». Это был элегантный двор вассала, не знающего границ в своих причудах. Двести прекрасных дам почти ежедневно собирались на празднества, устраиваемые светлейшим. Потемкина всегда окружали самые изысканные прелестницы: графиня Самойлова, княгиня Долгорукова, графиня Головина, княгиня Гагарина и другие великосветские красавицы. Не менее блестящее общество кавалеров теснилось вокруг князя: граф де Дама, дворянин из Пьемонта — Жерманиан, знатные португальцы де Фрейер и де Пампелионе и многие другие, не говоря уже о русской знати. В передней князя можно было встретить и низложенного султана, и турецкого пашу, и казацкого есаула, и македонского инженера, и персидского посла.

Среди всего этого шумного общества Демидова больше всего волновала черноглазая де Витт, при встречах мельком взглядывавшая на Демидова и ленивым движением чуть-чуть кивавшая ему кудрявой головой. Она все время старалась завоевать внимание Потемкина, неотступно следовала за ним. Игривая и бесцеремонная, она целиком завладела князем. Непонятное чувство испытывал Демидов: он ненавидел гречанку и тянулся к ней. Большие жаркие глаза прелестницы влекли его к ней, но она, как хитрый хищный зверек, скалила зубы. Де Витт была значительно старше Демидова, опытна в любовной игре и доводила его своим равнодушием до бешенства.

В большом зале, где под музыку Сарти кружились пары, адъютант осмелился пригласить ее на танец. Светлейший сидел за карточным столом и был весьма занят мужем прелестницы.

В ответ на учтивый поклон Демидова де Витт полунасмешливо, полупрезрительно улыбнулась, но все же прошла с ним в круг танцующих. Они шли в плавном полонезе. Не сводя с нее влюбленных глаз, офицер прошептал:

— Вы обещали мне... Я вас люблю...

Она горделиво вскинула голову, стала недоступной.

— Я ничего не обещала вам. Вы наивный мальчик и не понимаете всего!

Демидов вспыхнул. На шее де Витт горели драгоценности его матери. Вся кровь прилила к его лицу, ему хотелось схватить, смять эту хищницу и отобрать ожерелье. Прелестница поняла, что в душе офицера творится неладное, испугалась:

— Что с вами?

Он промолчал и, волнуясь от возбуждения, отвел ее к креслам. Разгоряченный, он выбежал в сад. Ветер раскачивал деревья, шумел в кустах. Заходило солнце, и золотистая небесная ширь становилась все ярче и красочнее. Как все окружающее не походило на родной Урал! Там человеческие отношения отличались простотой. Демидов на Урале был хозяином и распоряжался людьми, а здесь с ним играют...

Он долго смотрел на закат, не переставая думать о прелестнице. Вдруг тяжелая рука опустилась ему на плечо. Николай Никитич оглянулся. Перед ним стоял Энгельгардт.

— Демидов, мне жалко тебя! — с большой искренностью сказал он.— Я все вижу и боюсь за тебя. Ты знаешь, кто ее покровитель?

— Я никого не боюсь! — вспыльчиво ответил адъютант.

Энгельгардт спокойным взглядом остановил его.

— Не говори так, Демидов! Ведь мы друзья. Ты несчастлив в любви, дорогой. Но если бы пришла удача, помни — наш ревнивец не пощадит тебя! Майор Щегловский за польскую панну угодил в Сибирь!

Энгельгардт не произнес имени виновника несчастий, но Демидов догадался, кто он...

Адъютант сердечно пожал руку Энгельгардта:

— Спасибо...

Офицер наклонился к Демидову и полушепотом признался:

— Боюсь еще, что сия неизвестная особа не случайно вертится в штабе. Надо быть осторожным, господин адьютант! — Он приложил палец к губам и замолчал.

8

И все же авантюристка захватила внимание Демидова. Она завлекала его, дразнила, по-прежнему оставаясь недоступной. Но адъютант чувствовал, что и Потемкин обманут: он несколько вечеров просидел за картами с мужем прелестницы, проигрывая большие суммы. Возмущенный за своего покровителя, Николай Никитич недоумевал: «Чего она добивается? Почему противится?»

Разве можно было сравнивать мужа фанариотки со светлейшим? Потемкин был могуч, строен, с крепкими мускулами и высокой грудью. Орлиный нос, красиво выгнутые густые брови, из-под которых светился огоньком голубой глаз. Князь смеется всегда от всей души, и тогда блестят его ровные ослепительные зубы. Не мудрено, что многие женщины ищут его ласки. Рядом с ним искатель счастья казался невзрачным, сутулым и жалким. Морщинистый, в пышном парике, благодаря своей острой мордочке он выглядел хорьком. Сухими цепкими руками он жадно сгребал проигранные светлейшим червонцы.

«Выбор может быть только в пользу Потемкина! Но почему же она трепещет под злым, пронзительным взглядом проходимца, почему она послушна ему? Что связывает эту пару?»

Демидов не находил ответа. Одно стало очевидным: Потемкин безнадежно влюблен и теряет терпение. Ненавидя де Витт, Николай Никитич тайно ревновал ее к светлейшему. Он подкарауливал ее всюду, подбирал небрежно разбросанные Потемкиным записки и воровски читал их. Она писала князю: «Машурка, здоров ли ты? Как я ласкова, когда думаю о вас. От вас зависит платить неравною монетой. Гаур, москов, казак, яицкий Пугачев, индейский петух, павлин, кот заморский, фазан золотой, тигр, лев в тростнике. Шалун, скоро, скоро...»

Демидов тщательно прятал надушенную записку и ходил пьяным от ревности. Потемкин в это же время находился в большом ударе и беспрерывно шутил с адъютантом.

— Демидов, отправляйся на батарею и узнай, все ли в порядке! — предложил однажды князь.

Николай Никитич поспешил выполнить приказ. Вечером предстоял бал, и он трепетал от одной только

мысли, что встретит гречанку. С волнующими мыслями адъютант выехал за городок. Ярко светило солнце в степи, серебрило воды Днестра. На крутом яру расположилась батарея. Демидов спешился и пошел к орудиям. Его встретил загорелый седоусый майор в изношенном мундире. Он холодно оглядел потемкинского адъютанта и коротко доложил:

— Двадцать пять пушек готовы к залпу. Проволока в кабинет светлейшего проведена, звонок в исправности; как только светлейший даст команду, немедленно грянут пушки!

Артиллерист держался строго официально. Глаза офицера были сумрачны, лицо хмуро. С неприязнью он поглядывал на новенький мундир адъютанта и розовое лицо юнца. Демидову стало не по себе от холодного, плохо скрытого презрения к нему фронтового офицера. Однако он с напускной важностью обошел орудия, хотя ничего не понимал в артиллерии.

— Что желаете еще доложить князю? — спросил Николай Никитич.

— Прошу вас, господин офицер, передать главнокомандующему мою просьбу: вся команда с нетерпением ждет отправки под Измаил! — вытянувшись построевому, отрапортовал майор.

Демидов возвратился в ставку раздосадованным. Он почувствовал, что, помимо потемкинского штаба, рядом есть могучая сила, которая, в сущности, решает судьбы России. Это выносливая, терпеливая и лучшая в мире русская армия. Однако, сознавая это, Николай Никитич держал себя заносчиво перед рядовыми офицерами, которые были ему просто непонятны, тем более он оказался не в состоянии понять душу простого русского солдата. Стараясь отвлечься от тревожных мыслей, адъютант поторопился в штаб.

В особняке князя уже собралось многочисленное общество. Дамы с обнаженными плечами, с пышными, затейливыми прическами, сверкая драгоценностями, щебетали без умолку. Это был живой благоухающий цветник. Свитские генералы, гренадерские офицеры, петербургские петиметры и просто безыменные бродяги, присвоившие себе громкие титулы, в бархатных камзолах и мундирах, разукрашенных позументами, лентами и орденами, шумной толпой двигались по залам.

Адъютанта немедленно окружили женщины. Жеманницы забросали его вопросами, он краснел и сму-

щался в их обществе. Откровенные костюмы дам заставляли Демидова опускать глаза и волноваться. Невпопад отвечая на слишком бесстыдные шутки красавиц, он глазами отыскивал гречанку. Графиня Браницкая, сестра Энгельгардта, дама с томными глазами, взяла Николая Никитича под руку и увела его из дамского кружка. Загадочно улыбаясь, она прошептала адъютанту:

— Ее здесь нет... Светлейший забыл своих настоящих друзей ради этой турецкой рабыни! — В словах Браницкой прозвучало недовольство. Она потащила Демидова за собой: — Идемте! Какой же вы увалень!..

Она прошла с гвардейцем в большой двусветный зал. Там, на широком диване, покрытом розовой материей, затканной серебром, сидел Потемкин с гречанкой. Прелестница в прозрачном голубом платье, полуобнаженная, не сводила восторженных глаз с князя, который что-то ей шептал. Рядом с могучим исполином она казалась щебечущей птичкой, теряющейся в облаке газа и кружев. Драгоценные камни звездами переливались в кружевной пене. Группа веселых дам окружала князя и его избранницу. Сиреневый дым благовонных масел, разлитых в чашечки, вился к потолку. Рядом с диваном застыли два арапа в лиловых камзолах, держа наготове серебряные подносы, наполненные ароматными фруктами.

Браницкая крепко сжала руку адъютанта:

— Он всегда так... Но это скоро пройдет... Тогда вы сможете.

Она что-то горячо шептала, все сильнее сжимая его руку. Но Демидов не слушал ее; чувство жгучей ревности снова наполнило его. С надеждой он взглянул на фанариотку, но та не пожелала заметить его. Это еще больнее укололо в сердце. Он осторожно освободился от Браницкой:

— Я не могу здесь...

— Понимаю вас! — с легкой насмешкой отозвалась дама и, величаво кивнув ему головой, плавно пошла к свите Потемкина.

Демидов прошел в зал, где за карточными столами в клубах табачного дыма сидели игроки, и среди них муж прелестницы. Рядом с ним, с замкнутым серым лицом, над зеленым полем склонился Попов. Он был в своем неизменном помятом мундире. Короткими толстыми пальцами, поросшими рыжеватыми волосами,

правитель канцелярии выбрасывал карты. Его маленькие, мышиные глаза бегали тревожно.

— Бита! — вдруг веселым голосом объявил он и жадно придвинул к себе пачку радужных ассигнаций.

— Ставлю пятьдесят тысяч! — подчеркнуто громко сказал муж прелестницы.

Попов снова стасовал карты и приготовился метать. Противник поставил две карты и загнул каждую мирандолем[1]. По второму абцугу[2] правитель канцелярии вскрыл свою карту, и вновь она оказалась выигрышною.

— И эта бита! — спокойно объявил Попов.

У его партнера заходили руки. Он вскочил и, весь красный, предложил Попову:

— Давайте на мелок!

— Э-э, государь мой, на мелок я не играю! Пожалуйте на чистые!..

— Вы черт! — зло обронил муж прелестницы и, увидя Демидова, взял его под руку.— Идемте к столу!

Он провел адъютанта в княжескую столовую, где за большим столом шумело веселое общество. «Граф» быстро отыскал свободное место и усадил рядом с собою Демидова. Налив бокал шампанского, высоко поднял его.

— Господа, я предлагаю тост за здоровье и удачу светлейшего!

Острыми, проницательными глазками он обежал круглый стол. Ни Потемкина, ни прелестницы за ним не было. Дамы многозначительно переглянулись с кавалерами. Николай Никитич догадался и покраснел. Но муж де Витт нисколько не смутился этим обстоятельством. С победоносным видом он осушил бокал до дна и обвел всех веселым взором.

В это мгновение грянул пушечный залп.

«Свершилось!» — в отчаянии подумал Демидов, поняв значение этого залпа, и в страхе взглянул на мужа прелестницы. Но тот нисколько не взволновался. Услышав залп, он только пожал плечами и цинично сказал на весь зал:

— Скажите, какое громкое кукареку!..

---

[1] **Мирандоль** — карточный термин (загибание угла карты).
[2] **Абцуг** — карточный термин при игре в банк.

9

С этого памятного вечера гречанка стала заносчивее и беззастенчивее. Встречаясь с Демидовым, она вовсе не замечала его. Николай Никитич, однако, не мог успокоиться и, помимо своей воли, продолжал тянуться к де Витт. Все, что было в ней порочного, наглого и лживого, вскрылось в эти дни. И все-таки, несмотря на грубую, неприкрашенную истину, стоило гречанке бросить притворно робкий, невинный взор из-под темных ресниц, гнев Демидова таял, словно по волшебству. В эти минуты прелестница казалась слабым, хрупким созданием; Николай Никитич становился податливее, мягче воска и старался оправдать ее низменные поступки.

Только один Энгельгардт не терял голову. Он зорко следил за фанариоткой и ее подозрительным мужем.

— Здесь военный штаб, и ей не место тут! — резонно рассуждал он.— Кто знает, какие замыслы таит любая из красавиц, прибывших сюда из Санкт-Петербурга?

Адъютант судил строго и прямолинейно:

— В день дежурства я неспокоен, Демидов. Это черт, а не женщина!

В самом деле, гречанка назойливо проникала всюду. Демидов уставал от тревог. Разбитый, он приходил в домик просвирни, в котором жила Аленушка, и не находил покоя. Чистая русская красота перестала увлекать гвардейца. Аленушка чувствовала его охлаждение, молчала и стоически удерживалась от упреков.

Однажды Демидов проснулся среди ночи. Над ним склонилось девичье лицо с синими глазами, полными слез. Ему стало жалко свою молчаливую подружку.

— Что с тобой, Аленушка? — ласково спросил он.

— Боюсь, Николенька! Ой, боюсь! — страстно прошептала она и теплым плечом тесно прижалась к нему.

Порыв возлюбленной всколыхнул Демидова. Он осторожно стал ласкать ее светло-русую голову, круглые плечи.

— Чего же ты боишься, моя дурочка? — взволнованно спросил он.— Или ты узнала что-нибудь худое про меня?

— Ах, не то! — покачала головой Аленушка.— Совсем не то! Я знаю, что ты не ангел, но сердцу ведь не прикажешь оставить тебя. Пошла за тобой — выходит, на все решилась: на муки, на радости, на горе! Ах, Ни-

коленька, когда любишь человека, то и терзания бывают сладки! Без них не может быть любви! — искренне, горячим шепотом раскрывала она перед ним свою душу.

Демидов удивленно разглядывал девушку.

«Так вот ты какая!» — в умилении подумал он и пожалел о своей слабости:

— Да, нехорош я, Аленушка! Страсти меня обуревают!

Мокрой от слез щекой она прижалась к его щеке.

— Милый ты мой, да где тебе стать хорошим? Барин ты, трудов не знаешь. Все тебе в руки далось без стараний, пришло от богатства! А в безделье человека ржа разъедает! Некрепок он тогда!

— Так ты и боишься этого, что некрепок я и не устою против соблазна? — спросил он, приподнялся и пытливо, долго смотрел ей в глаза.

— Боюсь! — чистосердечно призналась Аленушка.— На худое могут уговорить.

— Кто же меня уговорит?

— Известно кто! — простодушно ответила она.— Подле князя много вертится разных людей, а кто они — один бог знает! Берегись, Николенька! Я прощу обиды, но бывает такое, что никто не простит: ни мать, ни жена, ни люди!

Демидову стало нехорошо под пытливым взглядом девушки. Он опустил глаза, задумался. Потом тихо-тихо снова заговорил:

— Сейчас и я боюсь, Аленушка. Боюсь, что ты моя совесть...

— Далеко мне до этого, Николенька! Я простая русская баба.

Он по-иному рассматривал ее теперь. Впервые увидел в ней человека, русскую душевную женщину. И эта душевность покорила его. Он взял руки Аленушки и перецеловал их.

— Что́ ты, что́ ты! — смущенно запротестовала она.— Не надо так! Обними лучше покрепче!

В полуночный час на душу Демидова сошел покой.

— Спасибо тебе! — прошептал Николай Никитич и нежно обнял девушку...

Весь день на очередном дежурстве адъютант напряженно думал. В ставке перебывало много людей: офицеры — курьеры из-под Измаила — ждали приказаний от главнокомандующего, статный кавалергард

в серебристых латах из Санкт-Петербурга стремился попасть на глаза Потемкину, генералы, гонцы, просители добивались приема, но Демидов боялся войти для доклада в покой светлейшего. Однако томление достигло предела, и адъютант наконец решился пробраться в комнату князя. С робостью он переступил порог покоя, устланного коврами. Стояла тишина. На пестрой широкой софе валялся Потемкин в атласном голубом халате, надетом на голое тело. На волосатой груди его поблескивали образки, ладанка, два крестика на шелковых шнурках, потемневших от пота. Нечесаный, неумытый, светлейший дремал в забытьи, не интересуясь ни курьерами, ни делами.

При входе адъютанта Потемкин поднял голову.

— Это ты, Демидов? Уйди, надоело мне все!

— Ваша светлость, вы просили напомнить о делах.

— К черту дела! — заревел князь.— Уйди, пока цел!

Потемкин упал лицом в подушки и затих. Адъютант на цыпочках вышел в приемную.

— Господа, князь чувствует себя плохо, и прием не состоится! — оповестил он ожидающих.

Постепенно все нехотя разъехались. Осталась лишь одна де Витт. Шумя шелком, она быстро проскользнула мимо адъютанта и скрылась в покоях Потемкина.

Было за полночь, когда Демидов склонил голову на руки и задремал. За стеной слышались голоса курьеров, берейторов, казаков-скороходов. Тихий говорок монотонно сочился в приемную и усыплял...

Скрип половиц пробудил адъютанта. Он испуганно открыл глаза: что-то легкое, белое мелькнуло мимо него и скрылось в кабинете Потемкина.

«Светлейший!» — в страхе подумал Демидов, и сон как рукой сняло. Он вскочил и, пройдя к незакрытой двери, заглянул...

По мягкому ковру, в ночной сорочке, разглядывая кабинет, медленно двигалась прелестница. На мгновение женщина остановилась, прислушалась и, как мелкий ночной хищник, стала шарить глазами по стопкам депеш...

Шумно дыша, Демидов ворвался в кабинет и схватил ее за руку.

— Что вы здесь делаете? Кто вам разрешил? — возмущенно закричал он, сильно сжав хрупкую руку.

Гречанка приглушенно вскрикнула и виновато прошептала:

— Николенька, я искала вас... Светлейший уснул...

От женщины шло приятное дурманящее тепло, тонкий запах притираний мешался с запахом тела и кружил голову. Она умоляюще смотрела на адъютанта.

Демидов оттолкнул женщину.

— Врешь! — закричал он.— Ты не меня искала! Ты шпионка!

— Николенька, не кричите! Я люблю вас, милый! — жалобно-просяще прозвучал среди ночной тишины ее голос.

— Врешь! Ты не за этим сюда шла! — гневно выкрикнул он и схватил ее властным движением.— Идем!

На крик распахнулась дверь, и вошел встрепанный, вечно бодрствующий Попов. Удивленно разглядывая дежурного адъютанта и полуобнаженную прелестницу, он двусмысленно улыбнулся.

— Простите, я, кажется, помешал! — неприятно скривил он тонкие губы.

— Шпионка! Арестовать! — вне себя негодующе закричал Демидов.

— Прошу вас, тише, господин адъютант! Боже сохрани, разбудите его светлость! — вкрадчивым голосом прервал его правитель канцелярии.

Мягко ступая, он прошел вперед. Его лисье лицо было полно самоуверенности и покоя.

— Демидов, вы с ума сошли! — сказал он сердито.— Мадам де Витт здесь свой человек. Отпустите немедленно!.. Прошу вас! — учтиво поклонился гречанке Попов.— Нельзя быть такой неосторожной...

— Я шла в туалетную! — детски наивно пролепетала она и потупила глаза.

— Вы ошиблись дверью, сударыня. Вот сюда! — Он открыл дверь в покои светлейшего и пропустил ее. Прелестница торопливо скрылась.

— Она шпионка! — гневно сказал Демидов.

— Замолчите, сударь! Своим бестактным поведением вы оскорбляете высокую особу! Слышали? — прошипел правитель канцелярии.

— Вы забываете, господин полковник, что законы военного времени карают шпионов! — наливаясь краской, вымолвил Демидов.

Попов усмехнулся. Оглянувшись, он вплотную подошел к офицеру и прохрипел:

— Запомните раз и навсегда, сударь: все законы

здесь, в этом доме, сосредоточены в светлейшем. Он один карает и милует! Потом помните, Демидов, пред вами выбор: или вы будете молчать обо всем, или вам не сносить головы! Вы могли ее соблазнить! Вы понимаете, что это значит? Как посмотрит на это светлейший? Слышали?

У Николая Никитича потемнело в глазах. Его обезоружил этот сутулый, с серым обрюзглым лицом и красноватыми крысиными глазками прислужник князя. У Демидова все внутри кипело, протестовало, но ему стало ясно, что Попов не остановится перед любой ложью.

— Вы слышали? — властно и зло повторил Попов.

— Слышал! Вы подлец! — гневно сорвалось с языка Демидова.

Адъютант схватился за шпагу, готовый вступить в поединок. Но Попов презрительно скривил губы и невозмутимо ответил на вызов:

— Вы ответите мне за оскорбление, Демидов! Драться с вами я не намерен. Вы мальчишка, а я старик; мне не к лицу разыгрывать светские комедии. Спокойной ночи! — Он неторопливо повернулся и тихим шагом вышел из дежурной.

10

Гречанка и ее муж внезапно исчезли из Бендер. Казалось, никто не обратил внимания на отсутствие де Витт. Даже Потемкин успокоился в тот же день. Оживленный, помолодевший, он весь вечер ласково беседовал со своей племянницей Браницкой.

«Неужели Попов предупредил обо всем прелестницу и они испугались разоблачения? Пустое, эти авантюристы не трусливого десятка! Что же тогда такое?» — растерянно думал Демидов.

Сдавая дежурство Энгельгардту, Николай Никитич задержал его.

— Вы ничего не заметили?

— Нет! — равнодушно отозвался офицер.— На мой взгляд, все идет хорошо!

— Но куда скрылась графиня де Витт? — Демидов пытливо посмотрел на адъютанта.

— Это меня нисколько не интересует! — безразлично ответил тот.— На нашем южном небосклоне каждый

день вспыхивают и погасают метеоры. Разве можно обращать внимание на обыденные явления?

В поведении Энгельгардта на этот раз чувствовались превосходство, самонадеянность. С важностью человека, имеющего большой вес, он сказал:

— Только постоянные звезды излучают ровный, негаснущий свет, и это дорого нам, Демидов!

«Он рад за свою сестру, графиню Браницкую. Дальнейшее его не интересует!» — сообразил Николай Никитич.

Демидов взволнованным возвратился в домик просвирни. У огонька, склонившись над шитьем, сидела Аленушка. Тихо скрипнула дверь, девушка обеспокоенно подняла глаза.

— Что с тобой, Николенька? — встревоженно спросила она своего возлюбленного.— На тебе лица нет!

Демидов не спеша снял мундир, обрядился в домашний халат и присел рядом.

— Гречанка сбежала! — глубоко вздохнув, признался он и поведал обо всем, что случилось ночью.

Она внимательно выслушала его.

— Милый ты мой! — воскликнула Аленушка.— Энгельгардт — немец! Ему до России нет дела. Чует мое сердце, Николенька, что не все еще кончилось. Остерегайся!

— Ну, знаешь, волков бояться — в лес не ходить! — насмешливо перебил Демидов.

— Ты не шути! — остановила его строгим взглядом Аленушка.— Звери бывают разные. Трусливая нечисть опаснее храброго зверя! Боюсь я за тебя, Николенька! — Она нежно прижалась к его плечу и стала гладить мягкие волосы.

В маленькой опрятной горенке уютно. В лампочке потрескивает фитилек. В спокойном ровном свете лицо Аленушки выглядит розовым и умиротворенным. Она с душевной лаской смотрит на Демидова. От этого ему приятно и радостно. После шума и сутолоки в штабе здесь все просто, тихо, успокаивает, и забываются все невзгоды.

Аленушка снова принялась шить. Изредка она отрывалась от работы и с загадочной улыбкой взглядывала на Демидова.

— Чему улыбаешься? — ласково спросил он подругу.

— Многое, Николенька, человеку передумается,

особенно когда он день-деньской один. Все думаешь и думаешь! — мечтательно промолвила Аленушка. Она снова отложила шитье и склонила на плечо Демидова голову.— Знаешь, Николенька, мне бы...— Она смутилась и покраснела.

Демидов недовольно отодвинулся.

— Да что ты надумала? — обеспокоенно спросил он, и глаза его трусливо забегали.

— Ты не бойся, Николенька! — душевно придвинулась к нему Аленушка.— Ничего этого нет, а случится — не пугайся. Живи как знаешь. Понимаю — не пара ты мне. На это шла...

Круглым розовым локотком она облокотилась на стол и долго задумчиво смотрела на огонек. Он горел ровным пламенем, внося в душу покой и тихую радость. Глядя на грустное лицо Аленушки, Николай Никитич думал:

«Как непохожи русские женщины на авантюристок-иноземок, которые вертятся в ставке светлейшего! У одних любовь и материнство превыше всего, а у тех пустоцветов — ложь, обман и липкая грязь. Фу, мерзость какая! Но отчего же эти пустоцветы больше влекут нас к себе, чем хорошее и чистое? Может, оттого, что последнее — простое и спокойное, а человек вечно чем-либо недоволен, все ищет бури для своего неугомонного сердца! Ах, любовь, любовь!» — вздохнул Демидов.

Угадывая его мысль, Аленушка приласкалась к нему.

— Не кручинься! Не для укора призналась я тебе в своем желании и не для обиды. Господи, как я хотела бы, чтобы ты был простой мужик, пахотник, а я — твоя баба. Натрудился бы ты в поле, наломался над сохой, пришел домой, я тебя бы накормила, обласкала... Николенька...

Он смотрел на нее радостно-удивленным взглядом: Аленушка не оказалась алчной и завистливой. И все же он поторопился отогнать от себя простые и добрые мысли.

«Видать, и во мне сказывается плебейская кровь тульских дедов! — недовольно нахмурился Демидов.— Однако прочь, сии сельские идиллии не для меня писаны!..»

Стараясь скрыть свое настроение, он деланно-протяжно зевнул и пожаловался:

— Спать пора! Сбежал я сюда от суеты на часик-другой!..

Она быстро взбила постель, погасила огонек и улеглась рядом с ним, теплая и покорная.

11

Не напрасно тревожилась Аленушка: Демидова подстерегало испытание. Поздним вечером он дежурил в штабе. Было около полуночи, когда его сменил Энгельгардт. Веселый и самодовольный, он задержал адъютанта и, обняв его за талию, прошелся с ним по комнате.

— Знаешь, Демидов, я очень счастлив за Сашеньку... Теперь я спокоен...

Николай Никитич озабоченно прервал Энгельгардта:

— А я обеспокоен другим: князь мало уделяет внимания делам...

— Пустяки! Светлейший — чародей, маг! Он все успевает, а для черновой работы — Попов! — отмахнулся адъютант.

«Казнокрад и подлец!» — хотелось выкрикнуть Демидову, но он сдержался. Для многих не составляло секрета, что Попов ночи напролет просиживает за ломберным столом, проигрывая огромные суммы. Откуда они у него?

Хмурый, усталый Демидов посидел полчасика в штабе и, вспомнив Аленушку, решил навестить ее.

На южном бархатно-темном небе мерцали яркие звезды. За Днестром шумели сумрачные заросли. Только что прошел дождь, и в дорожных колеях, наполненных водой, серебрился отраженный серп месяца.

Николай Никитич поспешил по знакомой тропке к дому просвирни. Отчего-то ныло сердце. В потемкинском штабе он чувствовал себя на положении бедного родственника. Санкт-петербургская контора на все просьбы выслать денег скупо отписывалась, тянула и слала ему гроши. Правитель Данилов, ссылаясь на опекунов, не давал размахнуться молодому хозяину. Между тем в главной квартире успех обеспечивался тому, у кого имелся тугой кошелек. Прелестницы дарили Демидову улыбки, жеманились, но подшучивали над ним:

— Не торопитесь, миленький! Ведь вы опекаемый. Дитя!

Он понимал, что дамы знают о состоянии его кошелька, и шутки их злили адъютанта...

В глубоком раздумье пробирался он среди зарослей бересклета, кизила. Позади раздался приглушенный голос:

— Господин, обождите одну минутку!

Демидов оглянулся, вздрогнул. В кустах стоял высокий, широкоплечий татарин в бараньей папахе. Он улыбался, в густой черной бороде блестели зубы.

— Что тебе нужно? — встревоженно спросил Демидов, хватаясь за шпагу.

— Дело есть, господин хороший! — надвигаясь на него, насмешливо сказал татарин.— Зачем трусишь, оставь шпага!

— Какое дело? Кто ты такой? — отступил от него Демидов, пытливо оглядывая бродягу.

Внезапно он услышал тихий плеск и вороватые шаги: кто-то вышел из кустов и преградил тропку.

— Стой! — зло окрикнул его татарин.— Пришел твой конец!

Он ощерил крепкие волчьи зубы и взмахнул рукой. Серебристой искрой сверкнул кинжал, но Демидов проворно уклонился от удара и выхватил шпагу. Он никогда в жизни не дрался на шпагах. Суетливо, но быстро он отбивал удары, стараясь держаться лицом к противникам.

— Зачем канитель такой! Лучше скорый смерть! — насмешливо выкрикнул татарин и с большой яростью напал на офицера.— Не мешай мне! — сказал он своему товарищу.

Медленно отступая, Демидов чувствовал силу и проворство противника.

«Неужто смерть? — мелькнула страшная догадка, и он закричал что было мочи:

— Караул! Грабя-ят!..

— Ну чего кричишь, господин! Добрый офицер стыдится страха. Хороший рубака не кричит, а ты баба! Фазан! Кричи не кричи, все равно тебе сделаю смерть! — размахивая кинжалом, зловеще проговорил татарин.— Смотри!

Он сделал прыжок, но в это мгновение кто-то с разбегу прыгнул ему на спину:

— Ге-е!..— прохрипел татарин и выпустил кинжал.

С минуту он раскачивался и, с выпученными, изумленными глазами, словно завидев что-то страшное, упал на тропку. Второй противник, грузный и безмолвный, кинулся в кусты...

— Злодей! Николенька, бей их! — раздался женский голос.

— Аленушка! — изумленно прошептал Демидов.

— Круши! — ободряюще позвала она и бросилась за грузным бродягой...

Но Николаем Никитичем овладел страх, безумный, неодолимый страх, от которого похолодела кровь. Не помня себя, он побежал через рытвины и кусты на дальний огонек.

«Господи, спаси меня, спаси!» — тяжело дыша, просил он.

Но никто за ним не погнался. Позади было тихо.

«Ух! — вздохнул Демидов.— Где же Аленушка, что с ней?» — опомнился он.

Впереди на холмике темнел домик, из подслеповатого окошечка струился робкий свет. Демидов взбежал на крылечко и заколотил в дверь:

— Спасите! Спасите!

Распахнулась дверь, в сенцах стоял седенький попик в холщовой ряске.

— Что случилось, сын мой? — встревоженно спросил он.

— Батюшка, там мою холопку режут! — закричал Демидов и схватил его за рукав.— Идем! Идем!

— Эк перепугался! Ничего ей не станет! — спокойным голосом отозвался попик.— Однако погоди, сынок!

Священник вошел в домик и разбудил попадью. Вооружившись топорами, они пошли за Демидовым.

— Что за грех такой! — удивленно пожимал плечами попик.— Откуда и что? Слышишь, все тихо, и, стало быть, понапрасну ты поднял шум!

Они шли по влажной тропке. Ноги скользили, кусты кизила цеплялись за одежду. Зеленый свет месяца то вспыхивал, то погасал. Демидов шел, опустив голову. Ему стало стыдно за напрасную тревогу и за свою трусость.

— Ахти, господи! — вскрикнул вдруг священник и наклонился над тропкой.

Скупой свет пролился из-за тучки. На стежке ле-

жала бездыханная Аленушка. Священник приподнял ее голову.

— Господи, прости ее грешную душу! — тяжко вздохнул он и перекрестился.— Каким извергам понадобилось убивать сию кроткую молодицу?

Демидов упал на колени подле тела Аленушки. Тихие и горькие слезы стали душить его.

Печальная улыбка болезненно скривила губы священника.

— Теперь поздно предаваться отчаянию, господин! Нечистое дело тут вышло! Кто виновен, не я здесь судья!..

Он выпрямился и сказал попадье:

— Пойдем, матушка! Надо прибрать тело!

Мертвящий свет месяца смотрел в похолодевшее лицо Аленушки. Демидовым овладела тоска, смертная, горькая тоска.

Глава пятая

1

В то самое время, когда в ставке главнокомандующего Потемкина шли бесконечные пиршества, в столице происходили весьма важные политические события, которые сильно взволновали императрицу Екатерину. Прежде всего ее беспокоила война со Швецией, начатая высокомерным и честолюбивым шведским королем Густавом III, возомнившим себя непобедимым полководцем. Мысль о разгроме России и завоевании балтийских берегов вскружила ему голову. Самонадеянный король хвастался перед придворными, что скоро шведские войска займут Санкт-Петербург и он опрокинет Медного Всадника в Неву. Свитским дамам он заранее обещал пригласить их на великолепный бал, который устроит в Петергофе по случаю занятия русской столицы. Отправляясь в поход, Густав III писал одному из своих друзей:

«Мысль о том, что я могу отомстить за Турцию, что мое имя станет известно Азии и Африке, все это так подействовало на мое воображение, что я не чувствовал особенного волнения и оставался спокойным в ту минуту, когда отправлялся навстречу всякого рода опасностям. Вот я перешагнул чрез Рубикон...»

Военные действия против России начались в 1788 году осадою Нишлотской крепости, находившейся в нескольких днях пути от Санкт-Петербурга.

Императрица сильно перепугалась и на докладе статс-секретаря Храповицкого раздраженно сказала:

— Ах, право, очень жаль, что государь Петр Первый так близко от врага возвел нашу столицу!

Сдержанный и педантичный придворный учтиво ответил:

— Ваше величество, он основал ее прежде взятия Выборга, следовательно надеясь на себя!

Это нисколько не успокоило царицу, волнение ее усиливалось, и в Петербурге со дня на день ждали появления шведов на берегах Невы.

Однако русский гарнизон крепости Нишлота оказался стойким, и шведы не смогли овладеть этой небольшой твердыней. Дальнейшие события показали, что и на море шведы не добились желанных успехов. Битва при Гохланде, которая состоялась 17 июля, закончилась победой: шведские корабли вынуждены были удалиться в Свеаборгскую гавань, и там их блокировал русский флот.

Не удалась Густаву III и главная операция — взятие Фридрихсгамской крепости. Во время приготовлений к осаде в шведском лагере среди офицеров началось волнение. Они отказались сражаться, указывая на незаконность наступательной войны, начатой без согласия сейма. Около ста офицеров подали в отставку и готовились покинуть лагерь. В Аньяле образовалась конфедерация, которая и положила конец военным операциям 1788 года.

Король был в отчаянии. Своему приближенному генералу он признался:

— Наша слава исчезла навсегда, я ожидаю смерти от руки убийцы!

В результате неудач шведский король вынужден был начать переговоры. Между русскими и шведскими войсками возникли самые оживленные сношения.

Один из современников шведского похода сделал очень меткое ироническое замечание об этом событии.

«Шведы в этом походе,— писал он,—нуждались не столько в солдатах, сколько в трубачах для оказания услуг при непрестанном обмене визитами шведских и русских парламентеров».

Екатерина обрадовалась внезапному благоприят-

ному повороту событий. Теперь, когда миновала страшная угроза, она выражала сочувствие шведскому королю и осуждала недовольных им офицеров.

— Изменники! Предали своего монарха! — гневно сказала она о последних.— Был бы король с нами учтивей, он заслужил бы сожаление, но теперь, увы, надо пользоваться обстоятельствами: с неприятеля хоть шапку долой!

Однако радость царицы оказалась преждевременной — вскоре обстоятельства круто изменились к худшему. Королю Густаву III удалось подавить конфедератов. Он стал полным диктатором и с новыми силами бросился в поход.

Вековечные враги России, правящие круги Англии и Пруссии были очень довольны тем, что война со Швецией и Турцией затягивается. Мало этого — эти державы готовы были сделать все для того, чтобы еще больше разжечь вражду между воюющими. Атмосфера накалялась с каждым днем, и можно было ожидать внезапного нападения Пруссии. Обеспокоенная таким оборотом дела, Екатерина 13 мая 1790 года писала Потемкину:

«Мучит меня теперь несказанно, что под Ригою полков не в довольном числе для защищения Лифляндии от прусских и польских набегов, коих теперь почти ежечасно ожидать надлежит. Король шведский мечется всюду, как угорелая кошка. Долго ли сие будет, не ведаю, только то знаю, что одна премудрость божия и его всесильные чудеса могут всему сему сотворить благой конец. Странно, что воюющие все хотят и им нужен мир. Шведы же и турки дерутся в угодность врага нашего скрытного, нового европейского диктатора (короля прусского), который вздумал отнимать и даровать провинции как ему угодно: Лифляндию посулил с Финляндией шведам, а Галицию полякам...»

Положение для России создалось крайне тяжелое, тем более что 17 марта 1790 года шведы неожиданно захватили Балтийский порт. Правда, через несколько часов русские войска выгнали их оттуда, но все же это событие сильно встревожило царицу.

Король Густав III к этому времени разработал план, по которому предполагалось обойти русские крепости Фридрихсгам, Выборг, Вильманштранд, Нишлот и нанести удар непосредственно Петербургу. Это вынудило бы Екатерину заключить мир.

В столицу дошли слухи, что в Балтийском море крейсирует сильный шведский флот и надо ожидать скорого нападения. Царица сильно струсила. Статс-секретарь Храповицкий по обыкновению аккуратно занес 3 мая 1790 года в дневник свои наблюдения за событиями и поведением императрицы: «Шведский корабельный флот в 26 парусах подходит к Чичагову[1], на ревельском рейде стоящему. Великое беспокойство. Почти ночь не спали...»

Царица на самом деле не сомкнула от страха глаз. Однако тревога ее оказалась напрасною. Русский флот всегда отличался неустрашимостью и решительностью действий. Так случилось и в этот раз: утром на следующий день курьер привез весть о победе над шведами. Вражеские корабли были рассеяны.

К сожалению, радость вскоре была омрачена. Несколько дней спустя по столице пронесся новый слух о том, что шведский флот приближается к Кронштадту. Беспокойство, охватившее население Петербурга, достигло крайнего напряжения. Стоило только на одной из окраин города взорваться небольшому запасу пороха, как жители вообразили, что шведы ворвались в столицу.

Вскоре все выяснилось, но горожане по-прежнему собирались на перекрестках, на базарах,— только и было разговору о шведах. В народе в эти дни возникла мысль о создании добровольческих военных дружин для защиты Петербурга. Городская дума одобрила пожелание и решила на свои средства создать команду из двухсот добровольцев.

В таможне в эту пору работал управляющим Александр Николаевич Радищев. Вельможный Петербург считал его очень интересным, но в то же время весьма опасным и беспокойным человеком. Радищева знали и при дворе, так как в юности, во время коронации Екатерины в Москве, он состоял в пажах, затем служил в сенате и даже некоторое время исполнял в нем обязанности обер-аудитора. И там он всегда противодействовал несправедливым решениям; нажил себе среди сенаторов врагов и вынужден был уйти в отставку. О своем прошлом Радищев откровенно говорил:

— Худо ладил со своими начальниками, был не льстив и не лжив.

---

[1] Имеется в виду командующий флотом.

Александр Николаевич любил литературу, много писал и все свои творения посвятил самому главному в своей жизни — борьбе с крепостничеством и его защитником, царским самодержавием. Лет семь тому назад, в 1783 году, он закончил свою оду «Вольность», которую за резко выраженное революционное содержание отказались поместить в журналах. Списки оды «Вольность» ходили по рукам, и многие с жадностью читали слова о том, что настанет время, и самодержавие рухнет в России, и революция создаст новый строй. Это было неслыханно! Так еще никто не писал:

Из недр развалины огромной,
Среди огней кровавых рек,
Средь глада, зверства, язвы темной,
Что лютый дух властей возжег,—
Возникнут малые светила,
Незыблемы свои кормила
Украсят дружества венцом,
На пользу всех ладью направят
И волка хищного задавят,
Что чтил слепец своим отцом...

Радищев происходил из дворянской помещичьей семьи и еще в раннем детстве хорошо ознакомился с положением крепостной деревни. Мальчиком он забегал в крестьянские избы и там видел совсем иной мир, который резко отличался от жизни в барской усадьбе. Крепостные вели убогую полуголодную жизнь. В курной избе черно от налета сажи, которая покрывала все: и стены, и потолок, и скамьи. Люди спали прямо на полу или на полатях, подостлав солому и прикрывшись рваным зипуном. Зимой свое жилье крепостные разделяли с ягнятами, телятами, которых брали на ночь, боясь, чтобы они не погибли в холодном хлеву. Долгие зимние ночи трудились при свете лучины. Чрезмерный труд на господ страшно изнурял, и совсем не оставалось времени для работы на себя. Барщина продолжалась четыре, пять, а иногда и все семь дней в неделю. Даже терпеливый отец Александра Николаевича о помещиках-тиранах сокрушенно говорил:

— Они налагают на мужиков труды, выступающие за пределы сносности человеческой.

Ко всему этому за малейшую провинность, а иногда и вовсе без всякой провинности, господа подвергали крепостных порке. Но самое страшное — о крепостных помещики говорили как о вещи или собаке. Крепостных продавали, как обычно продают скот на

базаре, иногда разбивая семьи. Еще до восстания Пугачева Радищеву приходилось читать возмутившие его душу публикации о продаже крепостных. Среди них были подобные:

«Сбежал черный курчавый пес; с того же поместья сбежал и дворовый человек. Приметы: рост 2 аршина 6 вершков, бел, кругловат, волосы на голове темнорусые, глаза серые, от роду ему 18 лет, обучен шить мужское платье».

Или:

«Продается дворовая девка 28 лет, умеющая чисто шить и приуготовлять белье и знающая частью женское портное дело».

Или:

«Продается мальчик 16 лет, знающий отчасти поварское искусство».

Все это вызывало искреннее возмущение у Радищева; всюду, где мог, он старался по возможности облегчить участь крепостного раба. Когда петербургская городская дума решила организовать добровольческую дружину, он подсказал, что в патриотических целях неплохо будет принимать в команду и крестьян, бежавших от помещиков. Городская дума согласилась с этим, и вскоре появилось много беглецов, пожелавших встать в ряды защитников отчизны. Таким образом записавшиеся в отряд крепостные избегали кары за побег от барина и, кроме того, получали в руки оружие.

О решениях городской думы доложили императрице. Она пришла в ярость.

— Как смели они делать подобное — в гневе закричала она и повелела немедленно возвратить беглых крепостных помещикам. А тех беглецов, которых помещики не пожелают принять обратно, сдать в солдаты.

Узнав об этом, Радищев сильно огорчился: он явился невольной причиной того, что многие беглые крепостные попали в ловушку.

Между тем беспокойство в Петербурге усилилось. 23—24 мая при Сейскаре произошла морская битва со шведами, и гром орудий был слышен в самой столице. К счастью, и на этот раз шведский флот потерпел поражение и вынужден был удалиться в Выборгскую бухту, где его и блокировали русские. Совершенно неожиданно для короля положение шведов стало самым

отчаянным. Ни одно суденышко не могло прорваться сквозь цепь заграждений. Сам Густав III голодал. Екатерина пожалела короля и направила ему особо снаряженное судно с провиантом и пресной водой. Шведам предложили капитулировать, но король, однако, пошел на рискованное дело. Неся огромные потери в людях и в кораблях, окутанный дымом, шведский флот прорвался сквозь густой строй русских кораблей и галерных судов и устремился в открытое море. Даже эта удача шведов не произвела в Европе должного впечатления. Все понимали, что дело короля проиграно...

Казалось бы, Екатерина должна радоваться, однако весь двор находился в большой тревоге: из Франции стали поступать вести одна другой тревожнее, и царица оставалась мрачной, притихшей.

2

Императрица не случайно отменила решение Санкт-Петербургской думы о допущении в отряд добровольцев беглых крепостных. Русский посол Симолин, пребывающий в Париже, со срочными эстафетами аккуратно присылал ей секретные сообщения о событиях, которые происходили во Франции. К донесениям он прилагал пачки литературы. Каждый раз царица взволнованно вскрывала дипломатическую почту и со страхом читала о событиях во Франции. Но еще больше ее тревожили выписки из донесений французского поверенного Жане. Тайным шифром он сообщал в Париж о настроениях, царящих в России. Пронырливый и оборотистый Безбородко, исполняющий обязанности члена коллегии иностранных дел, сумел добыть ключ к французскому шифру, перехватывал на почтамте письма Жане и делал из них наиболее интересные выписки для императрицы.

В начале ноября 1789 года французский дипломат писал в Париж:

«Если бы русские крестьяне, которые не имеют никакой собственности, которые все находятся в состоянии рабства, разорвали бы свои оковы, их первым движением было бы перебить дворянство, которое владеет всей землей...»

Агенты Жане подробно информировали его о настроении народных масс России, и в своем очередном

письме поверенный очень метко оценивал положение в стране:

«Народ громко жалуется на строгость и повторность рекрутских наборов, на дороговизну всех товаров, на хлебные цены,— писал он.— При таких обстоятельствах достаточно одной искры, чтобы направить все умы к возмущению...»

Екатерина понимала истинное положение дел и принимала меры к предотвращению возможных возмущений в стране. Она подтвердила старый указ о запрещении толков о делах, касающихся правительства, зорко следила за всеми вестями, идущими из-за границы.

Все же в столице жадно ловили слухи о революции во Франции. «Санкт-Петербургские ведомости» зачитывались. Скудные сведения, проникающие на газетные страницы, давали некоторое представление о том, что сейчас происходило в Париже.

13 июля 1789 года газета сообщала:

«Вчера всю ночь били набат в разных приходах, и весь народ волновался беспрестанно, а сего дня все лавки и казенные дома заперты, по всем улицам мечется чернь с оружием, и чем сие беспокойство окончится, единому богу известно».

На другой день по газетным сообщениям события приняли более грозный характер.

«Все оружейных мастеров лавки еще ночью были разломаны и стояли поутру уже пусты. Французская гвардия и некоторые другие войска, отложась от государя, вступили на службу мещанства,— сообщали «Санкт-Петербургские ведомости» и добавляли более волнующие сведения: — Мятежники, взяв Бастилию, освободили всех там содержащихся, из коих один сидел уже сорок лет. И, наконец, принялись разрушать стены Бастилии, которая работа и по сие время продолжается с величайшей поспешностью...»

Агенты тайной полиции доносили, что народ воспринимает эти сообщения благосклонно. Между тем наступил 1790 год, в мае сообщения Симолина стали еще тревожнее. Во Франции все быстрее развертывались революционные события, среди населения быстро росло влияние якобинцев. Екатерину угнетало признание русского посла в том, что революционный пожар грозит переброситься в соседние страны.

«Они не удовлетворятся тем, что привели Францию в состояние ужасной анархии, но стремятся уподобить

ей все королевства Европы»,— писал о якобинцах Симолин. Он просил царицу установить строгое наблюдение за французскими эмигрантами, прибывающими в Россию. Все более решительной становилась и революционная литература, пересылаемая послом из Парижа. Царица с ужасом просматривала ее. Это были пачки брошюр и памфлетов, направленных против короля, дворян и духовенства. Она боялась «революционной заразы» из Франции, но еще более трепетала при мысли, что Жане сообщал правду — среди русского народа продолжалось брожение. Несколько лет тому назад подавленное движение, поднятое Пугачевым, далеко не означало победу крепостников: то здесь, то там выведенные из терпения тиранством крепостные крестьяне восставали против помещиков, убивали их и жгли усадьбы.

«Разве возможно в такое время допустить беглых мужиков в городской отряд и дать им в руки оружие?» — с возмущением думала царица.

С нарастающей тревогой она продолжала следить за революционными событиями во Франции. Желая хоть немного забыться от тревог, Екатерина выбыла в Царское Село, где ее ждали различные сомнительные удовольствия. Однако и в тишине тенистых царскосельских парков ее преследовал призрак революции. И что мучительнее всего было для нее — среди придворных не было такого человека, который мог бы что-либо посоветовать. Царица металась по дворцу и не находила душевного покоя. Изредка она наезжала в Петербург, и в один из таких дней, 26 июня, Храповицкий молча положил перед ней книгу.

— Что это? — с недобрым предчувствием раздраженно спросила императрица.

— Сочинение неизвестного автора «Путешествие из Петербурга в Москву». В сей книге...

Учтивый статс-секретарь не закончил свою речь, глаза Екатерины сверкнули злобным огоньком. Она быстро поднялась с кресла и нервно заходила по кабинету.

— Выходит, и у нас якобинские писания появились! Кто пустил сию заразу? Вызвать обер-полицмейстера!

Храповицкий покинул кабинет, но взволнованная до крайности императрица долго еще не могла прикоснуться к развернутой книге. Взяв себя в руки, она, на-

хмурясь, принялась читать. Ее бросало то в жар, то в холод.

— Кто смел так дерзостно! Бунтовство! — время от времени восклицала она, отрываясь от книги.

Екатерина внимательно прочла первую главу и снова вызвала Храповицкого.

— В книге — невероятное! — багровея от негодования, с ненавистью сказала она.— Тут рассевание заразы французской, отвращение от начальства! Сии опасные мысли могут и у нас породить революцию! Обер-полицмейстер прибыл?

— Прибыл, ваше величество, и ждет вашего приема,— ответил статс-секретарь, склоняясь в глубоком поклоне.

— Пусть войдет! — резким голосом сказала царица.

В кабинет вошел бравый полковник и вытянулся в струнку. Императрица с презрением и гневом посмотрела на обер-полицмейстера и слегка поморщилась. В столице все знали этого весьма исполнительного, но тупого и ограниченного служаку, про глупость которого ходили сотни самых невероятных анекдотов. Сама государыня в припадке откровенности сказала однажды Храповицкому:

— Ежели полковые офицеры малый рассудок имеют, то от практики могут сделаться способными обер-полицмейстерами. Но здешний сам дурак, ему и практика не поможет.

Прищурившись, царица спросила обер-полицмейстера:

— Ты читал сию книжицу?

— Никак нет, ваше величество! — простецки ответил полковник.— Не имею склонности к чтению.

— А меж тем ты разрешил цензурою! Зачти это место! — Она раскрыла ему главу «Тверь» и показала на стихи.

Заикаясь от страха перед царицей, обер-полицмейстер взволнованно прочел:

> Но научил ты в род и роды,
> Как могут мстить себя народы:
> Ты Карла на суде казнил...

На широком лбу полковника выступил холодный пот. Он застыл в изумлении.

— Ведомо тебе, о чем тут написано? — спросила царица.

— Никак не понять, ваше величество,— искренним тоном сознался обер-полицмейстер.

— Как и сие непонятно тебе? — удивилась государыня тупости полковника.— Да то похвала Кромвелю, казнившему аглицкого короля. Что сие? Якобинство!

— Матушка государыня! — повалился в ноги обер-полицмейстер.— Будь милостива, пощади, от чистого сердца каюсь, не читал сей рукописи, а печатать разрешил. Думал, пустобайка одна...

— Дурак! — гневно выкрикнула императрица.

— Истинно так! — покорно признался обер-полицмейстер.— Накажите, но помилуйте!

Искреннее отчаяние ползающего на коленях служаки тронуло царицу, она вдруг улыбнулась и сказала:

— Пойди и узнай, кем и где написана сия книга.

— Будет исполнено, ваше величество! — быстро поднялся и снова вытянулся в струнку полковник.

3

В своем дневнике 26 июня Храповицкий записал: «Открывается подозрение на Радищева», а на другой день императрица приказала начать формальное следствие. Она с большим вниманием углубилась в чтение книги и на листиках аккуратным почерком тщательно занесла свои суждения о каждой главе. Внутри у нее все клокотало, но, сдерживая себя, Екатерина холодно, расчетливо делала резкие, полные злобы пометы. Царица должна была сознаться, что «Путешествие из Петербурга в Москву» написал умный и весьма образованный человек, но «намерение сей книги на каждом листе видно, сочинитель оной... ищет всячески и выищивает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа к негодованию против начальников и начальства»,— писала она.

Привыкшая к восхвалениям, к напыщенным одам, в которых воспевалось блаженство подвластного ей народа, сейчас она гневно порочила все добрые побуждения Радищева.

«Сочинитель ко злости склонен,— продолжала писать Екатерина.— ...подвиг же сочинителя, об заклад биться можно, по которому он ее написал, есть тот, для *чево вход не имеет в чертоги;* можно быть, что имел

когда ни на есть, а ныне не имея, быв с дурным и, следовательно, неблагодарным сердцем, подвизается пером».

Императрица клеветала на Радищева, стараясь придать своей клевете правдивый вид ссылкой на то, что труд автора появился якобы вследствие зависти к вельможам, имеющим доступ в царский дворец. В душе своей она все же сознавала, что это совсем не так. Екатерина понимала, что Радищев является убежденным врагом самодержавия. Из каждой строки его сочинения проступала жгучая ненависть к крепостному строю. Особенно разгневала царицу ода «Вольность», в которой звучал явный призыв к расправе с монархией.

«...ода совершенно явно и ясьно бунтовской, где царям грозится плахою! — возмущенно отметила императрица.— Кромвелев пример приведен с похвалою Сии страницы суть криминального намерения, совершенно бунтовскии, о сей оды спросить сочинителя, в каком смысле и кем сложена».

Да, ода «Вольность» не походила на слащавые оды придворных пиитов!

В главе «Медное» Екатерина увидела призыв к крепостным, поднимающий их на восстание. К этой странице она сделала свое заключение: «то есть надежду полагает на бунт от мужиков».

Скрывая истинное положение крепостных в России, царица с цинизмом заметила на странице сто сорок седьмой: «едит оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лутшее сюдбы наших крестьян у хорошова помещика нет по всей вселенной».

Главу за главой, страницу за страницей прочитала она книгу Радищева и на полях ее написала свои краткие, но злые замечания.

Закончив чтение, она вызвала Храповицкого. Он тихо вошел в кабинет и стал у стола в угодливой позе. Императрица долго не поднимала на статс-секретаря своего взора. Однако придворный по выражению лица Екатерины догадался об охватившем ее глубоком волнении.

— Что полицмейстер? — коротко, энергично спросила она.

— Он ведет со всем усердием полицейское дознание, ваше величество.

— Вели скорее кончать и передать все Шешковскому. Надо спешить.

Храповицкий понял, к чему клонится дело. Перед его глазами встала Тайная канцелярия и ее начальник Шешковский — подвижной старик с колючими, злыми глазами. Этот льстивый человек с елейными, сладкими речами в душе ненавидел всех и преданно служил только одной императрице, в знак верности которой он повесил в допросной на самом видном месте портрет ее с собственноручной надписью:

Сей портрет Ее Величества
Есть вклад верного ее пса
Степана Шешковского.

Весь Петербург, в том числе и Храповицкий, боялся этого садиста. Статс-секретарь дрогнувшим голосом спросил Екатерину:

— Будет исполнено, ваше величество. Неужто так страшен сей сочинитель? Кажись, он немощен и пребывает в бедности...

Императрица поднялась с кресла. Внимательно глядя на Храповицкого, она с негодованием сказала:

— Он бунтовщик, страшнее Пугачева! Возьмите! — протянула она книгу и свои пометы статс-секретарю и добавила: — Передайте, кому подобает!

Храповицкий принял врученное и с бьющимся сердцем покинул кабинет государыни. Он почувствовал, что судьба Радищева уже решена.

«Кнутобоец Шешковский не выпустит жертву из своих жестоких рук!» — со страхом подумал он.

4

Обер-полицмейстер рьяно занялся следствием. Он установил, что книга недавно продавалась в Гостином дворе, по Суконной линии, в магазине книгопродавца Герасима Зотова. Купца схватили и с пристрастием допросили. Бледный, перепуганный, он повинился:

— Верно, я продавал сию книжицу. Но, господин полковник, я по глупости своей не мог думать, что она противная правительству. Если изволите, ваша милость, взглянуть, то увидите, что на ней имеется помета цензуры Управы благочиния. Да и говорено мне, что вы сами изволили разрешить ее печатание...

— Цыц! — побагровев, прикрикнул на него обер-полицмейстер.— Не о том тебя спрашиваю! Сказывай, кто писал книгу?

— Батюшка мой, истинный бог, не ведаю о том! — упал на колени Зотов.

— Ну, коли не ведаешь, сгною в каземате до той поры, пока не откроешься! — пригрозил полковник.— Готовься, борода, на каторгу!

Книгопродавец понял, что с ним не шутят. После раздумья признался:

— Наши гостинодворцы и писаря Радищева сказывали, что книга-де эта печатана в его типографии.

— Радищева? Давно бы так! — одобрил полковник.— Теперь поведай мне, голубь, сколько у тебя было книг и кто купил их?

Герасим Зотов задумался. Обер-полицмейстер тем временем прикидывал:

«Втянуть продавца или освободить? Если привлечь, то, чего доброго, лишним словом напомнит, что я разрешил цензурой...»

Постепенно гостинодворец вспомнил и назвал фамилии некоторых покупателей. Полковник велел писцу записать адреса и послать полицейских отобрать книгу.

— А всего, барин, поручено мне было двадцать пять книг,— разъяснил Зотов.

— Молись богу, что по чистоте признался. Иди к прилавку да гляди в оба; другой раз на моей стезе больше не попадайся!

Перепуганный книгопродавец поторопился убраться из полицейского управления.

Обер-полицмейстер на этом не успокоился: он вызвал и допросил таможенных служащих, писарей и слуг Радищева. Было установлено, что надзиратель Царевский, обладавший красивым почерком, по просьбе Радищева переписал начисто рукопись «Путешествия из Петербурга в Москву», которое автором было закончено еще в декабре 1788 года. Другой таможенный служащий Мейснер отнес переписанную рукопись в Управу благочиния и, не объявляя фамилии сочинителя, сдал ее для цензуры. Тем временем Радищев, урезывая себя в самом необходимом, приобрел у типографа Шнора частично за наличные, частично в долг необходимое оборудование типографии. В ней и набирал сочинение таможенный досмотрщик Богомолов, а в том

ему помогали слуги писателя Давид Фролов и Петр Кутузов.

О собранных материалах обер-полицмейстер доложил Екатерине, и дело без задержки направили в Тайную канцелярию.

В июне Радищев с детьми и свояченицей Елизаветой Васильевной находился на даче. Все же до него дошли неблагоприятные слухи; от слуг он дознался о вызове их к обер-полицмейстеру и понял, что на него надвигается гроза. Как ни тяжело было, он собрал готовые экземпляры сочинения и сжег их. Это, однако, его не успокоило. С каждым часом душевная тревога усиливалась от сознания того, что будет с четырьмя детьми-сиротами, если вдруг его арестуют. Правда, Елизавета Васильевна опекала их, как родная мать. Но кто знает, как она воспримет столь жестокий удар судьбы?

Предчувствие Радищева оправдалось: 30 июня, когда над окрестностями пылал золотой закат, на дачу прикатила черная закрытая карета. Из нее вышли два бравых усатых унтера и, не обращая внимания на слезы Елизаветы Васильевны и плач детей, произвели тщательный обыск. Не найдя ничего подозрительного, они арестовали Александра Николаевича, увезли его в Петропавловскую крепость и заключили в сырой, холодный каземат с грузными каменными сводами. Было поздно. В узкую амбразуру, забранную железной решеткой, струилась скупая полоска белой ночи. Этот призрачный, скудный свет еще сильнее подчеркивал мрачность обстановки. Каменная темница походила на могилу, в которой гасли все звуки. Мысль о детях все сильнее и сильнее терзала Радищева. Однако, несмотря на внезапный тяжелый удар, он не впал в отчаяние. Стоя лицом к лицу перед Тайной канцелярией, узник решил держаться твердо.

Всю ночь он сидел в глубоком раздумье перед узкой полоской трепетного света и не заметил, как серебристое сияние сменилось розовым отсветом, а затем перешло в золотистое. Утром пришел конвоир, и заключенного по глухим коридорам отвели на допрос.

У дверей большой комнаты с низкими каменными сводами стояли часовые. За столом, покрытым зеленым сукном, сидел Степан Шешковский. Его пронзительные серые глаза впились в Радищева. Узника подвели к столу. Тихим, вкрадчивым голосом начальник Тайной канцелярии стал допрашивать.

— Безмерны сердечность и милости нашей всеславной государыни,— елейно начал Шешковский.— Неизреченна ее терпимость. Полагаясь на чувствительное сердце монархини, сказывай всю правду, и тем ты облегчишь свою участь!

Александр Николаевич поднял голову, посмотрел на палача.

— Я готов говорить истину и признáюсь охотно в превратностях моих мыслей, если меня в том убедят,— спокойно сказал он.

Рысьи глаза Шешковского сверкнули. Не изменяя слащавого тона, он снова спросил:

— Итак, ты взывал к мщению, поднимал на бунт холопов?

Радищев, глядя в колючие глаза, ответил:

— Я не имел намерения содействовать народному восстанию. Писано мною все ради славы сочинителя.

— Так, так,— шепеляво, ласково сказал Шешковский.— Кто сему поверит, ежели книга вышла без имени?

— Пытался уяснить, насколь гожусь я в сочинители.

— Врешь! — ударил кулаком по столу начальник Тайной канцелярии.— Говори правду! — Он поднялся с кресла и подошел к узнику.

Несмотря на старость, Шешковский обладал большой силой. Людская молва приписывала ему жестокую славу. Сказывали, что он страшным ударом в подбородок выбивал зубы, любил тешиться страданиями жертвы при пытке.

Он прошипел в лицо Радищева:

— Или пытки захотел?

Александр Николаевич не дрогнул и смело ответил:

— Душевные пытки страшнее телесных. Истинно говорю вам, что меня томила страсть повторить сочинителя Стерна. Читана мною с великим удовольствием книга оного «Сентиментальное путешествие».

— Так ли? — прищурив жесткие глаза, сказал Шешковский.— Ведомо мне, что твое писание не схоже с писанием господина Стерна. Не безвинное странствование затеяно тобою для сладостных размышлений и приятных воздыханий, а в сем «Путешествии из Петербурга в Москву» стремишься ты к другому, чтобы зажечь гнев против государыни! — Он снова вернулся к столу, уселся в кресло и выдвинул ящик. Из него он извлек знакомую книгу.— Вот она! Истинно

сказано: что написано пером, того не вырубишь топором!

Он перелистал книгу, внимательно всматриваясь в пометки, сделанные на полях царицей. Радищев не знал об этом и не обратил внимания на листики, стопкой лежащие на зеленом поле стола. Шешковский обласкал их рукой и, чувствуя за своей спиной государыню, резко вымолвил:

— А ода «Вольность» против кого направлена? Что скажешь в ответ?

— В сей оде имелись в виду худые цари Нерон и Калигула,— отозвался допрашиваемый и по зловещему шепоту начальника Тайной канцелярии догадался, что тот ему не верит.

Шешковский холодно и бездушно тянул допрос, стремясь только к одному: продлить терзания Радищева. На лбу заключенного выступил пот. Александр Николаевич понимал, что опытный и беспощадный кнутобоец Шешковский будет до последнего изматывать его душевные силы. Все же, чем больше домогался признаний страшный инквизитор, тем упорнее и решительнее становился Радищев.

— Не имел ли сообщников к произведению намерений, в сей книге изображенных? — допытывался Шешковский.

Радищев поднял большие выразительные глаза и отрицательно покачал головой.

— А мартинистом был? — упрямо спрашивал с бесстрастным лицом страшный старик.

Александр Николаевич не любил масонов, которых в Петербурге по фамилии одного из их руководителей — Сен-Мартена — называли мартинистами, и решительно ответил:

— Мартинистом не токмо никогда не был, но и мнение их осуждаю!

— Вот ты поведал мне, что цензор разрешил к печати твое писание, господин сочинитель,— с ядовитой улыбочкой продолжал мучитель.— А не прибавил ли чего-нибудь после цензуры?

Радищев с достоинством ответил:

— Менял некоторые речения для ясности слога. Сущность моего писания после цензуры не изменял.

— Так, так,— одобрительно кивнул Шешковский, и глаза его устало закрылись. Наступило молчание.

С минуту инквизитор сидел безмолвно и неподвижно, усиливая тоску заключенного.

Наконец он поднял веки и взглянул на книгу с пометками царицы. Екатерина знала об изменениях, произведенных автором после цензуры, но назвала их «бесдельством».

Выдержав многозначительную паузу, Шешковский величаво поднял голову и торжественно объявил:

— На сегодня будет! Увести его, и будем надеяться на неизреченную милость нашей премудрой государыни...

Радищева водворили в мрачный сырой каземат. Но только что он, обессиленный душевной пыткой, упал на постель и устало закрыл глаза, как его опять растормошили и повели к Шешковскому. И снова потянулся длинный, изнуряющий допрос.

Сгустились сумерки, служитель зажег свечи. И большое серое лицо кнутобойца стало еще угрюмее, а глаза зло поблескивали.

Шешковский заговорил:

— Сколь милостива наша мудрая государыня, и сколь низменно твое поведение! Будет ли принесено чистосердечное признание?

— Все мои намерения мною признаны,— сдержанно ответил Радищев.

Шешковский неумолимо смотрел в глаза узника. Александр Николаевич, бледный, усталый, неподвижно стоял перед столом. Молчание длилось долго. Облокотившись на стол, в расстегнутом мундире, с взлохмаченной головой, начальник Тайной канцелярии внимательно разглядывал свою жертву. Радищева то знобило, то бросало в жар,— начиналась лихорадка. Однако он мужественно выдержал этот страшный душевный поединок.

Шешковский придвинул листы и предложил:

— Изволь ответить на вопросные пункты! Сейчас! Эй, служивый, займись им!

Часовой отвел Радищева в камеру и остался в ней у двери. Александр Николаевич тщательно перечитал вопросные пункты, писанные четким почерком старательного канцеляриста. Хотя ужасно болела голова, он собрал все свои силы и волю и решил сопротивляться. Там, где невозможно было отрицать, он признавал правильность фактов, истолковывая их по-своему. Он

давал уклончивые, туманные ответы, сознательно уклоняясь в сторону от самого главного.

Вопросник спрашивал:

«Почему он охуждал состояние помещичьих крестьян, зная, что лучшей судьбы российских крестьян у хорошева помещика нигде нет?»

Радищев осторожно и умно отвечал:

«Охуждение мое было только на одно описанное тут происшествие, впрочем, я и сам уверен, что у хорошева помещика крестьяне благоденствуют больше, нежели где-либо, а писал сие из своей головы, чая, что между помещиками есть такие, можно сказать, уроды, которые, отступая от правил честности и благонравия, делают иногда такие предосудительные деяния, и сим своим писанием думал дурного сорта людей от таких гнусных поступков отвратить».

В каменном узилище тишина. Потрескивает свеча. Клонит ко сну. Но усатый унтер покашливает, напоминает о себе. Склонившись над бумагой, Радищев пишет по каждому разделу своей книги объяснение:

«Происшествие, в «Чудове» описанное, было в самом деле, и спящего систербецкого начальника сравнил с Субабом, дабы он устыдился».

«Происшествием, описанным в «Зайцове», я не убивство тщился и намерен был одобрить, но отвлечи жестокосердых от постыдных дел».

Строку за строкой писал он, а в душе его кипел гнев. Он хорошо понимал, что Шешковский по указанию царицы решил сломить его и физически и духовно. Они стремились побороть его ненависть к насилию и заставить примириться с рабством. Радищев не сдавался, уходил от прямых ответов.

Двадцать четвертый вопросный пункт гласил:

«Начиная с стр. 306 по 340 между рассуждениями о ценсуре помещены и сии слова: «Он был царь. *Скажите же, в чьей голове может быть больше несообразностей, естьли не в царской»*, то как вы об оных словах думаете?»

Александр Николаевич долго думал и, прикрываясь восхвалениями Екатерине, с горькой иронией писал:

«Признаюсь, что они весьма дерзновенны, но никак не разумел тут священныя ее императорского величества особы, а писал подлинно о царях известных по истории, которые ознаменованы в свете в прошедших веках, могу сказать, дурными поступками. Напротив же

сего, что я могу сказать о такой самодержице, которой удивляется свет, ее премудрому человеколюбивому правлению...»

Трое суток продолжался допрос и самые напряженные душевные истязания. Шешковский не давал сомкнуть глаз Радищеву, задавая много раз повторные вопросы и требуя новых ответов.

Чутьем догадывался опытный палач, что арестованный под простыми, смиренными словами таит неугасимую ненависть к царице...

Без конца тянулись тягостные дни. Не знал Александр Николаевич, что оставшаяся при детях сестра его покойной жены Елизавета Васильевна Рубановская собрала все свои скромные сбережения и семейные ценности и решила «подарками» воздействовать на Шешковского. Старый, преданный слуга Петр отнес их и поклонился в ноги начальнику Тайной канцелярии. Он слезно просил отпустить хозяина ради бедных сирот. При виде «подарков» Шешковский стал ласковым, заохал, закряхтел. Он потирал руки и огорченно жаловался:

— Ох, беда, ох, напасти... А помочь надо... Непременно надо...

Подойдя к слуге, он похлопал его по плечу:

— Вот что, милый, кланяйся от меня госпоже и скажи, что все идет хорошо, по справедливости. Пусть не беспокоится.

Доверчивый Петр поверил лихоимцу и, придя домой, стал успокаивать Елизавету Васильевну:

— Степан Иванович сдались, взирая на ваше горе. Кланяются и обещают!

Между тем время шло. Радищев по-прежнему сидел в одиночной камере, страдал от бессонницы и от неизвестности о детях. Шешковский продолжал его допрашивать, изматывая своими иезуитскими вопросами. В то же время он исправно получал от Елизаветы Васильевны гостинцы, зная, что судьба арестованного писателя фактически решена самой царицей. Однако для формы он задержал книгопродавца Зотова, которого изрядно припугнул. Видя, что купец не виноват, он нагнал на него страху и в конце концов выпустил из Петропавловской крепости, взяв с него предварительно подписку о молчании.

Чтобы хоть немного отвлечься от мрачных дум, Радищев попросил разрешить ему чтение книг. Шешков-

ский всегда прикидывался набожным и благочестивым человеком и поэтому разрешил арестованному читать только церковные книги. Радищев был рад и этому. Он засел за чтение повествования о жизни Филарета Милостивого. Тоскуя о семье, Александр Николаевич надумал переработать эту церковную историю на свой лад, незаметно внеся в нее факты из своей жизни. Он надеялся, что рукопись разрешат переслать детям, которые потом разобрались бы в тайном смысле писания отца. Однако упорный труд оказался напрасным — Шешковского невозможно было перехитрить. Он запретил пересылку семье написанной с таким трудом рукописи.

Снова пришла смертная тоска. Радищеву казалось, что он пробыл в заточении целую вечность, а на самом деле прошло всего две недели после ареста. Вскоре Екатерина указала Шешковскому считать следствие законченным...

5

13 июля императрица Екатерина дала санкт-петербургскому главнокомандующему графу Брюсу указ, в котором предопределила судьбу Радищева:

«Недавно издана здесь книга под названием «Путешествие из Петербурга в Москву», наполненная самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтоб произвесть в народе негодование противу начальников и начальства, наконец оскорбительными изражениями противу сана и власти царской...»

Дело писателя срочно направили в уголовную палату. Все сделали для того, чтобы Радищева осудили жестоко. Заседание палаты открылось чтением «опасной» книги. Из зала суда были удалены все посторонние, и даже секретарь суда уходил в то время, когда оглашалось «Путешествие из Петербурга в Москву».

Книга обсуждалась в отсутствие Радищева, который в это время страдал в сыром каменном мешке крепости. И лишь когда начались допросы, его в строгой тайне, в закрытой карете, привозили в здание уголовной палаты. Председатель дал особую инструкцию чиновнику,

который сопровождал узника. В ней указывалось: «При принятии и отправлении обратно Радищева соблюдайте всякую предосторожность, которую должно иметь со столь важным преступником...»

Александр Николаевич похудел, потемнел от раздумий, но перед судьями держался с большим достоинством. Ответы его отличались краткостью, четкостью. Своей невозмутимостью он раздражал судей.

Перед судилищем прошел ряд свидетелей: слуги Радищева, таможенный досмотрщик Богомолов, набиравший книгу. Все они искренне хотели облегчить участь писателя, но судьи были неумолимы. Они осудили Радищева как возмутителя и преступника, который покушался на жизнь царицы...

Но тут возникли большие трудности. Угодливым чиновникам хотелось осудить Радищева на смерть, однако встал вопрос: на основании каких законов можно учинить расправу? Они перечитали старинное «Уложение» царя Алексея Михайловича, составленное в 1649 году, и отыскали там статью, в которой говорилось:

«А которые воры чинят в людях смуту и затевают на многих людей своим воровским умыслом затейные дела, и таких воров за такое их воровство казнити смертию».

И этого судьям палаты показалось мало. Вспомнили о воинском уставе Петра I, карающем за бунт. Применили и эту статью...

24 июля Радищеву зачитали приговор. Бледный, с горящими глазами, он молча слушал. Председатель палаты, высокий упитанный старик, торжественно-четким голосом произносил слово за словом.

И когда он громко зачитал: «Лиша чинов и дворянства, подвергнуть смертной казни, а книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» отобрать у всех и истребить»,— Радищев не пошевелился. Он знал, что пощады от правительства не будет, и поэтому слушал приговор с гордо поднятой головой. Первой после заслушания приговора была мысль о завещании.

Его увели из зала суда. Когда отзвучали его гулкие шаги и закрылись массивные двери, председатель в страхе сказал:

— Это ужасно, господа! Он даже смерти не испугался. Теперь я очень счастлив, что книга будет уничтожена! Что бы произошло, если бы ее прочитали холопы? Боже мой, об этом страшно подумать!..

Однако смертный приговор подлежал еще утверждению. Времени оставалось мало, и в глухом крепостном застенке Радищев засел писать краткое завещание.

Обращаясь в нем к детям, он напомнил им, что великий смысл жизни каждого человека заключается в безоговорочном и честном выполнении долга перед народом и родиной. Об этом никогда не следует забывать! Он сердечно и тепло писал, что долг свой выполнил.

Медленно тянулась ночь, слабо потрескивало пламя свечи, скрипело гусиное перо. Александр Николаевич вспомнил слуг и написал о них, проявив заботу друга. Ласково и тепло он просил отца отпустить их на волю.

Скупой серый рассвет обозначился на стенах камеры, когда душевно измученный узник уснул на влажной охапке соломы. В углу попискивали крысы, но он не слышал, тревожно ворочаясь во сне...

Дело о Радищеве пошло в сенат. Сенаторы понимали, что в угоду царице следует потомить писателя. Они не торопились, тем более что стояла летняя пора и многие из них прохлаждались в своих загородных особняках и на дачах.

Наконец после долгого и напряженного ожидания 31 июля в сенате приступили к слушанию дела Радищева. В дремотной тишине сановники со скучающим видом заслушали протоколы допросов и решение уголовной палаты и стали писать постановление.

Они-то очень хорошо знали желание императрицы! Надо было проявить всю суровость и в то же время дать возможность Екатерине предстать перед общественностью снисходительной и милосердной монархиней.

Сенаторы утвердили приговор и добавили:

«По силе воинского устава 20 артикула отсечь голову».

Свое постановление они дополнили мнением, что можно и не отсекать голову Радищеву, а вместо этого отстегать его публично кнутом и в кандалах сослать в Нерчинск, на каторжные работы...

Сановники сумели найти больное место: публичное наказание кнутом для Радищева было бы мучительнее, чем казнь...

Свое решение сенат направил на утверждение государыне.

К этому времени прошло уже полтора месяца после решения уголовной палаты. На висках Радищева гуще

засеребрилась седина. Он часами неподвижно сидел, тяжело опустив на грудь голову. Самые противоречивые чувства терзали его.

«Неужели я один-одинешенек на белом свете против самого страшного крепостного тиранства! Неужели с моей смертью все забудется и погибнет! И народ не встанет против своих угнетателей?»

Но в то же время в его мужественной, несгибаемой душе поднимался горячий протест:

«Нет, я жил не напрасно! Мои слова дойдут до пламенных сердец, всколыхнут их! Потомки вспомнят обо мне!»

Между тем императрица умышленно стремилась продлить мучительное состояние пленника. Она передала все дело на рассмотрение императорского совета. Хитрая, не лишенная ума стареющая царица очень боялась суда потомства и поэтому старалась оградить себя и с этой стороны. Всю ответственность она старалась свалить на других. Угодливые вельможи — члены императорского совета — рассудили коротко: «Сочинитель сей книги, поступя в противность своей присяге и должности, заслуживает наказание, законами определенное».

После этого приговор поступил на окончательное утверждение Екатерины.

И снова потянулись страшные, изнурительные дни. Императрица две недели в Царском Селе предавалась забавам, стараясь забыть о Радищеве.

Наступили первые дни золотой осени. В дворцовом парке пожелтели листья, студеной стала прозрачная вода в глубоких прудах, на юг с криком тянулись перелетные птицы. Государыня с грустью вернулась в Санкт-Петербург и первым докладом заслушала сообщение о Радищеве.

Наконец-то пришло время показать всему свету ее «терпимость и снисходительность»!

Царица подписала указ с подробным перечислением обвинений Радищева, которые сама же тщательно отметила на полях книги «Путешествие из Петербурга в Москву».

Широковещательно оповещая сенат, что всегда следует своему правилу «соединять правосудие с милосердием», а также принимая во внимание общую радость по случаю заключения мира со Швецией, она соизволила начертать о Радищеве:

«Освобождаем его от лишения живота и повелеваем вместо того, отобрав у него чины, знаки, ордена св. Владимира и дворянское достоинство, сослать его в Сибирь, в Илимский острог, на десятилетнее безысходное пребывание...»

9 сентября Александра Николаевича Радищева доставили в губернское правление, объявили ему окончательный приговор и заковали в кандалы.

Ему не дали проститься ни с родными, ни со знакомыми. Одели в засаленную нагольную шубу, пропахшую махоркой и едким потом, и в тележке под охраной отправили в дальний путь.

6

Императрица Екатерина думала сломить мужество Радищева, но он, несмотря на все муки, держался стоически. В нагольной шубе, с кандалами на ногах тяжело было ехать в прохладные осенние ночи по Московскому тракту, который он так недавно ярко описал в своей книге. Правда, в Новгороде кибитку со ссыльным нагнал царский курьер, который привез «милостивый» указ Екатерины расковать арестанта. Однако Александру Николаевичу от этого не стало легче. Душевные муки его усилились, когда он получил весть о том, что его мать, узнав о судьбе сына, была сражена параличом.

Потянулась знаменитая Владимирка — каторжная дорога. Сколько по ней пришлось встретить арестантов, осужденных на ссылку и на каторгу! Горько было смотреть на несчастных! Осенний дождь хлестал их лица, в рваных сапогах они месили глубокую жидкую грязь. В пути Радищев не терял ни минуты. Он с жадностью присматривался ко всему новому — к свежим местам и людям. Вечерами, на ночлегах, он записывал все, что видел днем. Наблюдения его поражали своей глубиной и говорили о больших знаниях.

Из Нижнего Новгорода он писал Воронцову:

«Когда я стою на ночлеге, то могу читать; когда еду, стараюсь замечать положение долин, буераков, гор, рек; учусь в самом деле тому, что иногда читал о истории земли; песок, глина, камень — все привлекает мое внимание. Не поверите, может быть, что я с восхищением, переехав Оку, вскарабкался на крутую гору и увидел в расселинах оной следы морских раковин!»

Но не только геологическими изысканиями интересовался Радищев. Чем больше он удалялся от Москвы, тем полнее развертывалась перед ним подлинная жизнь отчизны. Он ехал по тем местам, по которым всего несколько лет назад прошла крестьянская армия Пугачева. Здесь все было полно рассказами о нем и надеждами на волю. Александр Николаевич прислушивался также к народному говору.

Тянулись навстречу полосатые столбы у разбитой, унылой дороги, которой, казалось, конца-краю не будет. Кругом простирались убранные поля, перелески, теряющие осенний пестрый наряд. Низкие клочковатые облака жались к порыжелым лугам с раскинутыми то здесь, то там стогами сена. Деревушки притаились тихие, убогие. Услышав звон колокольчика, иногда на дорогу выходил мужик в рваном полушубке. Завидя усатого унтера, быстро смахивал с головы треух и низко кланялся. Радищев печально, встревоженно думал:

«Неужели я был и остаюсь одинок со своими думами? Среди сих богатых просторов русской земли столько горя и нищеты, страшное рабство, и никто не мечтает сбросить оковы! — Но тут же успокаивал себя: — Не может быть! Не этот ли смиренный и покорный мужичок, который только что низко поклонился унтеру, недавно шел с Пугачевым, весь наполненный злобой и местью к лиходеям-помещикам? Кто же тогда сжег барскую усадьбу, которая виднеется в стороне большака? Остались одни каменные ворота с гербом. Безусловно, он, крепостной раб, тут показал себя, надеясь навечно избавиться от барского гнета! Народ, великий русский народ, когда пробудишься ты?»

Из-за пригорка показалось сельцо; подъезжая к нему, унтер крикнул:

— Вот тут и заночуем! Смеркается!

Остановились на постоялом дворе. Большая изба полна простого люда: были тут ямщики, мастеровые, калики перехожие. Бородатый хозяин двора отвел Радищеву и конвоирам горенку, отгороженную дощатой перегородкой. Сюда доносился глухой рокот из общей избы. Конвоиры наскоро поели и упросились на широкую теплую печь. Александр Николаевич долго сидел в раздумье, прислушивался к говору за стеной. Жаловался ямщик:

— Жизнь наша проклятая, всю ее проводишь в пути-дороге. А прибытки — известные. Дома семья голод-

ная. Иной раз так закипит на сердце, что поднял бы руку на барина. Все в оброк идет ему, ненасытному! Эх, сюда бы нам Емельяна Ивановича!

— Тишь-ко,— прошептал осторожный голос.— Тут-ко барин остановился со стражей, услышат!

— Жаль, эх, и жаль, что спокончили царицыны собаки с батюшкой! — тяжко вздохнув, вымолвил ямщик.

— Погоди сокрушаться,— перебил его уверенный басок.— Еще рано убиваться-то: ходит промеж народа слух — жив он!

— Это слушок, а где правда? Ему, слышь-ко, отрубили голову.

— Отрубили голову, да не ему. Казнили, да не его — даже никого из приближенных его не казнили. Подыскали, сказывают, человека из острожников, который пожелал умереть вместо него.

— Откуда тебе все это известно? — спросил взволнованно ямщик.

— Шерстобит я, всюду по весям хожу и мотаю на ус... И нашему брату мастеровому жизнь анафемская.

— Что и говорить! Одно счастье у крепостного, что у пахотника, что у мастерового! — согласился ямщик.— Так неужто жив наш сокол? — повеселевшим голосом спросил он.

— Жив! — убежденно ответил мастеровой.— Ноне Емельян Иванович в оренбургских степях скрывается. Ждет, слышь-ко, часа!..

— Ох, и доброе слово ты сказал, милый. Спасибо тебе! — облегченно вздохнул ямщик.— Умный человек он был, воин настоящий, за редкость такие: и храбрый, и проворный, и сильный — просто богатырь. Сказывали, один управлял целой батареей в двенадцать орудий: успевал он и заправлять, и наводить, и палить, и в тот самый момент приказы отдавал своим генералам и полковникам. Вот молодчина какой! Жаль, неграмотен только был!..

— Пустое,— решительно перебил мастеровой,— не только что русскую грамоту, но и немецкую знал. Вот как! Господа оклеветали его. Он, видишь ли, поперек горла им встал, солон показался; так из ненависти одной и навели на него эти наводы, чтобы унизить его. А он, правду сказать, куда был лют для них, не спускал им...

— Скажи-ка, дорогой, коли жив наш батюшка, когда же его час придет?

— Это мне не сказано, не говорено. Самим надо искать правду!

— И, милый, где найдешь ее — правду-то! — безнадежно отозвался новый крепкий голос.— Правда-то у господ и царицы-матушки за семью коваными дверями да замками упрятана! Раздобудешь ли ее?

— Эх вы, горюны! — вырвался веселый возглас.— Раздобыть надо самому, а не плакаться! — И не ожидая ответа, вдруг запел разудалую:

Эх, поломаю я решеточки
И сбегу-ко на завод, ко родителям,
А потом пойду к Емельянушке,
Ко большому атаманушке...

— Тишь-ко! Совсем сдурел, барин — рядом, а он петь такое! — прикрикнул на него решительно мастеровой.

Радищеву стало горько на душе. Он не утерпел, поднялся и распахнул дверь в общую избу. Лохматые головы разом повернулись в его сторону. Молоденький обветренный парень-запевала смело взглянул на Александра Николаевича.

— Что надо, барин? — дерзко спросил он.— Тут не твои дворовые.

Ямщики сидели за столом плотно друг к другу, хмуро разглядывая Радищева. Трещала лучина в светце. Радищеву хотелось сказать им: «Что вы закручинились? Нет Пугачева — другие достойные его явятся. Их родит само народное восстание!»

Однако он промолчал об этом и сказал только:

— Что же ты не поешь? Хорошая песня...

Чернявый парень тряхнул кудрями и ответил озорно:

— Песня-то хорошая, да не для господ!

— Погоди дерзить! — сказал вдруг плечистый ямщик и пристально взглянул на Александра Николаевича.— Кто такой, как прозываешься, барин?

— Радищев,— сдержанно отозвался тот.

Бородач раскрыл от изумления рот, протер глаза, словно не верил себе.

— Да не тот ли ты Радищев, что созывал в ополчение против шведов беглых да обездоленных? Обличье больно знакомое... Эх, Сенька, эх, парень, не ведаешь, что он за человек! Братцы,— не скрывая радости, опо-

вестил ямщик.— Да я сам в его батальон записался, но потом все прахом пошло. Царица-матушка велела беглых да крепостных вернуть помещикам. Садись с нами, Ляксандра Николаич! — радушно пригласил он и потеснился, чтобы дать место.

По избе прошло оживление,— на Радищева смотрели теперь доверчивые, радушные лица. Переменился и смуглый Сенька: он повел веселыми глазами и позвал:

— Айда, барин, садись рядком, потолкуем ладком!

Александр Николаевич уселся за стол. Словоохотливый ямщик продолжал:

— Гляди-ко, что деется: гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда. Эх, Ляксандра Николаич, вон она какая линия крепостным вышла, не дали, значит, нам самопалы в руки,— дворяне-то струсили...

Радищев сидел молча, а на душе стало светлее. «Значит, не угасло все! Нашлись уже люди, которые думают о том, о чем мечтал и я!» — взволнованно подумал он.

— Ты что ж, господин хороший, молчишь? — ласково спросил ямщик.— Конечно, всех нас где упомнить! А уж мы, кто в ополчении бывал, сразу тебя узнаем... Вот сидим и о горе толкуем, а как избыть его, и не знаем.

Александр Николаевич взглянул в сторону печи, на которой храпели конвоиры, и сказал спокойно:

— Избудете горе. Силу найдете свою!

— А что могучей всего, барин? — не утерпел и спросил Сенька.

— Сильнее всего, друзья, сила народная,— тихо ответил Радищев и снова смолк.

В этот миг от лучины оторвался раскаленный уголек и упал в бадейку с водой, зашипел. На мгновение в избе потемнело. Жарко дыша в лицо Александра Николаевича, ямщик прошептал:

— Вижу, милый, и тебе не в радость дорога!.. Эй, ты! — крикнул он парню.— Спой песню, да веселей!

— Погоди, не всё песни петь, на байку меня потянуло! — поблескивая жаркими глазами, отозвался Сенька.

— Байку так байку! Слово — оно как жемчуг, любо-дорого его низать,— одобрил бородач и ласково поглядел на Радищева.— Только сказка сказке рознь. Бывает она про попа да про попадью. А то вот еще старухи балакают ребятишкам: «жил да был», да «ку-

рочка яичко снесла», иль «несет меня лиса за темные леса»... Ты, брат, нам скажи по-сурьезному да со смыслом. Вот это будет сказка наша!

— Ну, коли так, слушай, братцы, я вам расскажу, как человек счастье искал. Жил у нас на селе кержак один, Кирюха Бабаха, годов шестидесяти, а крепкий старик. Борода косматая, как у лешего, а силищи — прорва! Весь век на заводчика робил, а нажил мозоли да избенку.

— Известное дело, сколько ни работай, а доля у мужика одна. Нашего горя и топоры не секут! — вставил ямщик.

— Верно! — согласился чернявый и продолжал: — Надумал старик счастье искать. И положил так, что найдет клад и заживет. И где только не копал этот неугомонный кержак! И чего только не находил он в своих кротовинах! Попадались ему и кости, и перстни, и глиняные кубышки с медяками, и со стрел наконечники, а потайного богатимого клада так и не приходило. Все поля да буераки изрыл незадачливый кладоискатель, и все ни к чему. Так, пустяк один! И долго он раздумывал над тем, как отыскать среди людей такое наговорное слово, чтобы богатство открылось, да никто не открывал заветного. Думал, прикидывал неудачник и по каким-то своим знакам уверовал в клад, который будто бы схоронен под его собственной избой. Раз надумал, тут уже и покоя не стало. Взял заступ и давай под избу ход вести, отыскивать клад. И день и два копал, кругом избушки поизрыл все, чуть самого не придавило срубом. И ничегошеньки. Сел он и заплакал. «И что теперь делать?» — думает. Откуда ни возьмись странник. Шел он своей дорогой, да и завернул к старику. Крепкий, статный, глаза умные.

«Ты чего плачешь, земляк?» — спрашивает.

«Да, вишь, горе-то у меня,— пожаловался старик.— Рыл-рыл землю, большую яму вырыл, клад искал, да пришлось засыпать все. Эх, милый, да не просто яму засыпал, а закопал в ней свою мечту о счастье, о свободной жизни!»

Странник пристально посмотрел на кержака и с укоризной покачал головой:

«Не туда силы свои расходовал! Не может один человек для себя счастье найти! Себялюбцы не обрящут его. Счастье надо всем народом искать! Только трудовым людям и дается оно!..»

Склонив голову, Радищев внимательно слушал мастерового. Подвижной и живой, он покорил Александра Николаевича своею сметливостью.

— Это верно, доброе слово поведал странник! — одобрил он.— Народ — великая и несокрушимая сила, он свое добудет... Ну, да ты человек умный и без меня знаешь, как дорогу к счастью найти! — многозначительно сказал Радищев и поднялся из-за стола.

На печке зашевелился унтер, ямщики поняли осторожность Александра Николаевича и смолкли. Потрескивала лучина, за печкой шуршали тараканы. Мастеровой подмигнул соседям и сказал устало:

— А что, мужики, не пора ли спать?

И все один за другим стали примащиваться на ночлег. Ушел к себе за перегородку и Радищев, но долго не мог уснуть. Услышанное встревожило и обрадовало его: значит, он не один: народ думает о том же, чем полна его душа!

7

Под Казанью Радищева встретила зима. Поля покрылись глубокими сияющими снегами, даже придорожные убогие деревеньки по-иному выглядели. Древний казанский кремль с его высокими башнями показался издали. На солнце сверкали главы многочисленных церквей. От всего веяло тишиной и покоем. Просто не верилось, что недавно здесь, под стенами города, кипели жаркие схватки. Пугачевцы сражались храбро, и правительственные войска были разбиты наголову. Казань лежала побежденной: велика народная сила! И если бы крестьянская армия повернула на Москву, тогда самодержавию пришлось бы плохо! Падение Казани ошеломило Екатерину, она понимала всю опасность, грозившую ей. В эти дни Радищев служил обер-аудитором у генерала Брюса, и ему довелось видеть, какой переполох вызвала победа Пугачева под Казанью. То и дело в Санкт-Петербург прибывали взволнованные курьеры, которые, не скрываясь, рассказывали о панике, охватившей дворян. Громы страшной грозы уже слышны были в Москве. Перепуганная царица поторопилась заключить с Турцией мир, чтобы перебросить освобожденные войска на внутреннего врага...

К счастью для помещичьей России, Пугачев не рискнул пойти прямо на Москву и тем в значительной степени проиграл дело.

Теперь Казань притихла. Даже на постоялом дворе люди держались молчаливо, опасаясь доносов вездесущих соглядатаев кнутобойца Шешковского. Комендант торопил Радищева покинуть город, и вскоре кони, запряженные в глубокие сани, вынесли на большую сибирскую дорогу. Путь лежал на Пермь, и проезжать пришлось через марийские, чувашские, татарские и русские деревушки, которые только-только успокоились. На перепутьях, у бродов ветшали рубленые городки-крепостцы с бревенчатыми стенами и башенками.

Здесь все дышало стариной и было новым для Александра Николаевича. Обо всем он вел записи, присматриваясь к народу.

По селам и деревням ходили тайные слухи о Пугачеве. Придавленные горем крепостные помнили о нем, ждали. И хотя за одно только упоминание имени Пугачева грозили самые суровые кары, в народе пелись о нем песни. На ночлеге в заброшенной прикамской деревушке Радищев услышал песню, полную большой грусти и сердечности. Укачивая ребенка, за пологом пела молодая крестьянка:

Емельян ты наш, родный батюшка!
На кого ты нас покинул?
Красное солнышко закатилось...
Как остались мы, сироты горемычны,
Некому за нас заступиться,
Крепку думушку за нас раздумать...

Унтер вдруг вспылил, распахнул полог и заорал:

— О чем поешь, дура? В Сибирь захотела, на каторгу!

Бесстрашными огромными глазами крестьянка с испитым желтым лицом посмотрела на унтера и сказала:

— Ну, хошь бы и в Сибирь! Гляди, жизнь-то какая, дите нечем накормить! — Она взглядом показала ему на тощую серую грудь и пожаловалась: — Молока-то и нет. И откуда ему быть, когда вторую неделю хлебушка не видели. Такая жизнь пострашней каторги!

Унтер крякнул, расправил усы. Он опустил полог и, выкрикнув больше для порядка: «Прекратить безобразие!» — вышел из избы.

«Даже ему совестно стало!» — подумал Александр Николаевич и прислушался к говору крестьянки за пологом.

— Ты не бойся его, не бойся, мой соколик! — уговаривала она тихо свое дитя.— Все страхи пройдем, а свое возьмем!

«С таким сильным, талантливым и мужественным народом Россия далеко пойдет!» — ободряясь, думал он.

Радищев с брезгливостью смотрел на мелкие плутни и взяточничество провинциального чиновничества. «И такие насекомые кормятся на здоровом народном теле!» — с ненавистью думал он.

Вот вдали показался и Урал! Суровый, хмурый край. Проезжая через горы и вековые леса Каменного Пояса, Радищев почувствовал необыкновенный прилив бодрости и сил. Ему не терпелось побывать на знаменитых демидовских заводах, о владельцах которых слухами были полны Петербург и Москва. На горном перевале перед его взором открылись наконец демидовские владения. Показывая кнутовищем на густые дымки заводов, ямщик сдержанно сказал:

— Вот оно, царство-государство господина Демидова. Ох, и тяжела его длань!

Но до заводов было еще далеко, и пришлось остановиться в густом лесу, в котором гулко раздавались стуки топоров. На вопрошающий взгляд Радищева ямщик пояснил:

— Демидовские курени, жигали тут уголь для заводов жгут! А сейчас лес рубят.

Вскоре показались и костры. Густой смолистый дым, клубясь, поднимался к небу. Потянуло к теплу. У костра, у которого остановились, топтались дровосеки, одетые в рвань. Возок остановился у огнища. Радищев сошел с саней. Усатый унтер держался поодаль, устроившись у другого костра.

— Здравствуйте,— обращаясь к мужикам, заговорил Радищев.

— Здорово, барин, если не шутишь! — хмуро ответил бородатый дровосек в рваном полушубке и стал ворошить сучья в костре. Смолистые сосновые ветки затрещали веселее.

Ямщик снял меховые рукавицы, захлопал ими и шумно засуетился:

— Эй вы, удальцы, потеснитесь, дайте проезжим погреться! Замерзли, экий мороз, до костей пронял!

— Мороз известный, уральский: он и крепит, и бодрит, и слезу выжимает! — Мужик повел плечами и уступил Радищеву место у огня.— Садись, господин, отогрей душу, небось к костям примерзла! — В его словах прозвучала нескрываемая ирония.

— А ты откуда знаешь, что у меня душа примерзла? — думая о своем душевном состоянии, спросил Александр Николаевич.

— По себе сужу, господин! — скупо улыбаясь, ответил углежог.— От хорошей жизни да от енотовой шубы совсем застыл,— показал он глазами на свою рвань.

— Аль худо живется? — участливо спросил его Александр Николаевич.

— Куда уж хуже! Мы — приписные, доля наша известная. Работы — прорва, а брюхо тощее, зато батогов да плетей вдоволь!

Ямщик покосился на жигаля и сказал:

— Однако ты смел! Гляди, вон там унтер сидит да поглядывает сюда.

— Смелости нас батюшка Емельян Иванович научил, а унтеров мы перевидали, когда каратели приходили на село! — Мужик поежился и сказал сердито: — Все едино плохой конец: дома женка с малыми детьми от бесхлебицы мрет, а сам я готов на осину!

Радищев понаслышке знал о приписных крестьянах, но никогда с ними не встречался и поэтому заинтересовался.

— Скажи, любезный,— обратился он к дровосеку,— велик ваш заработок от работы?

— Ух, как велик! — хрипло засмеялся мужик.— Животы подвело. Положено приписному за работу пятак в день, но кто его видел? Штрафы ды плети, пожалуйте, вволю! Эх, барин, горька наша жизнь! Ничего нет горше! — с тяжелым вздохом вырвалось у него.— Нам, дровосекам и жигалям, горько, а тем, кто на шахты попал, и того хуже. А куда пойдешь, кому пожалуешься? Мужик — тварь бессловесная. Кто ему поверит?

У соседнего костра поднялся унтер и, похлопывая руками, приблизился к Радищеву:

— Ну и морозец!

Дровосек замолчал, с беспокойством поглядывая

на Александра Николаевича; его сверлила беспокойная мысль: «Пожалуется барин аль нет?»

Однако проезжающий ни словом не обмолвился о дерзком рассуждении мужика. Унтер повертелся и снова удалился к другому костру. Радищев спросил лесоруба:

— А на деревне как живут?

— Какая там жизнь! — безнадежно махнул рукой мужик.— Земля отощала, скот вывелся, и навозу нет, оттого и грунт плох. Хлеба чахлые, до покрова еле-еле хватает, а потом кору гложем. Заела барщина, дыхнуть некогда!

Приписной помолчал, поскреб затылок и, понизив голос, спросил:

— Скажи, добрый человек, скоро воля будет?

Радищев покосился на унтера и ответил, глядя на раскаленные угли костра:

— Об этом не говорят вслух. Откуда ты слышал?

— Народ на Камень идет и всякое сказывает! — Он оглянулся и таинственно прошептал: — И опять-таки передают, что Емельян Иванович жив и собирается в наши края. Так ли?

Радищев промолчал. Он думал, как тяжела жизнь приписного. Однако, несмотря на все тяготы, неугасим дух народного протеста. Крепостное крестьянство ждет воли! Он поднялся от костра и пошел к возку. Дровосек поплелся за ним. И когда Радищев садился в сани, он поклонился ему и сказал:

— В добрый путь, господин. Вижу, совестливый человек, и скажу тебе, как на духу: ждем мы своего часа. Ох, и ждем! А коли придет он, ух, и размахнемся! Дадим простор своему сердцу! Будь здрав! — И удалился в лес, где стучали топоры.

Под крепким шагом унтера заскрипел снег, он тоже торопился забраться в сани, чтобы продолжать путь.

Проехали демидовский завод. Управляющий Любимов не пригласил опального в господские покои. Радищев ночевал вместе с ямщиком и унтером в полицейском доме. Одинокий и грустный, сидел он у окна и смотрел, как только что выпавший на его глазах чистый снежок становился черным от заводской копоти. На минуту мысленно Александр Николаевич представил себе глубокие сырые шахты рудников, в забоях которых, извиваясь червями, долбили кайлом породу забойщики. В этом кромешном аду страшно было работать. Да

не легче работалось и у домен. Демидовы умели выжимать силы из человека. Вон мимо окна прошли согбенные непосильным трудом мастеровые, только что покинувшие завод.

«Да, тяжела тут жизнь! — с грустью подумал Радищев.— И не удивительно, что мечта о воле среди работных жива и не угасает! Пройдут годы, и она разгорится в пламя!»

Утром Александр Николаевич снова забрался в сани, и опять по сторонам дороги пошли дремучие леса и заблестели высокие оснеженные горные хребты. А мысль погоняла сильнее:

«Прочь отсюда! Скорее подальше от демидовских заводов! Будь они прокляты!»

В Кунгуре Радищева ждала радость. На постоялом дворе, где довелось ему пережидать буран, к нему подошел худощавый, щупленький человек в старом камзоле и заговорил:

— Далеко ли едете, сударь?

— А не все ли равно! — безнадежно махнул рукою Александр Николаевич.

— Для меня не все равно,— спокойно глядя ему в глаза, сказал незнакомый человек.— Ежели в Сибирь, то у меня к вам покорнейшая просьба: передайте эстафету!

— Какую эстафету? Кому передать? — удивленно переспросил Радищев.

Человек в старом камзоле оглянулся и заговорил тихо:

— Не удивляйтесь и виду не подавайте! Зарок себе дал, для душевности. Без этого и жизнь не мила! Видите ли, каждого человека свое к земному существованию привязывает. Из Санкт-Петербурга через верные руки дошел ко мне один список. Запал он мне в сердце, и выучил я его, как господню молитву. Вот решил переписать и переслать его дальше! Об одном прошу, сударь: пока не отъедете две станции, не читайте сего списка! — Он протянул свернутую бумажку, и Радищев, не отдавая себе отчета, покорно скрыл ее и положил в карман.

— Кто же вы? — спросил его Александр Николаевич.

— Беспокойный русский человек,— просто ответил незнакомец.— А вы кто, сударь, осмелюсь спросить?

— Об этом надо подумать! — улыбаясь, ответил

Радищев.— Однако не бойтесь, вашу записку доставлю в надежные руки.

Они расстались.

Вскоре Урал остался позади. В заброшенной деревушке на отдыхе Александр Николаевич задумался. «В самом деле, кто же я?»

Надвигались сумерки; засветили лучину, и под ее легкое потрескивание изгнанник написал сокровенные, волнующие строки:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх
В острог Илимский еду!

И вдруг он вспомнил о списке, переданном ему в Кунгуре незнакомцем.

«Что же это я? Как не стыдно! В русском народе есть обычай: для облегчения души своей переписать молитву и переслать соседу. Ну-ка, посмотрим, что пересылает кунгурец?» — Он развернул тщательно свернутую бумажку и стал читать. Первые же строки сильно взволновали его. Он протер глаза, приблизился к светцу и дрожащими руками поднял листок.

Перед ним были строки его «Вольности».

Радищев читал, перечитывал, весь горел от несказанной радости.

Значит, написанное им не умерло! Оно живет в народе, передается от одного к другому в рукописи! Его читают, берегут и зажигаются святым пламенем мести к тиранам! Ах, какое неизреченное счастье!

На глазах Радищева выступили слезы. Он ехал на муки, на терзания, но снова стал по-прежнему смел, мужествен и внутренне дал себе клятву: никогда, ни при каких условиях не склонять головы пред тиранией. Стоит жить и бороться ради благородного и мужественного народа!

Глава шестая

1

В ставке командующего Дунайской армией Потемкина продолжалась веселая, безмятежная жизнь. С наступлением сумерек к ярко освещенному подъезду по-

минутно подкатывали блестящие кареты и открытые экипажи с восседавшими в них нарядными дамами. В приемной и залах слышались шорохи женского платья и струились запахи тонких духов. Всюду сверкали раззолоченные мундиры, ордена, ленты военных и темнели строгие фраки дипломатов. Демидову просто не верилось, что неподалеку от главной квартиры идут военные действия.

По приказу светлейшего русские войска осаждали турецкую крепость Килию и несколько месяцев стояли перед Измаилом. 18 октября 1790 года Килия сдалась генералу Гудовичу. Потемкин полагал, что вслед за этим будет взят Измаил. Но последний высился над Дунаем грозными бастионами и не думал сдаваться. Кончался четвертый год войны с турками, а решающей победы все не предвиделось. Союзники австрийцы изменили и заключили с Турцией сепаратный мир. Россия осталась одна лицом к лицу с врагом. Правда, к этому времени, 14 августа 1790 года, в Ревеле был заключен мир со Швецией, который оставлял неприкосновенными наши границы, но все же положение было шатким, так как Англия по-прежнему продолжала подстрекать соседей к нападению на русские рубежи. Понимая все это, Потемкин старался избежать недовольства императрицы затяжкой со взятием Измаила. Однако дело принимало неблагоприятный оборот. Всему миру было известно, что эта крепость являлась чудом инженерного искусства. Всего полтора десятка лет назад ее заново перестроил и укрепил французский инженер де Лафит-Клове. Мощные, толстые стены турецкой твердыни составляли обширный треугольник, примыкавший к Дунаю. Высокие земляные валы, глубокие рвы, около трехсот орудий и сорокатысячный гарнизон, добрую половину которого составляли головорезы спаги и янычары, делали Измаил недосягаемым. Ко всему этому отборным турецким войском командовал лучший полководец, сераскир Аудузлу-Мегмет-паша, умный и храбрый воин, поседевший в битвах.

Между тем приближалась промозглая осень с ее густыми туманами, делавшими Измаил невидимым и тем самым мешавшими военным действиям против крепости.

В один из пасмурных дней в ставку Потемкина прискакал гонец, который ошеломил его неприятной вестью. Генералы, стоявшие на Дунае, решили снять

осаду Измаила и отступить на зимние квартиры. Командующий рвал и метал. В этот день он не выходил из своих внутренних покоев. Мрачный, неумытый, взъерошенный, в распахнутом халате, Потемкин валялся на диване и грыз ногти. Гости в парадных залах притихли, все передвигались на носках. Капельмейстер Сарти сделал попытку начать концерт и уже постукивал палочкой по пюпитру, но тучный, неуклюжий Попов попросил его оставить неуместные затеи.

В полночь Демидова вызвали к светлейшему, и он продиктовал приказ Суворову на взятие Измаила. Ордер поспешно вручили гонцу, и тот поспешил в Бырлад, где в эти дни находился Александр Васильевич. Он давно томился бездействием и сильно взволновался, когда, вскрыв привезенный гонцом пакет, вместе с ордером нашел в нем собственноручное письмо Потемкина.

«Измаил остается гнездом неприятеля,— писал командующий Дунайской армией,— и хотя сообщение прервано чрез флотилию, но все он вяжет руки для предприятий дальних, моя надежда на бога и на Вашу храбрость, поспеши, мой милостивый друг. По моему ордеру к тебе присутствие там личное твое соединит все части. Много там разночинных генералов, а из того выходит всегда некоторый род сейма нерешительного. Рибас будет Вам во всем на пользу и по предприимчивости и усердию. Будешь доволен и Кутузовым; огляди все и распорядись и, помоляся богу, предпринимайте; есть слабые места, лишь бы дружно шли.

Вернейший друг и покорнейший слуга *князь Потемкин-Таврический*».

На приказ командующего Суворов коротко и энергично ответил:

«Получа повеление Вашей светлости, отправился я к стороне Измаила».

Однако к этому времени, не дождавшись распоряжения Потемкина, русские войска, изнуренные пронзительной осенней непогодой, болезнями, недостатком питания и снарядов, уже отступали к северу. Положение создалось тяжелое. Не веря более в успех и желая снять с себя ответственность в случае неудачи, светлейший снова написал Суворову:

«Получив известие об отступлении русских войск от Измаила, представляю Вам решить: продолжать или оставить предприятие на Измаил? Вы на месте.

Руки у Вас развязаны, и Вы, конечно, не упустите ничего, что способствует пользе службы и славе оружия».

Суворов не испугался ответственности, хотя понимал, что всю свою долголетнюю службу он ставит под удар. Блистательные победы его при Козлудже, Фокшанах и Рымнике могли быть вычеркнуты после одной только неудачи. Но во взятии Измаила заключалась честь русской армии, прочность русских границ на берегах Черного моря, поэтому Суворов, не колеблясь, ответил Потемкину:

«Без особого повеления Вашего безвременно отступать было бы постыдно. Ничего не обещаю. Гнев и милость божия в его провидении,— войско пылает усердием к службе...»

...В сопровождении вестового казака Суворов пустился в путь к Измаилу.

На заболоченную равнину опускались сырые сумерки, когда на проселке показался на казацкой лошаденке сутулый, укрытый походным плащом старик офицер с маленьким морщинистым лицом. Длинные седые волосы выбивались из-под его намокшей треуголки. Брызги жидкой грязи облепили высокие сапоги и полы плаща. В руках старик держал нагайку. Сгорбленный, малорослый, слегка склонив обветренное лицо, он ехал в задумчивости. У проселка подле костров отогревались солдаты; легкий говорок разносился по лагерному полю. Никто не обратил внимания на проезжего офицера. Он свернул к ближайшему огоньку и проворно соскочил с лошади. Легким шагом подходя к костру, он довольно потирал руки.

— Помилуй бог, как славно! И греет, и светит, и душу радует!

— И вовсе не радует, ваше благородие! — хмуро отозвался седоусый капрал. Он встал, за ним поднялись и его товарищи.— На душе будто наплевано. Морока одна! Позвольте узнать, с кем имеем честь? — Капрал почтительно вытянулся перед стариком.

— Гонцы, голубчик, с повелением из главной квартиры. Смотри, какие важные персоны! — с легкой насмешкой отозвался прибывший и присел на пенек.— Садитесь, братцы, небось устали? — участливо спросил он.

Капрал присел на корточки у костра, затянулся из глиняной трубочки и, прищурившись на огонек, отозвался:

— От безделья извелись совсем! Издавна говорится: глупый киснет, а умный все промыслит! — Капрал многозначительно посмотрел на старого офицера.

В ночной мгле перекликались часовые, неподалеку у коновязей фыркали кони. У костров маячили тени, солдаты под открытым небом укладывались на ночлег.

— Молодец, умно сказал! — согласился старик.— Откуда, служивый?

— Дальний! — словоохотливо ответил капрал.— С уральских краев. Дик наш край, а милее нет сердцу!

— Стало быть, голубчик, любишь свой край? — ласково спросил офицер в плаще.

— Помилуй, ваше благородие, человек без родины — что соловей без песни! — вдохновенно вымолвил служивый.

— Вот и я горжусь, что россиянин! — И, прищурив хитровато голубой глаз, офицер спросил: — Чему же ты не рад, герой? Ведь вы, сударики, на попятный двинулись, отступать надумали?

— Разве мы хотели этого? — сердито ответил капрал.— Нам велено не рассуждать! А радоваться нечему: дважды подступали к Измаилу и дважды отходим. Где это видано — топтаться без толку? Где про то сказано, что русскому да перед турком отступать? Эх-х! — недовольно махнул рукой седоусый капрал.

— Правда твоя, козырь! — одобрил старик.— А можно турка в Измаиле взять?

— Смелый там найдет, где робкий потеряет! — уверенно ответил воин и вдруг оживился.— Нам бы сюда командира, батюшку нашего Александра Васильевича Суворова, враз порешили б с супостатом! Он один на белом свете вывел бы нас на врага!

— Неужто так просто: враз — и бит враг. Выходит, счастлив Суворов,— с недоверием усмехнулся офицер.

Капрал обиделся и суровым голосом ответил:

— Счастье без ума — дырявая сума, ваше благородие! Худа та мышь, которая одну только лазейку знает. Суворовское око видит далеко, а ум — еще подальше! Да и сердцу нашему близок, родной он!

В полосу света вступил молодой казак-вестовой. Он загадочно посмотрел на старого офицера, ухмыльнулся и сказал задиристо:

— Эх, милый, про него только одни россказни идут!

Больно прост: щи да кашу ест, да разве это генералу к лицу?

— Ты, гляди, помалкивай, пока нашу душу не распалил! — гневно перебил казака другой солдат.— Суворов — он наш, от нашей, русской кости!

— Верно сказано! — поддержал капрал.— Дорожка его с нашим путем слилась. Он за русскую землю стоит, а на той земле — наш народ-труженик! Разумей про то, молодой да зеленый казак! — Он насмешливо посмотрел на румяное лицо вестового.

У старика горячим светом зажглись глаза. Он, не скрываясь, влюбленно всматривался в седоусого воина. Тот продолжал:

— С далекого Урала мы. Может, и слыхал про заводчиков Демидовых? Приписные мы его.

— Стало быть, пороли в свое время! — вставил, не унимаясь, казак.

— Не без этого,— согласился капрал.— Но то разумей: был Демидов и уйдет, а земле русской стоять отныне и до века! Не о себе пекусь — о потомстве, о славе русской. Прадеды и деды наши великими трудами своими выпестовали наше царство-государство. Наша земля и наши тут радости и горе. Ты не насмехайся над моей душой! — сердито сказал он, поднялся, пыхнул трубочкой и, оборотясь к офицеру, предложил: — И вы маетесь, ваше благородие! Не побалуетесь ли табачком? Крепок!

Старик проворно встал.

— Гляжу на тебя, голубь, а сам думаю: «Ну и молодец, ой, молодец!» Дай я тебя поцелую! — Офицер вплотную подошел к капралу и обнял его...

Внезапно в сосредоточенной тишине раздался говор, и в освещенный круг костра вошел усатый жилистый солдат. Он взглянул на целующихся, глаза его изумленно расширились, и весь он словно зажегся пламенем восторга.

— Батюшка Александр Васильевич, да какими судьбами к нам попали! Что вы, братцы, да это сам генерал-аншеф Суворов! — не сдерживаясь, выкрикнул он.

Старый офицер быстро обернулся и тоже засиял весь.

— Егоров, чудо-богатырь, ты ли? — радостно спросил он.

— Александр Васильевич, отец родной, да как же

нам без тебя! — весело отозвался служивый.— Где ты, там и мы! Сколько с врагами бились, а живы остались! Так уж положено, русский солдат бессмертен: его ни штыком, ни пулей, ни ядром не возьмешь.

Ночная пелена заколебалась от шума, из нее стали выступать оживленные солдатские лица. Капрал стоял, взволнованный неожиданной встречей.

Кругом сгрудилась оживленная толпа солдат и офицеров. Где-то затрещал барабан.

— Славно, ей-ей, хорошо! Веселая музыка! — смеясь, сказал Суворов и стал пробираться к лошади. Вспыхнуло громкоголосое «ура»...

Полководец легко взобрался в седло и, вскинув над головой старенькую треуголку, крикнул:

— Спасибо, чудо-богатыри! Рад, что встретился с такими орлами!

Он медленно тронулся среди ожившего лагеря. Навстречу ему из тьмы доносился глухой шум.

— Ребята, это суздальцы бегут! — сказал капрал, а у самого на глазах навернулись слезы.— Эх, и счастливые они, при нем долго были!

В могучем людском потоке Суворов медленно продвигался вперед, и у него самого сверкали слезы радости. Над равниной беспрерывно катилось «ура». На черном небе зажглись звезды. У костров началось сильное движение. Лагерь облетела быстрая весть: «Суворов прибыл! Суворов с нами!...»

2

Пришли фанагорийцы, апшеронцы и другие суворовские полки. Они шли стройными рядами, наигрывая на флейточках. В лагере среди солдат былого уныния не осталось и следа, теперь ни ветер, ни стужа не страшили их: Суворов озаботился, чтобы воин стал сыт, чист и бодр духом.

Установилась ясная, морозная погода. По дорогам беспрерывно тянулись тяжелые фуры, груженные провиантом для солдатской кухни. Офицеры не давали спуску интендантам, строго следя за доставкой фуража. Солдаты сменили заношенное белье, выглядели весело, бодро и шумно радовались подходу фанагорийцев, слегка ревнуя их к Суворову.

А он, все на той же лошади, чисто выбритый, в подпоясанной ремнем шинельке, в сопровождении небольшой свиты объехал стоявшие на бивуаке войска. Видя просветлевшие солдатские лица, полководец обращался то к одному, то к другому воину:

— Спасибо, чудо-богатыри, обогрели сердце! Тащи к котлу!

Он несколько раз сходил с лошади и подходил к ротному котлу, брал деревянную ложку и, подув на горячие щи, с аппетитом хлебал их.

— Помилуй бог, хороши. Наваристы! Давай, братцы, нажми! Щи да каша — пища наша. Понял? А, старый приятель, и ты тут! — узнал он капрала.

— Так точно, ваше сиятельство, капрал Иванов пятый! — с гордостью вытянулся служивый перед генерал-аншефом.

— Пятый? Гляди, что творится! — с деланно насмешливым лицом сказал Суворов.— А сколько вас?

— Да хватит, Александр Васильевич, чтобы Измаил взять! — твердо ответил капрал.

— Да ты со счета сбился! — перебил капрала солдат с обветренным лицом и черными усами.— Я вот Сидоров!

— Иванов, Сидоров, Петров, Федоров — все одно. Только название разное, а душевный сорт один — русские! — не сдавался капрал.

— Что ж, выходит, на турецкую крепость пойдем?

— Иначе нельзя, Александр Васильевич. Так повелось с Суворовым: только вперед, назад не выходит. На попятную — позор, стыд, маята!

— Так, так! — улыбаясь, приговаривал полководец.— Молодец, орел! С такими богатырями — назад! Никогда. Ну, капрал Иванов, за послугу не забуду, вспомню!

Не успел капрал опомниться, как Суворов был снова на коне и продвигался среди войск все дальше и дальше. Следом за ним по полю катилось громкое «ура».

— Эх, Сидоров, Сидоров-брат! — укоризненно покачал головой Иванов.— Чуть не подвел меня.

— Подведешь такого смышленого! — отозвался солдат.— Гляди, что с войском сотворил наш батюшка! Были на поле солдатишки, а войска не было. Явился родной наш — и войско стало!

— Эх ты, пермяк — соленые уши! — насмешливо

вздохнул капрал.— Разумей всегда так: сноп без перевясла — солома! Всему свету известно, что войско состоит из солдат, а то не всякому дано понять, что из солдат войско не каждый сможет сделать. Вот кто он, наш Суворов! — Светлая улыбка появилась на лице капрала...

На ранней заре 3 декабря сераскир Аудузлу-Мегмет-паша всполошился. Ему доложили, что под стенами Измаила снова появились русские. С тяжелой одышкой сераскир поднялся на крепостную башню и долго наблюдал за необычным зрелищем. Бодрые и неутомимые русские полки большим полукружием размещались в трех верстах от Измаила. На огромном пространстве синели дымки костров.

— Аллах, аллах, что стало с русскими? — возопил сераскир.— Ты ослепил их, защитник правоверных! У нас все есть, чтобы выстоять. Они не знают, что вскоре от густых туманов Измаил станет для них невидим!..

Аудузлу-Мегмет-паша с нетерпением ждал наступления густых осенних туманов, но Суворов решил опередить их.

В тщедушном, хилом теле полководца таилась неиссякаемая энергия. Днем и ночью он не покидал боевого поля. Всего на несколько часов он забирался в свою землянку, простую яму, разгороженную на́двое палаткой. Вместо двери служила камышовая циновка. Земляной пол был укрыт кукурузными снопами. За занавеской, на охапке сена, укрытой чистой простыней, Александр Васильевич засыпал на два-три часа. Задолго до рассвета он поднимался со своего убогого ложа. Денщик Прошка затапливал печурку и приносил таз с прохладной водой. Суворов под воркотню здоровенного Прошки умывался: денщик поливал ему грудь, плечи, голову холодной водой, и несколько минут за занавеской слышалось легкое взвизгивание, сопение и возгласы:

— Ах, Прошенька, еще капельку!.. Угодил, помилуй бог, как славно!..

— С тобой завсегда так, ровно малое дите! — хрипловатым голосом укорял Прошка. Он тщательно обтирал плечи Александра Васильевича и ворчал:

— Ступай, ступай к огню, обогрейся, ведь старенький совсем стал...

Суворов покорно садился на опрокинутое ведро, протягивал к печке худые, жилистые, чисто вымытые ноги и минуту-другую сладко жмурился на огонек.

— Помилуй бог, хорошо! — шепотом заканчивал он последнее слово. От тепла его сильно морило, и Александр Васильевич слегка задремывал. Опустив голову на плоскую грудь, он сидел затихший, худой и казался совсем беспомощным стариком.

— Ну-ну, не дремать! — тормошил Прошка, но Суворов уже открывал насмешливые глаза.

— А разве я дремал?

Денщик не отзывался. Важно надувшись, он подавал ему чистую рубаху и шерстяные онучи.

— Будем одеваться...

Спустя пять минут Суворов был уже в мундире, на шее — чистый платок, жидкие седые волосы аккуратно зачесаны, а впереди подвернуты хохолком.

— Давай плащ! — приказывал он денщику.

— В шинельку ноне одевайтесь. По годам и одежинка! — протестовал Прошка.

Надев шинельку, пристегнув шпагу, Суворов выходил под темный прохладный купол неба. Подмораживало, ярко сверкали звезды, но в лагере чувствовалось скрытое движение.

Суворов прислушивался к шорохам: сонливость и слабость словно рукой снимало. Он крестился на восток и говорил Прошке:

— Ну вот, встал и готов! Коня!

Недосыпавший шестидесятилетний старик бодро садился на коня и отправлялся на боевое поле.

Он с инженерами не раз объехал окрестности Измаила и неподалеку от осажденной крепости возвел ряд батарей, не дававших туркам покоя. Днем и ночью в оврагах вязались фашины и сооружались лестницы. В поле были насыпаны высокие валы и вырыты рвы, похожие на крепостные, и офицеры беспрестанно учили солдат искусству штурма.

...Только начало светать, а роты уж пошли на штурм учебного вала. Саперы спешили впереди и забрасывали ров фашинами. Капрал Иванов устремился вперед по фашиннику увлекая за собой пехотинцев, бежавших со штыками наперевес.

— Вперед, братцы, вперед! — закричал он во всю глотку и первым стал взбираться по приставленной

лестнице. За ним поспешили и другие. Подъем был крут, спорко осыпалась сырая земля, лестница трещала под сильными ногами. Оставалось совсем немного, вот-вот ухватиться бы за гребень, но сухие лесины разом хрястнули и переломились, а капрал, потеряв равновесие, покатился вниз.

В этот злополучный миг он мельком увидел Суворова. Александр Васильевич недвижимо высился на своем коньке, зорко разглядывая солдат. Рядом с ним на гнедой кобыле сидел коренастый румяный генерал

«И Кутузов с ним!» — сообразил Иванов, и на сердце стало больно от обиды.

Скатившись с вала, он быстро вскочил и, прихрамывая, снова полез вверх.

— Стой, стой! Ступай вниз! — закричал ротный офицер.— Ты убит!

— Врешь, ваше благородие! — заорал запальчиво капрал.— Упал, а не убит. Айда, голуби!

Впереди на верху переломанной лестницы мялся молоденький солдат, не зная, как добраться до верха вала.

— Ты полегче, становись на меня! Живо! Айда, Калуга! — подбодрил капрал и подставил свою могучую спину. Солдат проворно вскочил капралу на плечи и через секунду-другую, цепко ухватясь за дерн, был уже на валу. Он взмахнул прикладом, разя незримого врага, и закричал во всю мочь: «Ура!»

— Эка провора, давай другой! — распалился капрал и в четверть часа перекидал на вал своих товарищей. По лицу его градом катился пот, но он был доволен, когда и его подняли на гребень. От восторга он поднял каску и закричал на все поле:

— Вал за нами!

— Так, так! — одобрительно покачал головой Суворов.— Сообразителен. Не растерялся! Уменье везде найдет применение. Быстрота! Добрый воин один тысячи водит!

Кутузов улыбнулся, ласково взглянул на Суворова.

— Миша,— обратился вдруг к нему Александр Васильевич.— Ты этого капрала пришли ко мне. Понадобится!

К этому времени взвод скрылся за валом, а через минуту набежали новые ряды. Суворов легонько тронул повод и тихим шагом поехал, минуя заваленный фаши-

ной ров. Внезапно он вздрогнул, подтянулся и пришпорил коня.

— Гляди, Миша! — показал он рукой на выстроенную за валом роту.— Никак распекает?

Перед поручиком, вытянувшись в струнку, стоял весь красный капрал и смущенно выслушивал выговор.

— Убили, а на рожон лезешь! Где повиновение? — кричал офицер.

Завидев приближающихся генералов, поручик смолк и закончил тихо:

— Марш в строй!

Суворов неторопливо подъехал к роте. Ликующее «ура» встретило его появление. Он поднял руку. Водворилась тишина.

— Как надо бить врага? — спросил он у флангового.

Тот вышел из строя и ответил, как отрубил:

— Известно как, ваше сиятельство. Бей сатану, чтобы вовек не очнулся. Бить так добивать! На командира надейся, а сам не плошай!

— Так, так! Помилуй бог, хорошо сказано! — одобрил Суворов.— А ты, Иванов, жив или убит? — внезапно обратился он к капралу.

Служивый вышел из шеренги.

— Никак нет, ваше сиятельство, жив-здоров. Верно, упал! А упал, так целуй мать сыру землю да становись на ноги! Падением попадешь в корень, доберешься и до вершины.

— В хвасти нет сласти! — построжал Суворов.— А за проворство и честность хвалю. Продолжать учение! — приказал он поручику и поехал дальше, а за ним двинулся и генерал Кутузов.

Вечером капрала Иванова затребовали на главную полевую квартиру. Подле крохотной мазанки, куда только что перебрался командующий, тихо переговаривались ординарцы. Рядом у окон избушки застыли часовые. Капрал, отдав честь дежурному офицеру, доложил о себе. Отойдя в сторонку, он стал терпеливо ждать. Вскоре открылась дверь, и адъютант пригласил служивого войти.

Всегда невозмутимый и находчивый, на этот раз капрал заволновался. У него часто заколотилось сердце, душу наполнила торжественная мысль: «Шутка, снова

перед Суворовым придется речь держать. Ну, Иванов, не осрамись».

Тяжелым шагом он переступил порог горенки и замер у двери. В комнатке был низкий потолок, и капрал под ним показался себе махиной. «Ух, и вырос чертушка: ни в пень, ни в колоду!» — недовольно подумал он про себя и взглянул вперед. В углу, склонившись над столом, Суворов разглядывал карту. Рядом с ним сидел стройный, с приятным смуглым лицом молодой офицер. У служивого отлегло от сердца,— до того родным и простым показался ему полководец. И не страх, а радостное волнение охватило его.

Суворов оторвал от карты глаза и приветливо взглянул на капрала.

— А вот и он, смышленый! — радушно сказал он, кивком указывая офицеру на Иванова.

Александр Васильевич вышел из-за стола и приблизился к бравому капралу. Чисто выбритый, подтянутый, служивый и глазом не моргнул. Суворов с довольным видом оглядел его.

— Помилуй бог, силен, хват! Боязлив, трусоват?

— Стань овцой — живо волки найдутся! И еще, ваше сиятельство, так говорится в народе: смелому горох хлебать, а несмелому и редьки не видать.

— Взгляни, капитан, каков молодец! Краснословка, умная головка!

Офицер подошел к Иванову. Показывая на него, Суворов любовно сказал:

— Это господин капитан Карасев. Собрался он по делам в Измаил. Пойдешь с ним?

— Пойду! — не раздумывая, ответил капрал.

— Да ведь ты и говорить по-турецки не умеешь! — с улыбкой сказал Суворов.— Как поступишь?

— Так я ж в Измаиле буду глухонемой, а у глухо немых один язык везде — руки!

— Молодец! — похвалил Александр Васильевич капрала.— Видишь его? — показал он на офицера.— Береги его, слушай! Слово его — закон... Ну-ка, склони голову! Дай по-отцовски благословлю, на большое дело идешь. Вернешься ли, один бог знает! — Суворов построжал и перекрестил чело служивого.— Ну, в добрый час!

Капитан слегка поклонился генерал-аншефу и сказал капралу:

— Ну, братец, идем, поговорим о деле. Ночь хоть и осенняя, а для нас коротка!

Они вышли под звезды. Кругом стояла тишина. Где-то поблизости ржали кони. Капитан с капралом пошли к землянке, в которой им предстояло обдумать опасный поход в осажденную крепость.

3

Седьмого декабря 1790 года Суворов выслал к Бендерским воротам крепости трубача с письмом. Генерал-аншеф писал Аудузлу-Мегмет-паше:

«Сераскиру, старшинам и всему обществу. Я с войском сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи — воля, первые мои выстрелы — уже неволя, штурм — смерть».

Паша ответил только на другой день, предлагая заключить на десять дней перемирие. Если русские не согласятся на предложение, то турки будут драться до последнего дыхания. Вручая ответ, турецкий парламентер при этом заносчиво передал слова гордого сераскира: «Скорее Дунай остановится в своем течении, а небо упадет на землю, чем Измаил сдастся!»

Суворов разгадал замысел турок, который заключался в стремлении выгадать время до наступления зимних туманов, и отдал распоряжение готовиться к штурму.

В решающий момент, когда оставался только один выбор, Потемкин снова заколебался. Боясь неудачи, он послал Энгельгардта с письмом, в котором предупреждал Суворова «не отваживаться на приступ, если он не совершенно уверен в успехе».

Адъютанту давно мечталось увидеть Суворова. Он трогательно распрощался с Демидовым и поскакал по зимней дороге. Николай Никитич уныло посмотрел ему вслед и позавидовал. «И Суворова увидит и, чего доброго, орденок получит!» — подумал он.

После долгого и утомительного пути Энгельгардт прибыл в лагерь под Измаилом. В ночи на водах притихшего Дуная на обширном пространстве отражались многочисленные костры. Стояла тишина. Штабного офицера поразили бодрые, оживленные лица солдат.

Несмотря на прохладу, многие сидели у костров в одних чистых рубахах. При виде блестящего офицера они быстро поднимались и, смущенно опустив глаза, поясняли:

— Так что, ваше благородие, обиход свой к ночлегу справляем...

Энгельгардт впервые попал в действующие войска, и его удивил вид их; они отличались от столичных полков. Солдаты были острижены, чисты и мундиры их просты. Они чувствовали себя превосходно. Адъютанту вспомнилось, что еще совсем недавно солдаты носили косы, завивались и пудрились. Этим более всего возмущался Суворов. «Завиваться, пудриться, плесть косы — солдатское ли это дело? — горячо протестовал он.— У них камердинеров нет. На что солдату букли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал — и готов!»

Русские солдаты быстро оценили преимущества нового наряда: с уничтожением париков их навсегда избавили от головных болезней, от лишних и напрасных издержек для мазания пудреной головы. Они сочинили и распевали песню о солдатской прическе. Энгельгардт услышал ее неподалеку, у соседнего бивуачного костра.

Дай бог тому здоровье, кто выдумал сие,
Виват, виват, кто выдумал сие!..

Потемкинский адъютант поторопился на главную полевую квартиру. Он был полон радужных ожиданий в надежде увидеть самого Суворова и быть обласканным им. Ведь непременно обрадуется отмене штурма! В его годы и положении опасно ставить на карту свою славную репутацию!

Однако первый пыл Энгельгардта быстро прошел, когда он представился дежурному офицеру штаба. Тот без проволочки взял у гонца пакет и очень внимательно оглядел его пышный мундир с орденами. Прибывшему показалось, что по губам армейца скользнула презрительная улыбка.

Дежурный скрылся за дверью; Энгельгардт с удивлением разглядывал убогую и тесную хибару, в которой разместился суворовский штаб. Ему было непонятно,

как можно ютиться в этом более чем скромном обиталище.

Он осторожно присел на скамью, боясь испачкать и помять мундир. Поминутно оправляя ордена, он с нетерпением ждал, когда командующий примет его. За стеной глухо прозвучали часы. В углу приемной дремал забрызганный грязью ординарец. Дежурный все еще не возвращался.

Между тем офицер доложил генерал-аншефу о гонце и вручил письмо Потемкина. Суворов резким движением поднял голову и насмешливо спросил:

— Кто прибыл? Фазан?[1] Фу-фу!.. Не нужен танцор, шаркун... Погоди...

Он долго вертел в руках пакет, потом с хмурым видом вскрыл его и углубился в чтение. Чело Суворова еще более омрачилось.

— Что думает светлейший? Игрушка, бал, фейерверк? Нет, не быть сему! — резко вымолвил он и присел к столу. Он долго сидел над листом бумаги и думал.

Дежурный офицер молча наблюдал за ним, стараясь держаться в тени. Суворов долго безмолвствовал. Склонив на ладонь голову, он закрыл глаза и, казалось, уснул. Но Александр Васильевич не спал, в нем боролись противоречивые чувства. Сделать так, как надумал он, значит рассориться с Потемкиным. А иначе нельзя: долг перед родиной превыше всего! Он встрепенулся, взял перо и быстро написал:

«Мое намерение непременно. Два раза было российское войско у ворот Измаила,— стыдно будет, если в третий раз оно отступит, не войдя в него».

— Вручите! — сказал он дежурному, протянув ему пакет.— Сего фазана не могу видеть. Ныне — военный совет!..

Энгельгардту объяснили:

— Его сиятельство граф Суворов весьма заняты и сожалеют, что не могут принять лично. Впрочем, вот его ответ. Просьба доставить его светлости князю Потемкину...

Обескураженный учтивым ответом дежурного офицера, Энгельгардт понял, что все его надежды на внимание погибли, и он, не медля более, выбыл из полевой ставки Суворова.

---

[1] Так иронически называли столичных штабных офицеров.

4

Солдат Сидоров лежал в секрете в камышах на берегу Дуная. С темного звездного неба лилась прохлада, с речного простора подувал ветерок, и черные воды величаво разлились в тишине. Глядя на них, служивый вспомнил иную реку — Каму, суровую, в зеленых берегах, и синюю в летние полдни.

«У нас на Каме зима, стужа. Небось все укрылось под лебяжьим одеялом!» — со щемящей тоской подумал он, и перед ним ярко встал милый край: уральские увалы, хмурые хвойные леса и гремящие горные ручьи. Ничего нет краше родного края! Глядя на синие звезды, часовой размечтался. Вот ковш Большой Медведицы низко склонился над Дунаем и готов зачерпнуть с зеркальных вод пригоршню золотого проса, рассыпанного с неба Млечным Путем. Рядом, словно старец, припал к воде столетний вяз с седыми гибкими ветвями. В омуте блеснула большая рыба. Нет, это не рыба!

— Стой, кто плывет? — вскинув кремневку, окрикнул часовой.

Ныряя, тихо плескаясь, по реке плыли две головы рядом, пробираясь к берегу. Следом за ними торопилась юркая утлая лодка. Как тени, скользили пловцы. Ветерок донес приглушенный турецкий говорок. Сидоров снова закричал:

— Стой, басурмане, стрелять буду!

В ответ на окрик с лодки раздались выстрелы. Пули чмокнули по тугой дунайской волне подле плывущих голов. Солдат не выжидал, ударил по преследующим из кремневки. Турки всполошились, закричали, взбурлили веслом воду, и челн стало сносить в сторону, в кромешную тьму.

У русского берега, шатаясь, в камышах поднялся лишь один. Сгибаясь, он волочил по воде расслабленное тело товарища. Беглецы выбрались на сухую кромку. На выстрел прибежали с заставы, и снова вспыхнула перестрелка.

Сидоров поспешил к беглецам. Широкоплечий, коренастый перебежчик, одетый в широкие турецкие шаровары и синий жилет, склонившись над товарищем, тормошил его. Солдат услышал стон и родные русские слова:

Оставьте, ваше благородие, поспешите! Там ждут. Дорога́ минутка!

«Свои! Откуда бог принес?» — быстро сообразил часовой и для порядка окрикнул:

— Кто такие? Пропуск?

— Россия! — энергично ответил коренастый.— Ну-ка, иди сюда, братец! Кликни своих, помочь надо. У самого берега пуля настигла. Мне спешить надо...

С поста прибежали с факелами и осветили бледное лицо лежащего на земле. Он потянулся, открыл глаза:

— Свои... Братцы... Умираю...

— Иванов, да это ты! — вдруг отчаянно выкрикнул часовой и опустился возле раненого на колени.— шь ты, где довелось встретиться!

Капрал понатужился, пытаясь приподняться.

— Пермяк, Сидоров... ты... Приподними, братец, дай взглянуть на вас! Ох-х! — Он глубоко вздохнул и жалобно улыбнулся: — Вишь, где смерть настигла...

Капрал перевел дух и глазами указал на грудь.

— Тут ладанка. Достань ее... Там уральская землица. Оттуда на сердце положи!

— Да ты что, никак и впрямь умирать собрался! — попробовал ободрить товарища солдат.

— Не собирался, да, чую, не отпустит! — тихо ответил капрал.— Слышу, вот она тут, за плечами, стоит, моя смертушка... А там в ладанке еще и рубль, даренный самим Александром Васильевичем, так вы его... храните... Святая память...

Капрал ослабел, закрыл глаза.

— Эх, Иванов, Иванов, как же ты! — огорченно вздохнул солдат.

Умирающий не отозвался. Он потянулся, вздохнул, и глубокая тишина сковала солдат.

— Упокой, господи, душу воина! — истово перекрестились солдаты.— Надо почтить тело...

Сидоров вырыл могилу. Старого капрала уложили в последнее прибежище, а на сердце ему присыпали из ладанки уральской землицы. Пригоршню ее солдат поднес к лицу и жадно вдохнул ее терпкий запах.

— Эх, хороша! Сочна, мягка, плодовита! Видать, до отказа мужицким по́том полита. Прильни, родная, к верному сердцу, прими его последнее тепло и силушку! Веселее ему будет лежать укрытому этой маленькой, да горячей горсточкой. Русскому сердцу мало надо

тепла — оно само горячее и доброе! — тихо сказал солдат и низко склонил голову, а по изрезанной морщинами и обветренной чужими ветрами щеке катилась непрошеная слеза...

В этот час Александр Васильевич Суворов принял капитана Карасева. Он молча выслушал донесение.

— Так, так... Молодец солдат... Дознался, где слабее всего... Иванов пятый! Помилуй бог, подать сюда храбреца!

— Его нет больше, ваше сиятельство! — тихо сказал капитан, и руки его задрожали.

Суворов замолчал. Строгий и безмолвный, он стоял с минуту с потемневшими глазами.

— Вот истинный сын отечества... Спасибо...

Полководец устало опустился на скамью и задумался. Капитан тихо вышел из горницы...

5

Суворов тщательно изучил расположение крепости и данные разведки. В последние дни он под огнем врага совершал длительные поездки на рекогносцировку, проверяя все на месте. Заметив назойливого старика, разъезжавшего на казачьей лошаденке перед крепостью, турки пытались его обстреливать. Суворов со смешком поглядывал на сопровождавшего ординарца, который поминутно «кланялся».

— Уедемте подальше, ваше сиятельство, не ровен час! — просил ординарец.

— Что ты, помилуй бог! — спокойно отвечал генерал-аншеф.— Ведай, не всякая пуля по кости, глядишь — иная в кусты. Пуля — дура, штык — молодец!

Понемногу выстрелы прекратились. Александр Васильевич улыбнулся.

— Ишь, кончили! Решили басурмане, не сто́ит палить по старичку. Галанты, помилуй бог!

До позднего вечера он пробыл на берегу Дуная. Стало ясно, что ожидаемые трудности далеко превосходят все предположения, имевшиеся на этот счет. С приходом суворовских полков русская армия состояла из тридцати тысяч воинов. Значительную часть составляли казаки, непривычные к пешему бою. Не хватало

пушек и снарядов. И все-таки вопрос был решен. Предстояло установить, откуда направить главный удар.

«Капитан прав! — одобрил Суворов.— На Дунае турки не ждут удара, и укрепления посему менее значительны. Сюда и бить!»

В голове его созрел простой и ясный план. Предстояло вынудить турок рассеять свои силы по всему крепостному валу. Для этого надлежало направить колонны для равномерной атаки по всему фронту. Турки именно этого и ждали.

«Ждите! Это нам и надо!» — улыбнулся тайной мысли Суворов.

9 декабря в тесной хибаре командующего состоялся военный совет. В густой тьме, освещая дорогу факелами, к домику подъезжали генералы. Они неторопливо проходили в тесную горницу и молчаливо устраивались за столом. Подошли генерал-поручики Самойлов и Потемкин — дальний родственник светлейшего, появились бригадиры Орлов, Вестфален и Платов. С усталым видом к столу проковылял Рибас. И вот наконец появился генерал-майор Кутузов. При виде его Суворов просиял.

Генерал-аншеф в полной парадной форме и при орденах стоял у стола. Держался он прямо, бодро, каждого встречал пытливым взглядом и на поклоны входивших отвечал учтиво.

Дверь плотно закрыли. В комнатке стало тесно, душно. На круглом лице Платова выступил пот. Он молча сидел в углу, влюбленно поглядывая на Суворова. Лихой наездник и рубака, он был скор на руку, но терялся в обществе и вовсе становился беспомощным, когда приходилось вести речь.

Суворов обежал взором генералов и прямо приступил к делу.

— Господа, два раза русские подходили к Измаилу,— ровным, твердым голосом сказал он,— и два раза отступали; теперь, в третий раз, остается нам либо взять город, либо умереть. Правда, что затруднения велики: крепость сильна, гарнизон — целая армия, но ничто не устоит против русского оружия. Мы сильны и уверены в себе... Я решился овладеть этой крепостью или погибнуть под ее стенами! — Он поднял голову и в упор спросил: — Господа, ваше мнение?

Платов был младше всех, и ему первому приходи-

лось высказать свое мнение. Атаман прокашлялся и сказал резко и внушительно:

— Штурм!

Генералы переглянулись и один за другим повторили:

— Штурм!

— Благодарю, господа! — спокойно сказал Суворов и предложил: — Прошу ознакомиться с диспозицией и быть готовыми.

Намечалось разбить атакующих на три отряда, по три колонны в каждом. Начальники колонн и отрядов получили свое направление. Впереди шли стрелки, обстреливая турок, за ними — саперы с шанцевым инструментом, потом батальоны с фашинами и лестницами. Позади — резерв из двух батальонов. Каждый хорошо понял, что предстояло делать, но самое решающее знал только Суворов. Никому он не сказал о береговых крепостных стенах Измаила. Расставаясь, он перецеловал всех и взволнованно напутствовал:

— Один день — богу молиться, другой — учиться, в третий — боже господи! — в знатные попадем: славная смерть или победа!..

6

Весь день 10 декабря неумолчно грохотала канонада. Шестьсот орудий из русских батарей били по крепости. Прислушиваясь к их грому, солдат Сидоров ликовал:

— Слушай, соколы, ай, любо! Слышишь, как наша уральская бабушка Терентьевна ревет? Гляди, в какую ярость пришла! — озаряясь радостью, показывал он на гаубицу, извергавшую огонь.— Ах ты, моя любушка-голубушка!..

День стоял серенький, скучный, от орудийных залпов дрожала земля, поднимались столбы пыли. Над Измаилом курчавились дымки: турецкая артиллерия ожесточенно отвечала. В русском бивуаке то тут, то там вздымались к хмурому небу вихри черной земли, разбитые бревна, хворост, обломки повозок. Сидоров недовольно покрутил головой.

— Это их турецкая султанша рыкает: что ни гости-

нец, то пятнадцать пудов! Крепко плюется, паршивая. Прижимайся к земле, братцы!

Солдаты стойко переносили обстрел. На душе Сидорова было озорное, бодрящее чувство, с каждым залпом росла уверенность в своих силах. Во всем своем крепко сбитом теле он ощущал желание размяться, лихо схватиться с врагом. Солдаты с лицами, запорошенными землей, подшучивали друг над другом, делились вестями.

— А про то слышали, земляки, в крепости засел брательник крымского хана Каплан-Гирей, а при нем шесть сыновей, один другого ловчее? — сказал конопатый солдат.

— Вот то-то и любо! Не с сопляками драться, а с богатырями! — откликнулся Сидоров.— Ну и будет им конец!

— Слышали, земляки, что́ батюшка Суворов сераскиру молвил: в двадцать четыре часа ставь белый флаг? Не поставишь — пеняй, басурман, на себя: крепости — разрушение, а вам всем — уничтожение!

— Откуда ты только все знаешь? — добродушно проворчал Сидоров.

— Мы-то всё ведаем,— ответил конопатый солдат.— Известно, мы из Шуи, а шуяне беса в солдаты продали. Наш плут хоть кого впряжет в хомут, вот и заставил вертячего беса служить да вести носить.

— Балагур-солдат! — отозвался Сидоров и вздохнул, взглянув на широкую реку.— Эх, Дунай Иванович, голубой да золотой. По Волге долго плыть, а ты широк, да перемахнуть надо!.. Не закурить ли нам, служивые? — Пермяк добыл кисет, набил трубочку крепким табаком, прикурил. Крутые витки дыма потянулись над ложементом. Трубка заходила по рукам.

— А что я вам, братцы, расскажу! — размеренно-спокойным тоном начал Сидоров, но тут раздался волевой голос капрала:

— Брось дымить! Гляди, сам батюшка Суворов к нам жалует!

И впрямь, издалека донеслась команда, впереди быстро строились, выпрямлялись в линию полки. Вдоль фрунта медленно шел Суворов с немногочисленной свитой. Генерал-аншеф был в темно-синем мундире со звездой и при шпаге. Он часто останавливался и пыт-

ливо всматривался в лица солдат. Сидоров молодецки выпятил грудь, застыл, пожирая глазами полководца. Рядом расположился Фанагорийский полк, и фанагорийцы с великим подъемом подхватили налетевшее «ура». Помолодевший, посвежевший Суворов задорно шутил. Пермяк слышал, как он запросто здоровался с ветеранами, слегка подтрунивал и ободрял молодых солдат.

— Егоров, ты опять тут! — весело вскричал Александр Васильевич, встречаясь взором со старым воином.— Помилуй бог, был при Козлудже, при Кинбурне сражался, под Очаковом дрался, при Фокшанах опять вместе врага били и при Рымнике супостату морду искровянили, а ныне под Измаилом снова здорóво!

— Что ж поделать, Александр Васильевич, когда мы с тобой два сапога пара. Куда ты, туда и я. Без нас и войско не войско! — с дружелюбным смешком отозвался седоусый ветеран. Суворов и все солдаты засмеялись.

Генерал-аншеф прошел несколько шагов и увидел пермяка, любовно глядевшего ему в лицо.

— Помилуй бог, сколь много ныне знакомых на каждом шагу! — вскричал он.— Здорóво, Сидоров! Слушай, пермяк, ты не лживка и не ленивка, а скажи-ка ты по чести: доберешься до Измаила?

— С нами правда и Суворов! Всю землю пройдем, а свое найдем! — уверенно и задорно ответил солдат.

— Ох, врешь, пермяк — соленые уши! — пошутил Суворов.— Насквозь вижу тебя. Ты и без меня доберешься и от врагов отобьешься!

— Уж коли на то пошло, от солдатской души скажу, Александр Васильевич: били и бить будем!

— Помилуй бог, молодец, не зевай! В добрый час! — Суворов дружески подмигнул Сидорову и пошел дальше.

Солдат вдруг заморгал глазами, на ресницах блеснули слезы. Он с досадой незаметно смахнул их и счастливо поглядел на товарищей:

— Гляди, милые, все упомнил: и как звать и что пермский! Эх, Александра Васильевич, Александра Васильевич, одной веревочкой нас судьба связала; не томись, за честь нашу постоим...

Медленно шла ночь, темная, долгая и холодная, но никто не спал. Солдаты тихо переговаривались.

И каждый вспоминал родину, близких, и у всех нашлось доброе, ласковое слово для товарища. Ждали ракеты, и каждый шорох настораживал.

Один за другим погасли костры. Настала тишина.

«Теперь недолго до рассвета,— с грустью подумал Сидоров.— Огни притушены, и турки думают, что мы спим, а русские солдаты не заснули, ждут. Эх, други, свидимся ли после похода? Чую, отпразднуем...»

Утих ветер, Дунай не шелохнется.

Суворов вернулся в свою палатку и прилег на охапке сена. Он ушел в себя, сосредоточился. Глубокие морщины проборОздили чело. Неподалеку на походном столике лежало нераспечатанным письмо австрийского императора. За порогом покашливал и ворчал на кого-то денщик Прошка. В обозе пронзительно прокричал петух. Суворов открыл глаза, отбросил старую шинель, которой покрывался, взглянул на старинный брегет: было без пяти минут три.

«Скоро подниматься!» — подумал он и, привстав на постели, прислушался. После целого дня канонады тишина казалась особенно глубокой. Тягостно тянулось время. Он пролежал еще с полчаса и быстро вскочил.

— Прошка! — позвал он денщика.

Умывшись холодной водой, освежив под струей голову, Суворов быстро надел свежее белье, натянул шерстяную фуфайку и обрядился в мундир. Он вышел из палатки при всех орденах и регалиях, легко сел на дончака и рысцой тронулся по дороге. За ним поспешили штабные.

В густой тьме весь лагерь бесшумно двигался. Батальоны строились в ряды, по дорогам неслышно катились пушки и обозные фуры. Во всем чувствовался слаженный ритм. Суворов подъехал к войску, шедшему на марше к исходному положению. Изредка среди полной тишины вырывалась крылатая фраза, раздавался искренний смех: Суворов, по обыкновению, подбадривал солдат острым словом...

Войско построилось в ста саженях от крепости. Полководец въехал на холм, расположенный против Бендерских ворот. Его темный силуэт виднелся среди равнины. Взвилась третья ракета, и одновременно с этим крепость опоясалась огнем. Турки знали от перебежчиков о штурме и встретили штурмующих залпами артиллерии. Заговорили и русские батареи. В секунды,

когда стихал гром батарей, слышался треск барабанов и доносились звуки горна. Небо заволокло бегущими облаками, и над Дунаем потянулся легкий седой туман. Сидоров, вместе с товарищами, стремительным махом бежал к широкому рву. Там уже слышался треск фашинника и шум передвигаемых лестниц. Впереди стреляли русские стрелки, облегчая наступающим колоннам путь. Над головами солдат с визгом проносились ядра.

— У-р-ра! — во всю мочь закричал Сидоров и, на мгновение оглянувшись, увидел на холме полководца, размахивавшего треуголкой. Солдату показалось, что Суворов ободряет его. Увлеченный общим подъемом, он с криком перебежал по хрупкому фашиннику ров и устремился к валу. Помогая штыком, он полез вверх. Над ним молниями сверкали линии вспыхивающих залпов. По скату падали сверженные. Раскаты «ура» смешались с пронзительными криками «алла». Земля и вал вздрагивали от орудийной канонады, пороховой дым клубился над равниной.

Впереди Сидорова, размахивая шпагой, по откосу взбирался капитан Карасев. Он первым оказался на гребне и закричал с бастиона со страстной силой:

— Сюда, соколики, сюда! Грудью, братцы! В штыки, в бой! Прикладом бей! Ур-ра!

Откуда-то из укрытия выбежала турчанка с котлом кипящей смолы. Она выла от злости, в ярости подняла чугун, чтобы опрокинуть вниз, но Сидоров не ждал, размахнулся и саданул прикладом по чертову вареву. Раскаленная смола, шипя, опрокинулась женщине на ноги. Турчанка с истошным криком завертелась на месте. В следующее мгновение солдат уже забыл о ней: охваченный страшным гневом, он ворвался в месиво сплетенных в свалке человеческих тел. Никто здесь не ждал пощады. Турки рубились ятаганами, резали кинжалами, но русские штыки неумолимо сверкали тут и там.

«Ну и черти, ловки и храбры! Отчаянные! — одобрил противника в пылу схватки Сидоров и взглянул вправо.— Казакам, казакам лихо!» — подумал он, весь загорелся и с ружьем наперевес устремился на выручку.

Турки отчаянно набрасывались на казаков; с остервенением они рубили тонкие пики, направленные на них.

Обильно поливая кровью сырой вал, сотнями падали под ятаганами лихие сыны тихого Дона...

Гонимый ветром, с Дуная на крепость тянулся туман. Космы его поминутно закрывали штурмующих и не давали возможности хорошо видеть то, что происходило на бастионах. Занимался скудный рассвет. Серые стены и валы Измаила сливались с пепельным цветом неба. Только по вспышкам огня можно было догадываться о ходе схватки. Бледный, ссутулившийся, Суворов пристально смотрел в подзорную трубу:

— Помилуй бог, началось... Так, так...

Куржавый дончак переступал копытами, косился на штабных.

— Вот и первый гонец, ваше сиятельство! — оживленно сказал адъютант, указывая на скачущего ординарца.

— Что? Сюда! — взмахнул треуголкой Суворов

Запыхавшийся ординарец легким галопом поспешил к полководцу.

— Ну что, как? — впился в него глазами Суворов.

— Ваше сиятельство, вторая колонна взошла на вал.

— Поторопить первую и третью. Что генерал Кутузов?

— Не слышно.

— Так, так! — Полководец вновь взялся за подзорную трубу, но колеблющиеся седые космы снова наплыли на стены.— Проклятый туман! — огорченно обронил он

Время проходило в большом душевном напряжении. От Кутузова все еще не было донесений. Между тем именно в этот час тот находился в затруднительном положении. Русские батальоны прорвались через все препятствия, прошли под огнем сквозь сверкающие ятаганы янычар и устремились на главный редут. Но тут спаги, предводительствуемые Каплан-Гиреем, братом крымского хана, и полк телохранителей сераскира зашли им в тыл и стали рубиться.

Солдат Сидоров понимал, что настала решительная минута. На его глазах ранили начальника колонны Безбородко. Пулей навылет в грудь был убит командир полка. Молодой священник с крестом в руке взбежал на разбитый бруствер и крикнул:

— За мной, братцы! За нами русская земля!

Синий дым клубился кругом, разносились стоны, но роты воинов шли напролом. Не помня себя, Сидоров с ожесточением бил прикладом, колол штыком. Не будь оружия, в азарте он мог бы схватиться с врагом зубами. Его обозлили спаги, которые обреченно лезли на рожон. Где-то рядом в пороховом дыму слышался голос священника:

— Порадейте, братцы!..

Тем временем к Суворову подскакал адъютант Кутузова. Пыльный, потный и взволнованный, он отрывисто доложил:

— Ваше сиятельство, дальше нет сил наступать... Подкрепления...

Суворов вскинул голову и сурово сказал офицеру:

— Передайте генералу: нет отступления. Жалую его комендантом Измаила...

Из-за окоема поднималось солнце, первые лучи его багрово озарили дымы пожарищ, которые начались в крепости. В эти минуты шла резня на улицах города. Каплан-Гирей с сыновьями, окруженный русскими воинами, бился до последнего. Пали сыновья, под штыковым ударом, обливаясь кровью, повалился и сам Каплан-Гирей в грязную канаву. Турки засели в горевших «ханах»[1] и отстреливались, но солдаты сметали все на пути. По узким улицам метались тысячи коней, выпущенных из конюшен, и вносили еще большее смятение. Над городом все ярче разгоралось зарево...

На площадях и улицах валялись трупы, кровь мешалась с пылью. Пылающие «ханы» осыпали бойцов искрами. Только в сумерки смолкли крики и воцарилась тишина. Всего один человек ушел из поверженной крепости: он упал в реку, ухватился за бревно и поплыл от Измаила От него и узнали в Стамбуле о позоре турецкой армии.

Глава седьмая

1

В то время как Суворов со всем усердием опытного полководца подготовлял войска к штурму, забавы и пиры в ставке не прекращались, хотя теперь Демидов часто ловил тревогу в глазах Потемкина. Нередко в

---

[1] Больших каменных строениях, служивших гостиницами.

шумный час командующий удалялся в кабинет, где валился на излюбленный широкий диван и в задумчивости грыз ногти. Демидов молча наблюдал за князем. Иногда за окном раздавался конский топот, Потемкин тогда настораживался, быстро поднимался, подходил к окну и долго всматривался в тьму.

Десятого декабря Потемкиным овладела гнетущая меланхолия. В халате и в туфлях на босу ногу он валялся на диване и не показывался в штабе. Вызвав к себе адъютанта, он долго испытующе смотрел на него.

— Демидов, какие вести из-под Измаила? — глухо спросил он.— Возьмут ли? Все говорят, крепость неприступна!

— Но ведь там Суворов! — вырвалось с искренним восхищением у адъютанта.— А там, где Суворов, непременно победа!

Потемкин вскочил, его глаз готов был пронзить Демидова.

— Ты излишне уверен! — гневно выкрикнул он.— Все обольщены его счастьем: «Суворов непобедим! Суворов велик! Он возьмет Измаил!» Откуда сии толки? Скажи мне, Демидов, по совести: ты веришь в его непобедимость?

— Ваша светлость, каждый солдат считает его таким,— уверенно ответил адъютант.

— И ты вместе с ними,— сумрачно сказал Потемкин.— Ступай, оставь меня одного! Я должен за всех вас один решать. «Суворов, Суворов»! Ступай, ступай! — закончил он раздраженно, подошел к дивану и улегся.

Демидов вышел из кабинета. В покоях, где еще недавно шло веселье, стало темно; слуги гасили последние свечи. В воздухе все еще носился еле уловимый запах тонких духов. Николай Никитич неслышно выбрался во двор. Весь мир казался ему погруженным в густой, непроницаемый мрак и тишину. Дул слабый ветер, декабрьская ночь была прохладна. У коновязей ржали кони дежурных ординарцев. В темноте чей-то сочный голос задушевно сказал:

— Наш батюшка Суворов непременно укротит турка! Он такой, добр к солдату. Отец!

Второй голос с грустью отозвался:

— Гляди-ка, ночь-то какая! Тихо, и звезды бла-

гостны, а там, на Дунае, сейчас, поди, вот-вот польется кровь.

Заслышав шаги офицера, говорившие замолчали. Демидов безмолвно прошел мимо них и направился к себе на квартиру.

Утром 11 декабря, когда в низинах еще клубился туман, в ставку главнокомандующего на взмыленной лошади прискакал курьер и вручил Потемкину пакет. Светлейший вскрыл его и протянул бумагу Демидову:

— Читай неторопливо!

Адъютант стал читать донесение Суворова, и огромная радость мгновенно жаром наполнила его душу.

«Не бывало крепости крепче,— писал Суворов,— не бывало обороны отчаяннее обороны Измаила, но Измаил взят,— поздравляю, ваша светлость!»

Потемкин выхватил из рук адъютанта донесение и взволнованно зашагал по комнате.

— Гонца, немедленно гонца с радостной вестью в Санкт-Петербург! Попова ко мне!..

Между тем в штабе офицеры окружили прибывшего курьера и жадно слушали вести об измаильском штурме. И чем больше он рассказывал о подвиге, тем сильнее разгорались глаза у слушателей. Демидов поразился: никто не ревновал Суворова к его славе. Все проникнуты были обожанием к нему. Стало известно, что в Измаиле русские войска овладели огромной добычей. Между прочим, им достались десять тысяч отборных коней. Офицеры тщательно выбрали из этого табуна редчайшего арабского скакуна, обрядили его в драгоценную сбрую и подвели в дар полководцу.

Однако Суворов, как всегда, отказался от подарка. Он поблагодарил офицеров за внимание и простодушно сказал им:

— Донской конь привез меня сюда, на нем же я отсюда и уеду! — потом подумал и, улыбаясь, добавил: — Я и без того буду награжден государыней превыше заслуг!

— Суворов заслужил это,— восторженно сказал курьеру Демидов.

Прибывший офицер, забрызганный дорожной грязью, усталый, неприязненно посмотрел на блестящего адъютанта и с усмешкой сказал:

— Вы так думаете? Боюсь, что есть люди, желающие посягнуть на его славу!

— Не может этого быть! — протестующе выкрикнул Демидов и, угадывая намек курьера, наивно подумал: «Светлейший хоть и ревнив к чужой славе, но прекрасно видит, что Суворов — главный герой измаильского штурма и обойти его сейчас никак нельзя!»

— Все может быть! — раздумчиво ответил курьер и отвернулся от Демидова.

Николай Никитич вскоре убедился, что измаильский офицер был прав. В ближайшие дни Суворов известил Потемкина о том, что прибудет с рапортом в ставку. Всеми ожидалась торжественная встреча, но светлейший и намека не давал на это. Адъютанты князя приуныли, чувствуя всю неловкость положения. Много раз Демидов в разговоре об Измаиле просительно смотрел в глаза Потемкину.

— Ты что-то хочешь сказать, Демидов, да про себя таишь? — раздраженно спросил наконец светлейший.

— Мечтаю хоть глазком посмотреть на Суворова. Ваша светлость, пошлите ему навстречу! — смущенно попросил адъютант.

— Ты что же, хочешь приятное сделать своему кумиру? — участливо спросил Потемкин.

— Он достоин того, ваша светлость! — отважно сказал Демидов.

Злой огонек вдруг сверкнул с необыкновенной силой в глазу Потемкина.

— Не будет сего, чтобы я унизился! — сердито крикнул светлейший.— И здесь встретим! — Он оглядел Демидова гневным взглядом и замкнулся в себе...

Между тем Бендеры были полны оживления. Пронесся слух о том, что Суворов прибывает в ставку, и на улицах в ожидании измаильского героя собралось много народу. Среди толпы были и потемкинские свитские офицеры, которые, несмотря на недовольство светлейшего, не могли устоять перед соблазном. Один Демидов пребывал в штабе на дежурстве, томясь нетерпением.

«Неужели мне доведется увидеть Суворова?» — взволнованно подумал адъютант, и сердце его наполнилось хорошим, теплым чувством. Хоть он и был всегда признателен Потемкину за его покровительство и доб-

рое отношение, но сейчас Демидова охватило общее патриотическое чувство.

«Такими людьми сильна наша Россия!» — с гордостью думал он, следя тревожным взглядом за князем, который большими шагами расхаживал по комнате.

Во всей могучей фигуре Потемкина, в повороте его головы с волнистыми темно-русыми волосами было много привлекательного. «Сколько нежных женских рук ласкало эту умную голову!» — с завистью подумал молодой адъютант.

Однако князь был мрачен. Долго и безмолвно он расхаживал по комнате. Полное лицо его постепенно разрумянилось...

В это время на улице раздались крики. Они возникли где-то далеко и с каждым мгновением нарастали. Как шум прибоя, человеческие голоса катились к ставке.

Демидов подбежал к окну, сердце у него дрогнуло. По улице, среди толп народа, катилась тележка, запряженная одноконь. Седоусый высокий солдат на облучке правил иноходцем, а позади, на охапке соломы, покрытой простым рядном, сидел маленький, тщедушный военный, укрывшись стареньким офицерским плащом. Николай Никитич напряг все свое зрение, с любопытством разглядывая, что творится на улице. Ожидаемого блистательного кортежа за тележкой не виднелось.

«Кому же тогда так восторженно кричит народ?» — удивился адъютант и еще более поразился, когда Потемкин вдруг забеспокоился и, старательно сохраняя свою величественность, медленно выплыл на крылечко. Демидов поторопился за ним.

Тележка остановилась перед штабом, из нее легко и проворно выскочил сухонький подвижной военный с маленьким личиком. Длинные седые волосы выбивались из-под порыжевшей треуголки. Комки жидкой грязи забрызгали высокие сапоги и края плаща. Старик устремился к Потемкину.

Светлейший восторженно облобызался с прибывшим и, нежно взяв его под руку, повел в особняк.

«Суворов! — догадался Демидов, и все внутри у него затрепетало.— Так вот каков он, прославленный полководец!»

Дабы не лезть на глаза гостю, адъютант держался поодаль.

Потемкин и Суворов вошли в покои. Добродушно

сияющий князь, наклонясь к Суворову, покровительственно осведомился у него:

— Чем я могу наградить ваши заслуги, граф Александр Васильевич?

Демидов увидел, как Суворов внезапно вспыхнул и горделиво поднял голову. Покровительственный тон вельможи, видимо, резнул по сердцу храброго воина. Он не стерпел обиды и раздраженно ответил Потемкину:

— Ничем, князь! Я не купец и не торговаться сюда приехал: кроме бога и государыни, меня никто наградить не может!

Ответ пришелся не по нутру светлейшему, он побледнел и отвернулся от Суворова. Медленно, тяжелой поступью главнокомандующий пошел в зал. Гость последовал за ним. Здесь, в светлом зале, Суворов вытянулся по-строевому и подал Потемкину рапорт. Князь с мрачным видом принял его. Не обмолвясь больше ни единым словом, они на виду всей свиты походили по залу, затем холодно раскланялись и разошлись.

Суворов сел в свою тележку и, запахнувшись в плащ, крикнул солдату:

— Гони!

Демидову стало не по себе. Того ли он ожидал от светлейшего? Боясь сдвинуться с места, чтобы не навлечь на себя гнев Потемкина, он стоял, опустив глаза в землю. А когда Потемкин удалился во внутренние покои, Николай Никитич выбежал на крылечко, но на дороге уже было пустынно. Вдали, в конце улицы, медленно затихал рокот толпы...

Спустя несколько дней Суворов пустился в дальнюю дорогу, в Санкт-Петербург. Демидов знал, что потемкинские курьеры давно опередили его, всюду разнося хвалебную весть о величии и талантах князя Таврического и недостойно умалчивая о подлинном герое.

Курьер из ставки вслед полководцу увозил представление о награде его за подвиг под Измаилом. Потемкин просил государыню выбить медаль в честь Суворова и отличить его чином гвардии подполковника, или генерал-адъютанта.

2

Извещая государыню об измаильской победе, Потемкин просил у нее разрешения прибыть в столицу. Втайне князя сильно беспокоило быстрое и неожиданное возвышение нового фаворита императрицы — Платона Зубова. Уже давно шпионы светлейшего слали одну за другой тревожные вести. В то время как он находился на юге, государыня Екатерина Алексеевна обратила свое внимание на двадцатидвухлетнего прапорщика гвардии Платона Зубова, служившего в Царском Селе.

Этот смуглый, хрупкий, небольшого роста офицерик неожиданно обнаружил большое умение и способности в овладении сердцем шестидесятилетней государыни. Он очень тонко сыграл роль влюбленного и сумел найти сообщников среди придворных императрицы. Постоянные наперсницы Екатерины — Перекусихина и Нарышкина — сумели направить ее внимание на новый предмет обожания.

Вскоре Потемкина расстроили откровенные признания его покровительницы, которая в письмах не могла скрыть своей радости от того, что для нее опять пришла весна.

«Я снова вернулась к жизни, как муха, которая уснула от холода... Я снова весела и чувствую себя хорошо!» — писала она светлейшему.

Все чаще и чаще в письмах к Потемкину она намекала на очаровательную воспитанность и лучшие качества своего «ребенка» и «маленького смугляка».

Между тем, по сообщению шпионов, этот «маленький смугляк» и «милый ребенок» быстро занял высокое положение флигель-адъютанта императрицы, не менее быстро вошел во вкус придворной жизни и стал прибирать к рукам стареющую государыню. Чтобы обезопасить себя от Потемкина, он сумел устроить своего брата, Николая Зубова, в армию, фактически сделать его соглядатаем, зорко выслеживающим все недостатки и промахи главнокомандующего Потемкина.

По всему ходу событий светлейший догадывался, что влияние его соперника отражалось на многих решениях государыни. Шпионы доносили Потемкину и о том, что прибывший в Санкт-Петербург Суворов видится с Зубовым и, весьма возможно, строит козни. Однако те же доносчики сообщали князю, что, несмотря на ста-

рания нового фаворита, государыня, предупрежденная светлейшим, приняла Суворова весьма холодно: она избегала приглашать его на дворцовые встречи, а на приемах и вовсе не замечала полководца. Все вышло, как хотелось Потемкину. Вместо ожидаемого фельдмаршальского жезла Александру Васильевичу Суворову пожаловали всего-навсего чин подполковника гвардии Преображенского полка...

Награда не щедрая за неслыханный подвиг. Подполковников гвардии имелось уже одиннадцать, и Суворов, таким образом, был самый младший из них. Горько было это сознавать прославленному полководцу!

Двадцать второго января 1791 года на свое письмо Потемкин получил от государыни весьма благосклонный ответ.

«Когда приедешь, тогда переговорим изустно обо всем,— писала Екатерина Алексеевна,— ожидаю тебя на масленицу, но в какое время бы ни приехал, увижу тебя с равным удовольствием...»

С большой пышностью Потемкин отправился в столицу. Князь ехал в раззолоченной карете, сопровождаемый огромной свитой. Демидов, привыкший к многим причудам светлейшего, на сей раз был просто подавлен величием Потемкина. Никогда так надменно не выглядел он, как в эти дни. По приказу государыни навстречу светлейшему выехал граф Безбородко, который зорко следил за тем, чтобы Потемкину всюду оказывалась достойная встреча.

Стоял теплый февраль. Пышный кортеж медленно двигался на север. Во встречных городах и селениях весь день без умолку звонили колокола. Градоправители в расшитых золотом мундирах и пышных париках встречали князя, стоя навытяжку, льстиво пожирая его глазами. Потемкин молча проезжал мимо них.

С наступлением сумерек на дорогах жгли костры и освещали путь факелами.

Светлейший был равнодушен ко всему. Взглядом он приказал адъютанту держаться поблизости, и стоило только Николаю Никитичу на минутку отлучиться, Потемкин уже спрашивал:

— Где Демидов?

Правитель канцелярии Попов, сопровождавший князя, упрашивал:

— Ваша светлость, надо дела выслушать!

Потемкин отмахивался:

— Отстань! Дела потом!..

За Харьковом теплые солнечные дни сменились метелями и морозами. Князь закутался в теплую соболью шубу и дремал. Ему изрядно наскучили торжественные встречи, приемы и колокольный звон.

Задолго до Москвы Потемкина стали встречать выехавшие навстречу вельможи первопрестольной. Под Серпуховом князь вдруг обрядился в полный парадный мундир, украшенный бриллиантовыми звездами. В Москве князя ожидала торжественная встреча. Московская знать, во главе с генерал-губернатором, в малиновых кафтанах и в пышных париках, чинно ожидала светлейшего. Неподалеку были выстроены фрунтом отборные лошади, приготовленные для продолжения пути...

Потемкин, не выходя из кареты, раскланялся с блестящим обществом, и экипажи вереницей потянулись к Белокаменной...

Когда поезд князя показался у триумфальных ворот, Демидов увидел среди толпы своих московских дворовых и взволновался: выглядели они жалко и приниженно.

«Прохвост, истинный прохвост! — мысленно ругал Николай Никитич своего управителя московской конторы.— К такому дню не постарался приличия ради нарядить челядь!»

Все в нем кипело от досады, но теперь было не до этого. Пышная свита окружила карету Потемкина, и он, как сатрап, вступил в древнюю русскую столицу.

Только что князь успел занять отведенные ему покои, как приемная немедленно заполнилась чающими увидеть его. Среди них адъютант Демидов отличил седого красавца — бывшего гетмана Кирилла Разумовского. Николай Никитич поспешил уведомить о том князя. Вопреки его ожиданиям, Потемкин сбросил мундир, напялил шлафрок и мягкие ночные туфли.

— Зови! — повелел князь, выслушав Демидова.

— Ваша светлость, это невозможно, вы так сомнительно одеты! — заикнулся было адъютант.

Потемкин вскочил, запахнул пóлы шлафрока и пригрозил Демидову:

— Не учи! Бит будешь!

Адъютант покраснел и поспешил в приемную.

Разумовский в пышном напудренном парике, в шелковом камзоле, сияющий звездами, степенно вступил в покои Потемкина. Высокий, широкоплечий, он стоял перед князем, и благожелательная улыбка озаряла его круглое лицо. Гость сделал вид, что не замечает неряшливости Потемкина. Воздав хвалу его талантам, гетман поднялся и, учтиво раскланявшись с хозяином, хотел покинуть покои. Однако князь панибратски положил ему на плечи руки и с душевностью спросил:

— Чаю, что Кирилл Григорьевич даст бал по случаю моего приезда в первопрестольную?

Разумовский почтительно склонил голову, и в этот миг от пламени свечей в звездах гетмана серебристым дождем сверкнули алмазы.

— Будет по-вашему. Завтра прошу на бал!

Легкой походкой он вышел из зала. Потемкин презрительно посмотрел ему вслед:

— Видал, Демидов? Проглотил без горчинки!

Рано похвалился Потемкин своим успехом: на другой день ему пришлось раскаяться в этом. В своем старинном особняке, осиянном огнями хрустальных люстр, Разумовский дал званый обед. Потемкин поспешил в гости. На западе пылали отсветы вечерней зари, когда карета светлейшего подкатила к особняку гетмана. Адъютант распахнул дверь экипажа, и пышный, величественный князь Тавриды, подавляющий все и всех, вступил в чертоги Разумовского. В сопровождении адъютантов и многочисленной свиты он медленно, с великим достоинством поднимался вверх по широкой лестнице, устланной мягким ковром. Самодовольная улыбка блуждала на румяном лице Потемкина, но в это мгновение светлейший поднял глаза и кровь отхлынула от его лица.

— Демидов, что это? — указал он глазами вверх.

Адъютант устремил свой взор на площадку, утопавшую в зелени. Там в отражении зеркал высился гетман Разумовский с распростертыми объятиями в ожидании гостя.

Потемкин прикусил губы в досаде: Разумовский в отместку принимал князя в шлафроке и ночном колпаке. На мгновение светлейший задержался и сквозь зубы свирепо процедил:

— Свинопас!

Все же, сохраняя чрезвычайно приветливую улыбку,

он поднялся вверх и облобызался с хозяином пира.

Демидов весь вечер не отходил от Потемкина, опасаясь вспышки его гнева. Однако князь присмирел, задумался и, пробыв за столом приличное время, отбыл домой.

Москва погрузилась в ночной мрак. Быстро несли кони мягко покачивающуюся карету. Сквозь дремоту Потемкин вымолвил:

— Отменный свинопас!

Демидов осторожно взглянул на князя и удовлетворенно подумал:

«А что, нашла коса на камень!»

Ему было приятно сознавать, что нашелся человек, у которого хватило духу отплатить князю за бестактность. Адъютант молчал, полагая, что Потемкин укачался и спит, но тот внезапно открыл глаз и с укором посмотрел на Демидова:

— Что же ты молчишь?

— Ваша светлость, не в обиду будь вам сказано: долг платежом красен! — смело сказал Демидов.

— Это справедливо! — согласился Потемкин и вдруг весело рассмеялся.— Сей хохол хитер и умен, а таких я люблю...

Князю за долгую дорогу надоели лесть и низкопоклонство. Сейчас ему и на самом деле были приятны бесстрашно высказанные подлинные чувства. Он оживился и, повеселев, крикнул:

— Живее, живее из Москвы! Скорее в Санкт-Петербург! Там предстоит сражение поважнее Измаила! — многозначительно закончил он и снова закрыл глаз, не противясь больше дремоте, овладевшей его рыхлым телом. Так и промолчал он до самого дома...

Там Потемкина давно уже поджидал фельдъегерь из Санкт-Петербурга с письмом от государыни. Он поспешно вскрыл пакет, глаз его вспыхнул от радостной вести. Екатерина Алексеевна писала:

«Когда изволишь писать: дай боже, чтоб вы меня не забыли,— то сие называется у нас писать пустошь: не токмо помню часто, но и жалею, и часто тужу, что ты не здесь, ибо без тебя я как без рук...»

Государыня не лгала, когда писала это письмо Потемкину. Она и в самом деле ждала его в столицу. Государственные дела крайне осложнились: Турция, несмотря на поражения, все еще не просила мира,

Пруссия была настроена враждебно против России, из Франции шли страшные вести. Екатерине Алексеевне не с кем было посоветоваться. Платон Зубов был отменный любовник, но плохо смыслил в политических делах. Окружающие строили козни, были ленивы и не имели размаха.

В ожидании приезда Потемкина государыня нетерпеливо жаловалась придворным:

— Боже мой, как мне сейчас нужен князь!

Она жадно ловила каждый слух о Потемкине и однажды, разоткровенничавшись, спросила Захара Зотова:

— Скажи, что слышно о князе в городе? Любят ли его?

Смотря в глаза государыне, слуга откровенно признался ей:

— Князя любят один бог да вы, ваше величество!

Ответ Захара расстроил государыню, но она, сдержав себя, стала хвалить Потемкина...

Обо всем этом светлейший узнал от своих людей в тот же вечер. Вслед за фельдъегерем в Москву примчались вызванные Потемкиным его агенты из Санкт-Петербурга. Закрывшись с ними в кабинете, он узнал от них все подробности. Из доклада прибывших Потемкин понял, что он не забыт и нужен государыне. Веселый и полный энергии, он утром выбыл из Москвы.

3

В Санкт-Петербурге Потемкина ждала еще более пышная встреча. На много верст от столицы по Московскому шоссе с треском горели смоляные бочки, ярким пламенем освещая путь светлейшему. Фельдъегери на полном аллюре носились взад и вперед по дороге, следя за приближением Потемкина.

У заставы поезд князя Таврического ждало феерическое зрелище. Санкт-Петербург был ярко иллюминован, толпы народу наполнили улицы. Сидя в раззолоченной карете, светлейший махнул платком адъютанту. Демидов только и ждал сигнала: мгновение — и многочисленная блестящая свита окружила карету. Казалось, огромное сияющее облако, сверкающее всеми переливами радуги, спустилось на княжеский поезд. Кругом

рысили всадники в разноцветных роскошных мундирах — гусары, латники, казаки, черкесы и гайдуки. Впереди экипажа побежали скороходы в красных кафтанах и понеслись попарно вслед за огромным арапом, несшим длинную золотую булаву. Раздались крики:

— Пади! Пади!

На верках Петропавловской крепости вдруг раскатился громовой пушечный выстрел. Толпы народу заколыхались, как море в бурю. Между живыми человеческими стенами показался пышный кортеж: Потемкин вступил в столицу.

Царица с нетерпением ждала старого фаворита. Зимний сверкал бесчисленными огнями, лучшие покои в Эрмитаже были подготовлены по указу самой государыни и ждали князя.

Карета остановилась у главного дворцового подъезда. Поддерживаемый адъютантом, Потемкин показался в подъезде. Медленно переступая, блистательный князь Тавриды величественно прошел между рядами придворной знати, живой стеной протянувшимися от подъезда до отведенных Потемкину покоев.

За князем двигалась свита, наряженная в парадную форму. Но всех и всё затмевал Потемкин...

В этот же вечер государыня первой пожаловала к нему. Милости одна за другой посыпались на князя. Императрица наградила его за взятие Измаила фельдмаршальским мундиром, обшитым бриллиантами. Мундир этот стоил двести тысяч рублей. Сенату императрица приказала написать особую грамоту с описанием заслуг светлейшего. В Царском Селе приступили к сооружению обелиска в честь победы Потемкина.

О Суворове в эти дни никто не вспомнил. Расстроенный незаслуженным оскорблением, он проводил время в одиночестве, нигде не показываясь.

Николай Никитич с нетерпением ожидал, когда окончится торжественная встреча. Как только ему удалось вырваться, он поспешил на Мойку, в дедовский особняк. Все бушевало в нем. Озлобленный, с опустошенным кошельком, он ворвался в неурочный час в свою санкт-петербургскую контору. Управитель Данилов со своей дородной супругой сидели за столом, насыщаясь обильной трапезой. При неожиданном появлении в горнице Николая Никитича он поперхнулся.

— Хозя-и-и-н! — откашливаясь, изумленно произнес он.

Демидов не дал опомниться управителю. Он подбежал к нему, без предисловий выволок из-за стола и, схватив за бороду, стал озлобленно дергать и выговаривать:

— Так вот как ты, холопья душа, вздумал над хозяином измываться! На копейки посадил и думаешь, гвардии офицеру сие пристало!

— Батюшка, выслушай! — взмолился Данилов и попытался улизнуть от расправы, но возмужавший Николай Никитич с большой силой сгреб его за шиворот и поставил перед собой.

— Говори, варвар, почему задерживал деньги и слал такие крохи, чем в большой срам меня поставил?

— Батюшка, Николай Никитич, да нешто я хозяин ваших капиталов? Опекуны всему кладут предел! Да и доходишки все ушли на ваши забавы! — пытался оправдаться Данилов.

— Врешь, каналья! — заорал Демидов.— Заводы на полном ходу: день и ночь плавят железо, и вдруг нет денег! — Он ожесточенно потряс управителя.

Данилов уловил минутку и вырвался, юркнув под руку хозяина.

— Дарья! — обиженно закричал он жене.— Тащи книги! Пусть господин сам узрит, куда ушли-укатились рублики!

Пыхтя и охая, перепуганная жена выбралась из-за стола и, подплыв к конторке, вытащила толстые шнуровые книги. Не успела она и шагу сделать со своей ношей, как Демидов орлом налетел на бабу, выбил из рук гроссбухи и стал топтать их.

— Караул, убивают! — заголосила баба.

— Молчи! Давай, сатана, деньги, а то худо будет! — пригрозил Демидов. Вся кровь ходуном ходила в нем. Распаленный гневом, он с кулаками пошел на Данилова. Выпучив от страха глаза, управитель торопливо полез в боковой карман камзола.

— Все тут, что приберег на черный день! Мое кровное... Берите, господин! Ох, господи! — взмолился он и трусливо протянул Демидову пачку ассигнаций.

Адъютант схватил их и, все еще ругаясь, выбежал из конторы:

— Хапуга! Вор! Его кровные — кто поверит сему?

Мои же холопы на заводах старались для меня, хозяина!

Он выбежал в людскую и озорно закричал:

— Фамильную карету мне!

Словно ветром вымело слуг во двор. Демидов подбежал к венецианскому окну. С крыши, сверкая, падала звонкая капель. Пригревало солнце. На озаренную площадку вынеслись рысистые кони, запряженные в карету.

Николай Никитич поторопился во двор. Однако на крыльце он неожиданно что-то вспомнил и вернулся.

— Дядьку Филатку ко мне! Где запропастился, сукин кот? — закричал он подобревшим голосом.

Перепуганный насмерть Данилов, вытирая холодный пот, печально ответил:

— Нету Филатки, господин. С того времени нету. Упокой, господи, его грешную душу в царствии небесном...

— Отчего поторопился нерадивый дьячок на тот свет?

— И, батюшка, не с добра в петлю полез. Как узнал, что каторгой пахнет, то и порешил себя с досады!

— Дурак! — отрезал Демидов.— Разве жить надоело? Гляди, как хорошо и радостно дышится!

А на самом деле Демидову вдруг стало непонятно тоскливо: ушел из жизни Филатка, верный раб, и с его смертью отлетела юность.

И на сей раз, однако, не раскаялся Николай Никитич в своей подлости. Он спустился с крыльца, неторопливо уселся в карету и крикнул кучеру:

— В Семеновский полк!

Мысли перебежали к Свистунову:

«Как он теперь живет? Поди, по-прежнему повесничает!» — с волнением вспомнил он друга-однополчанина.

Демидов покосился на зеркало, которое блестело в карете. В нем отразился румяный, статный гвардеец. Широкоплеч, крепок, и на пухлой губе пробиваются черные усики.

«Хорош! — похвалил он себя.— Вот удивится Свистунов! Ах, друг мой...»

Мимо кареты мелькали знакомые улицы. Легко покачиваясь, Николай Никитич понемногу успокоился,

а нащупав пухлую пачку ассигнаций, и совсем повеселел.

«Ну, держись, братец! Непременно загуляем и в «Красный кабачок» завернем!..»

Однако Демидову не довелось увидеться со Свистуновым: квартира поручика была занята незнакомым офицером.

— А где же гвардии поручик Свистунов? — разочарованно справился Николай Никитич.

— Свистунов? Хватились, батенька! — удивленно поднял плечи семеновец.— Да его из Санкт-Петербурга по высочайшему повелению выслали в собственное имение. В Орловщину!

— Жаль! Что за прегрешения?

Офицер покрутил ус, озорно улыбнулся.

— Известно, за что, за гвардейский грех! Садитесь, расскажу! — предложил он и придвинул кресло.

Демидов уютно устроился и приготовился слушать.

— Свистунов допустил неловкое волокитство, со всяким из нас бывало это,— начал офицер.— Однако здесь особая статья: он увлекся женою аристократа и соблазнил ее. На сей раз рогоносец-муж подвернулся решительный. Сам не отличаясь постоянством, он как-то на рассвете вернулся с попойки и в спальне своей жены застал блистательного гвардейского офицера без мундира и лосин. На ковре валялись раскиданные второпях сапоги со шпорами. Что после этого, сударь, оставалось делать? — улыбнулся в усы офицер.— Да-с!

— Замять историю! — подсказал Демидов.

— Э, батенька, так можно рассуждать только на чужой счет. Коснись сия история вас, не такой бы молебен затеяли! — весело посмотрел на Демидова семеновец.— В данном случае вышло иначе. Оскорбленный муж разбудил грешников и с укоризной обратился к поручику: «Нехорошо-с, милостивый государь, забираться в чужой дом и в чужую постель! Извольте подойти сюда! — гневно поднял он с постели господина Свистунова.— Взгляните, сударь! — указал он вниз на тротуар.— Сию минуту вы находитесь на третьем этаже. Это не высоко, но и не низко. Перед вами, господин поручик, окно, в которое вы должны немедленно уйти в том самом виде, в каком я вас застал.

В противном случае, милостивый государь, вы будете жестоко высечены!..»

— Как он смел?! — вспылил Демидов.— Свистунов — столбовой дворянин!

Офицер рассмеялся.

— В таких случаях, сударь, в званиях и сословиях не разбираются! «Что миру, то и бабину сыну»,— сказывается в русской пословице. Так вот-с, вельможа схватил колокольчик и предложил: «Итак, сударь, вам дается минута на размышление. Опоздаете — бесчестие совершится без пощады!» Что оставалось делать? Поручик подошел к окну и, недолго думая, совершил прыжок. В одном белье, со сломанной ногой, его подобрала на улице полиция, а в полдень весь Санкт-Петербург, сударь, уже знал о скандальном происшествии. Вслед за этим последовало высочайшее повеление Свистунову выбыть в Орловскую губернию и настрого наказано без разрешения не покидать ее пределов.. Вот-с вам, сударь, история Свистунова. А жаль, превосходный был офицер!..

Семеновец вздохнул и сказал разочарованно:

— Судите, государь мой, возможно ли гвардии офицеру жить без любви? Никак не допустимо! Любовь и вино — утеха в жизни!

Демидов промолчал, учтиво попрощался и уехал с досадой на сердце.

«Ах, Свистунов, Свистунов, куда тебя занесло! Удастся ли нам когда свидеться?» — огорченно подумал он и безнадежно махнул рукой.

4

Хотя в апартаментах флигель-адъютанта императрицы в Зимнем дворце прочно обосновался новый фаворит Платон Зубов, государыня не забывала Потемкина. В первые дни его пребывания в столице она часто оставалась с ним с глазу на глаз, советуясь о политических делах. Потемкин при этом проявлял острый ум и огромную осведомленность. Он был в курсе всех политических событий, которые имели место в Европе. Его агенты регулярно и своевременно доставляли подробные сведения о ходе революционных событий во Франции. Сразу же по прибытии в столицу он

получил книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» и, несмотря на свою лень, внимательно прочел ее.

«Велика гроза,— мрачно подумал он.— Но Россию пока она минует. Однако сие обстоятельство пригодно мне в борьбе с розовощеким юнцом Зубовым!» Он твердо решил припугнуть Екатерину тревожными фактами, чтобы сделаться для нее необходимым.

В интимной беседе Потемкин сказал и без того встревоженной государыне:

— Матушка-царица, кажись, по всем королевствам разбушевалось людское море. Когда только оно в берега войдет, господь один ведает! Боюсь, ох, и сильно боюсь, наша благодетельница, как бы сия стихия не перехлестнула к нам... Вот сия книжица,— указал он взором на сочинение Радищева,— есть ядро, которое, попав в пороховой погреб, взорвет все кругом!

На лице императрицы изобразился ужас.

— Того не может случиться! — воскликнула она.— Сей возмутитель спокойствия нашего отослан в Илимский острог и, надо полагать, уже на пути к оному!

— Эх, дорогая голубушка наша, он-то сослан, а семена, засеянные им, могут вдруг обильно взойти! — с озабоченностью вымолвил Потемкин.

— Сие невозможно! — на своем настаивала царица.

Вперив голубой пронзительный глаз в государыню, князь укоризненно покачал головой.

— Мудрость говорит вашими устами, ваше величество. Ну, а если, матушка, невозможное да станет сбыточным? Не мыслили мы о Пугачеве, да встал он со своими мужиками да с заводскими. Ныне Радищев этот опаснее. Просвещенный разум простого человека может...

Он не договорил и многозначительно посмотрел на царицу. Екатерина умоляюще спросила:

— Что же нам делать, Гришенька?

Потемкин молчал. Он склонил голову, чело его омрачилось.

— Ваше величество,— после раздумья обратился он к императрице.— В сем деле нужна твердость. А где ее искать? Только мы, старые твои холопы, готовы на все. Подумаю, матушка, как отвести беды от государства Российского...

Царица верила в государственные способности

князя, дорожила им, и сейчас, при всех своих женских слабостях и увлечении Зубовым, она отдавала должное своему старому фавориту.

— Я надеюсь на тебя, Гришенька,— сказала она ласково.— Не забуду твоего радения обо мне, бедной...

С этого дня между Потемкиным и государыней вновь установилось полное согласие. Все дни они, закрывшись на половине князя, совещались. Демидов заметил, как помолодел и подтянулся Потемкин. В эти дни на лице его лежали безмятежность, ясность и благодушие. И как было не радоваться князю, когда на него все время сыпались щедроты и милости престарелой царицы! Она пожелала иметь мраморный бюст князя. Только что скульптором Федотом Шубиным был закончен портрет императрицы, поражавший знатоков искусств тонкостью и изяществом творения художника. Федот Шубин обладал внимательным и верным глазом гения, и его умелая рука с нежною заботливостью моделировала поверхность мрамора, придавая ему желательные формы и линии. Холодный камень под его рукой превращался в живое лицо, в плавный жест и в потоки ниспадающих складок.

По просьбе Потемкина адъютант Демидов поспешил за прославленным скульптором. Шубин в эту пору почитался в моде: об его портретах говорили во всем Петербурге, поражаясь их сходству с оригиналом и тонкой красоте. Камень под его резцом становился невесомым и раскрывался дивным творением.

Демидов поехал на Пятую линию Васильевского острова, отыскал деревянный домишко, на котором значилось: «Сей дом № 176 принадлежит господину надворному советнику и академику Федоту Ивановичу Шубину». Увы, он не застал скульптора в мастерской, где среди мраморных бюстов на низкой скамеечке сидела тоненькая, с милым лицом, жена скульптора Вера Филипповна и с благоговением рассматривала работу мужа.

При появлении адъютанта она словно очнулась от сна.

— Он в Мраморном дворце,— ответила она на вопрос Демидова.

Ему не хотелось уходить из мастерской, но она поторопила его:

— Поезжайте, иначе можете не застать его!

Николай Никитич повернулся и поспешил к выезду.

В обширном дворце, только что отделанном Ринальди, Шубин устанавливал свои бюсты. Он внимательно выслушал просьбу Демидова и согласился немедленно ехать. Адъютант почтительно пропустил его вперед и усадил в саночки. Шубин прикрылся от мороза воротником. Его простое русское лицо понравилось Николаю Никитичу.

«Так вот он, прославленный ваятель!» — с любопытством рассматривая художника, подумал Демидов.

Столько интересных рассказов он слышал от матери и отца об их знакомстве за рубежом с молодым скульптором. От воспоминаний о матери на душе потеплело.

Они мчались по петербургским улицам в легких санках, в лица бил свежий ветер. Низкое северное солнце повисло в морозной сизой дымке над улицей и прохожими, сыпалась нежная морозная пыль. Над домами курчавились синие витки дыма. Кони неслись птицей среди сугробов. Миновали одетые инеем бульвары. Петербург в этот вечерний час предстал перед ними чудесным видением, весь украшенный и затканный серебром инея.

— Диво! Волшебство! — повернувшись к потемкинскому адъютанту, восторженно вымолвил Шубин и откинул воротник.

Мимо мелькали собольи и хорьковые шубы, папахи, обгоняли всадники. На лету запечатлелся взгляд русской красавицы, жгучей искрой мелькнувший из-под опушенных инеем ресниц. Как хороши и свежи здоровые лица, разрумяненные морозом! Словно скупец, Шубин жадно все схватывал и прятал в памяти.

Демидов не утерпел и прервал наблюдения художника:

— Вы меня не видели и не знаете, а в нашей семье вас обожали!

— Кто же вы? — спросил Шубин.

— Демидов, сын Никиты Акинфиевича и Александры Евтихиевны, портреты которых вы изволили высечь из мрамора.

Глаза Шубина озарились внутренним светом.

— Счастливое было время! — со вздохом сказал он.— Хоть и трудно жилось, но младость краше всего!.. А где Андрейка Воробышкин? Знавали такого?

Николай Никитич отрицательно покачал головой:
— Не знавал.

— Жаль, сударь! Очень жаль! — Глаза скульптора потухли. Он с легкой неприязнью посмотрел на гвардейца.— Великий талант был и, чаю, угас безвременно! Куда же подевался он?

— Не знаю! — повторил Демидов.

По приезде во дворец адъютант провел его в обширный зал с навощенным паркетом. Огни хрустальных люстр ярко освещали глубокое кресло, поставленное посредине.

— Вот здесь и работать! — учтиво поклонился Демидов, указывая на кресло.

В эту минуту массивная дверь распахнулась, и вошел Потемкин.

Шубин приветливо повернулся к нему, с восхищением разглядывая величественную фигуру светлейшего и его лицо. Он забыл даже раскланяться с князем.

— Ты можешь нас оставить, Демидов! — с улыбкой сказал своему адъютанту Потемкин.

Что происходило за дверью, какое чародейство,— так и не удалось увидеть Николаю Никитичу. Один лишь раз ему довелось заглянуть в полуоткрытую дверь, и он увидел, с какой нервной быстротой работал Шубин. Седой, с тонкими морщинками на лице, он улыбался глине, которую лепил. Его длинные костлявые пальцы упруго мяли податливый влажный комок. Бог знает, что́ мелькало у него в эту минуту в мыслях! Из-под его резца выступали контуры знакомого лица.

Потемкин поймал удивленный взгляд адъютанта и поманил его перстом, на котором синими искрами сверкнул драгоценный камень:

— Поди сюда, Демидов!

С бьющимся сердцем Николай Никитич вошел в комнату.

— Видишь? — показал князь на бюст.

Демидов не отозвался, застыв в немом восхищении.

Сияющее, со слегка презрительной усмешкой, на него смотрело властное лицо Потемкина. В быстром повороте гордо вскинутой головы, в надменном лице, в тонком изгибе губ и в свободных складках смело наброшенного плаща чувствовались уверенность и широта жеста большого екатерининского вельможи.

— Чудо! — не сдержавшись, вскрикнул Демидов.

— Чудо! — повторил Потемкин, с улыбкой глядя на свой портрет.— А не пора ли, Федот Иванович, сегодня кончать?

— Пора,— согласился Шубин.— Я устал, и вы притомились.

Он легко, без заискивания, поклонился князю и, прикрыв холстом свое творение, ушел мыть руки...

Когда художник медленно, в раздумье, спускался с дворцовой лестницы, его нагнал адъютант. Он горячо пожал скульптору руку:

— Вы кудесник!

Шубин на миг задержался.

— Ласкаю себя надеждой, что передал потомству правду о сем человеке! — скупо сказал он и замолчал.

Бюст, сотворенный резцом Федота Ивановича Шубина, весьма понравился государыне. При виде скульптуры глаза императрицы вспыхнули молодым блеском.

— Очаровательно! Дай боже, чтобы его светлость всегда был в таком состоянии!

5

Апрель выпал солнечный, прозрачный. На пасхальной неделе прошумели талые воды, впитались в землю, поднялись туманами и рассеялись в голубых вешних просторах. В парках, садах и на Царицыном лугу под жарким солнцем из влажной земли продирались на свет зеленые иголки травы, развертывались и пускались в рост. Только по каналам да под вековыми липами Летнего сада укрылись от солнца бугорки ноздреватого, грязного снега. Над городом проносились на север стаи перелетных птиц. Весенняя пора будила в Демидове приятные ожидания. Он с нетерпением следил за успехами светлейшего: с ним были связаны все чаяния честолюбивого адъютанта. Николай Никитич не ошибся в своих предположениях. Государыня не забыла демидовского потомка; по представлению Потемкина Демидову пожаловали звание генерал-аудитора-лейтенанта.

Он еще спал глубоким сном, а в прихожей давно уже ждал его пробуждения курьер с радостным извещением от князя. Солнце только-только послало

первые лучи, озарившие верхушку старой дуплистой березы, стоявшей под окном, когда у постели хозяина появился сиявший Орелка. Одним махом он распахнул шторы и весело оповестил:

— Ну, слава богу, радостный денек начался!

Однако Демидов не шевельнулся, сладко посапывая. Орелка принялся чихать, кашлять, а Николай Никитич все еще не открывал глаз. Тогда холоп, скрипя сапогами, подошел к кровати и стал тихонько тормошить барина за плечо.

— Просыпайтесь, господин! День пришел, принес радости. Хлопот у нас сегодня ужасть как много!

Орелка хитрил перед барином. Он знал, что по утрам у хозяина единственная забота объехать ростовщиков и получить под вексель денег. Большие суммы раздобывал Николай Никитич, но червонцы в его руках таяли, как вешний снег. Орелка удивлялся: «Много ли человеку нужно: набить пузо хлебом, вволю выспаться, ну, там, с бабой позабавиться, вот и все! А у нашего господина золотые лобанчики уносит из кисы, как листья в осеннюю непогодь! Поди ж ты, какая ненасытная утроба у столичных прелестниц! И не заполнишь и не нарадуешь их!»

Демидов в самом деле тратил огромные суммы. Он уже давно потерял счет векселям. Выдавая их, он лишь предупреждал кредиторов:

— К предъявлению в день моего совершеннолетия!

Дата выдачи ссуды ростовщиком предусмотрительно не проставлялась, чтобы избежать скандала. Однако иногда кредиторы, перепродав вексель другому хапуге, жестоко подводили расточительного потемкинского адъютанта. Новые владельцы векселей бесцеремонно являлись в санкт-петербургскую контору и предъявляли их Данилову.

Управитель от ужаса хватался за голову, бегал по конторе, топал, кричал:

— Караул, грабят! Рады младеню, подчистую разорят!

Каждое утро Орелка прислушивался к голосам в конторе. Заслышав крики Данилова, он будил господина:

— Теперь непременно подниматься надо! Наш казначей разоралcя, стало быть сюда скоро пожалует. Вставайте, господин, да уезжайте от пустых словес!

Ишь ты, кричит, как боров недорезанный. Орет, подумаешь, будто его самого разоряют.

После такого предупреждения Демидов быстро вскакивал, проворно одевался и торопливо уезжал из дому. Сегодня наступил особый день, а Николай Никитич долго не поднимался.

«Чего тут канителиться!» — решил Орелка и заорал на весь покой:

— Батюшка, никак аспид сюда спешит!

Демидов отбросил одеяло. Сон как рукой сняло.

— Давай одеваться! — приказал он дядьке.

— Батюшка, дозвольте вас с генеральским чином поздравить! — бросился к Демидову Орелка.

— Да ты что, сдурел? Откуда сие взял? — отмахнулся Николай Никитич, но дядька не уступил и распахнул дверь спальни.

— Эй, гвардия, жалуй сюда! Вот он, наш генерал! — закричал слуга.

В комнату вошел курьер и вручил пакет. Демидов дрожащими от радости руками вскрыл его.

— Орелка! Эй, кто там, чарку водки сему вестнику! — весело закричал он.— Да рубль награды!

— И, батюшка, хватился! — разочарованно развел руками холоп.— Были вчера рублики, да сплыли. Ломаного гроша ноне нет у нас за душой!

— Как! Нет денег? — рассердился Демидов.— В генералы произвели, а я без денег?! Данилова сюда!

— Гляди, как ноне распетушился, и Данилов ему нипочем! — подмигнул курьеру Орелка.— Ну-ка, служивый, пройдем со мной, чарка непременно найдется!

Он увел курьера в людскую, а через полчаса вместе с Орелкой в спальню ворвался посиневший Данилов. В расстегнутом камзоле, со съехавшим на сторону париком, он задыхался от удушья. Глаза управителя были злы, слезливы.

— Николай Никитич, нельзя больше! Никак не могу!

Демидов невинно-удивленным взором уставился на Данилова:

— Что с тобой, любезный Павел Данилович?

— Аль вы не знаете? — пуще вспылил управитель.— Еще немного, и ваши заводы, имения, домишки и все, что наживали деды и отец, все сие в трубу вылетит!

— Не понимаю, к чему сей недостойный крик и воз-

мущение? — пожал плечами Николай Никитич.— Слыхал ли ты, что ноне я пожалован государыней генерал-аудитор-лейтенантом? Резон то или не резон? Так-то ты радуешься за хозяина? Был я адъютантом, то сорт один, а ныне генерал! Подумай, дурья башка,— генерал! А генералу и жить по-иному положено. Тут расходы и всякий кошт иной!

— Поздравляю вас, господин, со столь высоким званием! — поклонился управитель и ехидно съязвил: — Так вы, батюшка, отныне и живите на генеральское жалованьишко! А то живете не по-дедовски!

— Дед и прадед мужики были, тульские оружейники. Не в пример мне, слыли они за темных людей! — вспылил Демидов.— Они в генералах не ходили!

— Верно, батюшка, они в генералах не ходили, но с царем Петром Алексеевичем за одним столом сидели. И заводишки возвели, хвала господу, на всю Россию! И вспомните, батюшка: ни отец ваш, ни дед, ни прадед никому векселей не выдавали! — не воздержась от желчи, выпалил Данилов.

— Да как ты смеешь мне указывать! — закричал Демидов.— Орелка; обряжай!

Николай Никитич оделся в мундир. Охорашиваясь перед зеркалом, он вдруг поморщился. Холоп тревожно взглянул на хозяина.

— Гляди-ка, опять сердце зашалило! Уйди ты, Данилыч, уйди подальше от греха! — вступился за хозяина Орелка.

Данилов не унимался:

— Вот и здоровьишко, глядишь, растеряли в такие годы. И заводишки наши хиреть стали! Нельзя-с так, батюшка! Хоть вы и хозяин своему добру, а управу на вас найду! — выкрикнул управитель и выбежал из комнаты.

Орелка посмотрел ему вслед и укоризненно покачал головой:

— Эх, кипяток! Ну о чем кричит? Добра ему чужого жалко, прости господи! Ну и скупердяй!

Хотя Демидов все еще хорохорился, но лицо его стало сумрачным. Чутьем он догадывался, что Данилов на этом не угомонится и, поди, пожалуется опекунам.

«А не перехватил ли я в расходах через край?» — расстроенно подумал Николай Никитич. Однако ново-

испеченный генерал-аудитор сейчас же отогнал эту тревожную мысль.

«Иначе и поступать нельзя! — рассудил он.— Светлейший каждый день дает куртаги да балы. Нельзя же быть худородным офицеришкой при столь блистательной особе!»

Махнув на все рукой, Николай Никитич поспешил к Потемкину. Адъютант барон Энгельгардт с завистью подумал о Демидове:

«Молод, богат и уже генерал!»

Скрывая свое недовольство и зависть, он заискивающе улыбнулся.

— Везет вам, Демидов! Вас только что просили пожаловать к статс-секретарю ее императорского величества!

— Слава богу! — перекрестился Демидов и, не ожидая дальнейших похвал сослуживца, ринулся по коридорам и проходам дворца на зов Александра Васильевича Храповицкого. Доложив о себе, он поспешно вошел в кабинет статс-секретаря государыни в надежде услышать приятное.

«Уж не пожалован ли орденом за баталию под Измаилом?» — самовлюбленно подумал он, но в ту же минуту приятная улыбка сошла с его румяного лица. Статс-секретарь не улыбнулся, по обычаю, Николаю Никитичу, не встал из-за стола, как бывало раньше. Он угрюмо кивнул на кресло и суховато предложил:

— Садитесь!

Несколько минут в кабинете длилось безмолвие. Не глядя на генерал-аудитора, склонившись над бумагой, Храповицкий что-то торопливо писал. Он делал вид, что слишком занят. Впервые за все встречи Николай Никитич внимательно разглядел этого высокого, худощавого придворного, весьма непритязательно, но опрятно одетого. Выглядел на сей раз он строго, сугубо официально. Выдерживая Демидова, тем самым показывал ему: «Хоть ты, братец, и генерал-аудитор-лейтенант, но для меня ты мелкая сошка!»

В холодном, сдержанном приеме Николай Никитич почувствовал приближение грозы. И она пришла, без грома и молнии, самая страшная, сухая гроза, которая душит, томит и не прольется живительной каплей освежающего дождя.

Статс-секретарь положил перо, поднял холодные

серые глаза на Демидова и заговорил ровным, скучным голосом:

— Господин генерал-аудитор, мы вынуждены были пригласить вас по весьма важному обстоятельству. Вам пожалованы нашей премудрой покровительницей высокое положение и звание. Это, однако, не значит, что вам предоставлено право на неблагорассудства! Весьма сомнительно стали вести себя, господин генерал-аудитор! — Глаза Храповицкого опустились, и Николай Никитич заметил на столе, среди бумаг, знакомые векселя, выданные им разным ростовщикам. Перехватив взгляд Демидова, опекун строго, внушительно сказал:

— Вы стали не по средствам щедры и расточительны!

— Ваше превосходительство, находясь при особе светлейшего, я вынужден содержать себя достойным образом,— заикнулся Демидов.

Храповицкий выждал, закрыл широкой костлявой ладонью векселя и бесстрастно вымолвил:

— Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин весьма знатен и богат, но выше всех богатств и почестей он ставит благоволение к нему нашей венценосной покровительницы. Тянуться за сим солнцем опасно и недопустимо, господин генерал-аудитор. По праву опекунства я вынужден предупредить вас о необходимости прекращения дальнейших выдач подобных обязательств! — Он открыл векселя и, сверкнув холодными глазами, продолжал: — Подобным поведением вы разоряете заводы, а ее императорское величество заинтересовано не в упадке производств, а в дальнейшем их расширении и процветании! Пока я опекун над достоянием вашего отца, совет мой примите как непреложный закон! Нарушение сих указаний может повлечь для вас неприятные последствия! Вот и все! — Храповицкий встал, прошелся по кабинету.

Он не протянул руки Демидову и лишь учтиво поклонился, тем самым давая понять, что разговор окончен.

Унылый Николай Никитич устало вышел из кабинета статс-секретаря. Самые разноречивые чувства и мысли раздирали Демидова. Ему хотелось сейчас же отправиться на Мойку, в свою санкт-петербургскую контору, и побить управителя, но голос разума удер-

жал его от этого. Николай Никитич вздохнул и с мрачным видом возвратился в приемную Потемкина.

Энгельгардт бросился ему навстречу.

— С чем поздравить, Демидов?

— Ни с чем! — огорченно отозвался Николай Никитич.— Был зван к опекуну по делам наследства. Вспомнив о покойном батюшке, загрустил...

Адъютант горестно опустил глаза.

— О, ваш батюшка был сказочно богат! Понимаю ваше горе, Демидов! — Слова Энгельгардта прозвучали неискренне.

Подобную фальшь Николай Никитич не впервые видел и слышал в княжеских покоях, однако он поторопился отмахнуться от неприятных мыслей, и снова им овладели честолюбие и жажда радостей.

6

Каждый день в княжеских покоях шли пиры. Никогда не был Потемкин так безумно расточителен, как в эту весну. Казалось, что приближается гроза и светлейший жадно пользуется последним лучом солнца. Счастливый и беспечный с виду, он являлся в покои государыни и до колик смешил царицу умением подражать ее голосу и манерам. Обласканный ею, осыпанный бриллиантами, он на бешеных конях скакал по Невской першпективе в бархатной бекеше, подбитой тысячными соболями. В свободные часы он пиршествовал в кругу знатнейших и строил козни против счастливого соперника. Однако интрига светлейшего против Зубова не имела успеха. Флигель-адъютант императрицы оказался сильным и лукавым врагом. С Потемкиным он обращался любезно и предупредительно, но всегда с большим умением досаждал ему. Пристойными и вместе с тем ядовитыми шутками он выводил князя из себя, и тот, будучи несдержанным, ронял свое достоинство в глазах государыни.

Неудачи злили Потемкина, и он все больше проявлял свою неуравновешенность: то впадал в черную меланхолию и тогда запирался у себя в покоях, небритый, в одном белье или в халате, надетом на голое тело, целыми днями валялся на диване, грыз ногти от скуки и громко вздыхал. То вдруг глубокая тоска

сменялась шумным весельем, и тогда князь дивил столицу своей расточительностью. Блестящий и пышно разодетый, он являлся на пиры и балы и затевал сказочные потехи, сорил деньгами, щеголял роскошью и предавался волокитству. И этого ему казалось мало: князь решил ошеломить всех, затмить роскошью доселе невиданною, тем самым унизить своего соперника и одним ударом покончить с ним. Светлейший затеял необыкновенный бал, который своей баснословной пышностью должен был поразить всех. В только что отстроенном Таврическом дворце, подаренном ему государыней, начались спешные приготовления. Демидов сбился с ног, выполняя поручения князя. Из одного края столицы в другой мчался Николай Никитич, отыскивая подрядчиков, художников, архитекторов, декораторов, ювелиров, портных, лучших поваров, пиротехников, певчих, музыкантов, наездников, лицедеев и альфрейщиков. Толпы мастеров заполнили Таврический дворец, и началась кипучая муравьиная работа. Сам Потемкин лично занимался внутренним убранством дворца и разрабатывал церемониал небывалого праздника. Со всех уголков столицы во дворец свозили груды дорогих материй, картины великих художников, кружева, зеркала, драгоценные камни, золотую и серебряную посуду. За все князь рассчитывался наличными: золотым потоком лились червонцы. Казалось, богатства светлейшего неисчерпаемы. Для иллюминации дворца скупили в Санкт-Петербурге весь воск, и его не хватило. Тогда послали нарочного в Москву, и тот прикупил еще на семьдесят тысяч рублей воска.

Явились строители — каменщики, плотники, землекопы — и в несколько дней создали перед дворцом обширную площадь, которая простиралась до Невы. Сломали строения, снесли заборы, засыпали рвы и расставили столы и скамьи для народного гулянья. В саду проложили аллеи, построили изящные павильоны, беседки. Из речки пропустили каскады, которые с журчанием низвергались в мраморный водоем. В организации праздника Потемкин проявил тонкий художественный вкус и ошеломляющую фантазию. По его замыслу дворцовые залы и приемные превратились в феерические палаты из сказок Шехерезады. Никто и никогда не видел подобной роскоши!

Пока шли работы по украшению дворца, знатные

дамы и кавалеры разыгрывали перед князем свои роли, и каждая из репетиций походила на великолепное торжество...

Понимая, сколь неуместно в такие дни пребывание в Санкт-Петербурге измаильского героя Суворова, государыня пригласила его на аудиенцию и среди отменно любезных комплиментов как бы вскользь обронила:

— Я пошлю вас, Александр Васильевич, в Финляндию!

Слова государыни поразили полководца в самое сердце. Он понял, что его удаляют, дабы не испортить потемкинского торжества.

Огорченный герой молча откланялся и удалился.

В тот же день Александр Васильевич уселся в двуколку и умчался в Выборг. Отсюда он выслал в Санкт-Петербург нарочного с запиской к императрице:

«Жду повелений твоих, матушка».

Ожидаемое повеление пришло незамедлительно. Государыня писала Суворову:

«Думается мне, лучше вас никто не сыщет мест для возведения там крепостей. Поручаю вам сие первостепенное дело».

Полководец смирился, затаил в сердце свое горе и, не мешкая, пустился в объезд вдоль границы...

Между тем дворец был готов к приему гостей. 28 апреля вечером начался великий съезд. Сотни карет, сопровождаемые скороходами, гайдуками, форейторами, сверкая позолотой, зеркалами, изумляя шелковой отделкой, двинулись к Таврическому дворцу. Однако величественнее всех был императорский выезд. Двенадцать пар белоснежных коней с пышными султанами на головах, в сверкающей упряжи везли золотую карету, в которой среди пунцово-пылающего шелка восседала государыня. Блестящая свита сопровождала поезд царицы.

Демидов, волнуясь и замирая от страха, вышел вслед за светлейшим, осторожно, на почтительном расстоянии от себя неся за князем его шляпу, отягощенную самоцветами. Бриллианты чистейшей воды излучали все цвета радуги, играли, рассыпая синеватые искринки. Вечер был тих, светел, на площадь падали отсветы зари. На фоне золотого заката, впереди Демидова, на широких ступенях подъезда, устланного доро-

гими восточными коврами, в сиянии алмазов, величественно высился Потемкин в алом кафтане и в епанче из тончайших черных кружев.

Едва императорский кортеж приблизился к триумфальной арке, возведенной на площади, сразу ударили пушки и громовое «ура» потрясло окрестности. Потемкин медленно спустился со ступенек и подошел к карете. Государыня милостиво приняла протянутую князем руку и вышла из экипажа. Неторопливо он повел ее в сияющие многочисленными огнями чертоги.

Генерал-аудитор Демидов был ошеломлен: еще тлели последние отблески зари, но уже вспыхнули тысячи огней, спускаясь сверкающими гирляндами с лепных карнизов дворца, с ветвей деревьев, убегающих вдоль площади к темным водам Невы. На высоких шестах вертелись огненные колеса, с треском поднимались ввысь ракеты, взрываясь в темном небе желтыми, зелеными, лиловыми, малиновыми огнями и разбрасывая фонтаны золотых искр. Разноцветные фонарики, пламя бесчисленных плошек, ярко горящие смоляные бочки и огненные каскады пиротехнических огней придавали особый блеск и величие шествию государыни в чертоги.

Позади следовали вереницы приглашенных в самых разнообразных маскарадных костюмах, шумя шелками, лаская взоры бархатом и сверкающими драгоценностями.

Два прекрасных пажа несли за государыней длинный шелестящий шлейф. Потемкин, не касаясь шлейфа, осторожно шел рядом. И только они вступили в громадный зал, украшенный строгой колоннадой, обвитой зеленью и цветами, на хорах заиграла музыка и певчие запели державинскую песнь:

Гром победы, раздавайся,
Веселися, храбрыйросс!..

Переливались сиянием большие хрустальные люстры, бесчисленные огни, чудесные вазы, печи из лазурного камня, диковинки Востока. Сверкающее драгоценностями и изысканными туалетами общество бесконечное число раз повторялось в колоссальных зеркалах, и это создавало впечатление беспредельности зала и сплошного моря радостных огней и красок.

Потемкин подвел государыню к трону и остановился

у его подножия. Демидов, со шляпой светлейшего, стоял неподалеку, затаив дыхание. Сверху, из великолепного купола, на трон низвергались каскады света, которые нежными переливами играли в драгоценностях государыни. Цветные лампады, развешанные среди колонн, усиливали очарование праздника.

Государыня заняла приготовленный трон, и в танцевальном зале началась кадриль в двадцать четыре пары из самых знатных дам и кавалеров, среди которых Демидов увидел наследника престола. Павел Петрович, в зеленом мундире, в белых лосинах, казался маленьким и щуплым. Среди блестящего общества он потерялся, и никто не оказывал ему должного внимания. Все взоры были обращены на государыню.

В разгар танца Демидов заметил, что за креслом царицы появился сияющий фаворит Зубов. Два противника сошлись на виду всей знати. Потемкин, все еще красивый, приятно улыбающийся, при ярком свете выглядел увядающим и усталым. Платон Зубов был юн, строен и свеж. Он не сводил глаз с государыни.

В душе Демидова возникла неприязнь к этому хрупкому смуглому юнцу, который с горделивой осанкой стоял подле государыни. Мимо проходили танцующие пары, одетые в белые атласные костюмы, сверкавшие бриллиантами, а впереди всех плавно скользили в танце внуки императрицы — великие князья Александр и Константин. Платон Зубов по возрасту подходил к ним, и на сердце потемкинского адъютанта стало тягостно при виде престарелой императрицы и ее фаворита. Мог ли этот тщеславный и самовлюбленный юнец на самом деле любить свою покровительницу, годившуюся ему в бабушки? Сияние драгоценностей, пышный наряд, величественная осанка, румяна — ничто не могло скрыть мелких старческих морщин на лице государыни и дряблых изрядных мешков под усталыми, потухшими глазами. Она улыбалась, но улыбка ее была старческой, потерявшей блеск...

Генерал-аудитор смутился от подобных мыслей и поторопился отогнать их. Ему стало жалко Потемкина: несмотря на окружающую роскошь, он тоже выглядел усталым и угасающим. Нельзя было обмануться в предположении, что все уходит от него и не вернется вновь. Сегодня светлейший пребывал на вершине славы и могущества, но взоры гостей тянулись уже не к нему,

а к юному счастливому смугляку, и только сожаление, а порой еле уловимое злорадство сквозили в мимолетных взглядах, бросаемых на Потемкина.

Государыня улыбнулась князю, и он взмахнул кружевным платочком. В этот миг пары разошлись и уступили место столичному балетмейстеру Ле Пику, который очаровал всех своим пластичным танцем.

За большими окнами стало темно, и Потемкин пригласил государыню и высоких гостей в театр. Снова Демидов медленно пошел за светлейшим, неся его драгоценную шляпу. Он шел в большом напряжении, и ему казалось, что от драгоценных камней шляпы сыплются миниатюрные молнии, ласкающие глаз.

В театре генерал-аудитор не мог сосредоточиться, все привлекало его внимание. За балетом Ле Пика последовала комедия «Смирнский купец», в которой показывался невольничий рынок и рабы всех стран, кроме России. Лицедеи изо всех сил отображали благоденствие народа под скипетром Екатерины...

Утомленный и потрясенный виденным, Николай Никитич еще более изумился, когда все вернулись в большой зал, сейчас сверкавший еще ярче, казавшийся еще пышнее. Свет дробился в хрустале и драгоценных украшениях; казалось, кто-то мощной щедрой рукой рассыпал кругом сияющие изумруды, рубины, хризолиты, аметисты, сапфиры,— так сверкали и переливались малиновые, розовые, синие, зеленые, желтые огни в цветных лампадах, которых зажглись тысячи. Среди этого мощного потока радуг и сияния государыня невольно остановилась и восхищенно спросила Потемкина:

— Неужели мы там, где и прежде были?

Генерал-аудитор не слышал ответа светлейшего, но по лицу своего покровителя догадался, что тот счастлив и весел. Руки Демидова отяжелели и затекли, столь весома оказалась шляпа князя. Он медленно двигался за Потемкиным и государыней, и с каждым шагом им открывались все большие и большие красоты. Волшебство совершилось с ними, когда вступили в зимний сад, где все было наполнено благоуханием, где склонялись цветущие мирты, а в кустах щебетали и распевали птицы...

В двенадцатом часу начался ужин. Демидов пребывал до сего времени на ногах, с той же бриллиантовой сокровищницей на руках. Государыня с наследником престола и его супругой сидела за особым столом, и

светлейший прислуживал императрице. Только после настойчивых просьб повелительницы Потемкин сел за стол. Почти одновременно с ним подле государыни появился ее любимец Зубов. Нежное, женственное лицо и тонкий профиль фаворита, сверкающий бриллиантовый аксельбант обращали на себя восхищенное внимание гостей, особенно дам. Светлейший поморщился.

— Полно, князь, да здоров ли ты? — сочувственно вымолвила государыня.

— Ах, матушка, прескверная болезнь у меня. Ноет зуб!..

Императрица помрачнела на мгновение, но это мимолетное недовольство быстро прошло, унеслось, как облачко, и растаяло. Пир продолжался, поражая гостей сказочным убранством стола.

Между тем генерал-аудитору очень хотелось есть, все тело его ныло от усталости, а голова слегка кружилась. Ему не терпелось самому повеселиться и поблистать среди избранной знати, но, увы, он двигался как тень за светлейшим и был лишь холодным и блеклым отражением этого величавого, но угасающего светила...

Еле дождался Николай Никитич отбытия государыни. Она покинула дворец на исходе второго часа ночи под нежное пение итальянской кантаты, восхвалявшей высокую гостью.

Прощаясь, государыня протянула Потемкину руку и благодарно улыбнулась. Князь упал перед императрицей на колени и благоговейно прижал ее руку к губам. По его толстым щекам катились слезы. В глазах Екатерины Алексеевны тоже засверкала ответная слезинка.

Генерал-аудитор стал несказанно счастлив, когда наконец сдал драгоценную ношу Энгельгардту, а сам очутился среди прелестниц, которые все еще наполняли Таврический дворец.

Вновь вспыхнула и разгорелась заря над пышным садом, померкли в ее озарении огни празднества. Погасли люстры, и залы постепенно опустели. Тяжело ступая по зеркальным паркетам, Потемкин, в сопровождении генерал-аудитора, удалился в покой.

— Не уходи, Демидов! — остановил он Николая Никитича, собиравшегося откланяться ему.

Светлейший устало опустился в кресло. Два ка-

мердинера ждали его повелений, но Потемкин молчал и медлил разоблачаться. Боясь нарушить раздумье князя, безмолвствовал и генерал-аудитор.

Тяжелый, долгий вздох вырвался из груди Потемкина.

— Что с вами, ваша светлость? — испугался Демидов.— Не больны ли? Может, медика вызвать?

Светлейший с досадой отмахнулся.

— Не в медике дело, мой друг! — печально промолвил Потемкин.— Никто мне теперь не поможет. Чует мое сердце, Демидов, ноне сыграл я последнюю пиесу в своей жизни. Кончено, все кончено...

Он устало закрыл глаза и тяжело опустил голову на грудь.

— Ваша светлость!..— со страстью заговорил генерал-аудитор.

— Оставь! — тихо обронил князь.— Гляди, уже погасли огни и начинается новый день...

Демидов тихо удалился, оставив своего покровителя в скорбной позе.

Генерал-аудитор шел по опустевшим залам, в широкие окна вливались первые потоки солнца. И то, что вчера поражало великолепием, в лучах животворного дня теряло свою волшебную прелесть.

В обширный Таврический дворец с отъездом гостей вошли тишина и безмолвие. Лишь на золотой солнечной дорожке играл откуда-то взявшийся котенок; подпрыгивая, он старался ухватиться за бахрому драгоценной скатерти.

Только к полудню вернулся Демидов на отдых. Раздевая его, Орелка сердито сопел.

— Ну, чего хмур? Радоваться должен: хозяин в раю побывал. Экий праздник состоялся у светлейшего! Одних драгоценных камней на господах было на миллионы!

— Все так, господин! — согласился слуга.— А только, по совести молвить, не к добру такой пир! У дворца-то пятнадцать мужиков совсем распростились с белым светом, а полста покалечились! За квасом да калачами погнались...

— Не жадничай! — поучительно сказал Демидов.

— Да разве это жадность погнала? От нищеты да голода это, господин мой.

— Цыц! О чем мелешь, супостат! — рассердился ге-

нерал-аудитор.— Да разве ж возможно сие в нашем царстве да в прославленный век Екатерины. А ведомо ли тебе, что светлейший на один бал истратился на полмиллиона рублей?

«Поди ж ты, как оборачивается! А того не разумеет, что полмиллиона со всей России по копеечке собраны с мужиков. Пóтом да горбом добыты эти копеечки. Эх, господин, господин, гляди-поглядывай, как бы вновь не собралась туча над барскими головами! Худо будет!» — хмуро подумал Орелка, но смолчал. Однако Демидов по глазам холопа догадался, о чем тот думает, и на душе его стало тревожно...

7

Суворов в двадцать дней объехал Финляндию и установил места, где надлежит построить крепости. После напряженных трудов Александр Васильевич направился в город Петрозаводск. Весть об этом взволновала местных начальников. Генерал-губернатор Олонецкого края Тутолмин созвал экстренное совещание, и на нем долго решали, как встретить дорогого гостя. Слава Суворова гремела повсюду, и областные правители дрожали, ожидая величавого Зевса Громовержца. Поэтому решили разубрать город, а на заставе возвести триумфальную арку. Разысканы были и свезены в Петрозаводск музыкантские команды; им вменили в обязанность немедленно разучить и отрепетировать любимые суворовские марши. Ветхие полосатые будки срочно обновили. Старые инвалидные команды вывели на плац и учили воинским артикулам. Мещанам и заводским бабам настрого наказали коз и поросят держать под надежными запорами, чтобы животные не слонялись по городу и не дозволяли себе непристойностей. Древний профос — полицейский служка Андрейка — заправлял давно не горевшие фонари. По тюрьмам усердно чистили ретирады. Попы готовились к торжественной встрече. Соборный протодьякон каждый день промывал глотку спиртом, чтобы достойно провозгласить долголетие именитому гостю. Звонарь зачастил на звонницу. Во всем городе не нашлось ни одной щели, ни одного уголка, где бы не чувствовалось веяние деятельного

административного таланта генерал-губернатора Тутолмина.

Но одного не учли ретивые петрозаводские администраторы: граф Александр Васильевич, весьма поспешный в исполнении своих предприятий, являлся, когда его менее всего ожидали. «Быстрота и натиск» — было девизом славного героя. Верный этому девизу, Суворов внезапно приехал в Петрозаводск на простой тележке, запряженной одноконь. Одет полководец был в изрядно поношенную солдатскую куртку.

Никем не узнанный, он промчался по городу прямо к пушечно-литейному заводу, у ворот которого и остановил свою тележку. Здесь он проворно соскочил, быстро на ходу одернул куртку и бравым шагом направился на завод.

Караульный солдат, увидя бойкого заезжего гостя, не утерпел и спросил:

— Эй, служивый, скажи-ка, скоро ли будет Суворов?

Полководец подтянулся, лукаво подмигнул часовому и сказал:

— Граф Суворов следует за мной!

Не теряя ни минуты, Александр Васильевич быстро прошел в заводскую контору и строго приказал:

— Я — Суворов. Показывайте без утайки весь завод.

Чиновники замерли от изумления. Однако дельный и расторопный дежурный не растерялся. Он быстро встал и пригласил полководца последовать за ним. Тем временем на ходу он глазами дал понять сослуживцам: «Мчитесь птицей и дайте знать о прибытии нежданного гостя наместнику Тутолмину и начальнику завода Гаскоину!»

Александр Васильевич в сопровождении чиновника быстро обошел завод, заглядывая всюду, перекидываясь с рабочими прибаутками. Горновые спросили его:

— А что, служивый, прибудет сюда Суворов?

Герой метнул на них веселый взгляд:

— Никак его знаете?

— Еще бы! Суворова знает вся Россия!

Александр Васильевич заметил, как суровые бородатые лица горновых приветливо засветились. Это тронуло его сердце. Он подошел к домне, пышущей жаром. В ней весело гудело пламя.

Суворов озяб в дороге и порядком проголодался. Сейчас, в благодатном тепле, он вспомнил об этом. Растерев окоченевшие руки, гость достал из кармана солдатской куртки черный сухарь и с большим усердием стал его грызть.

Коренастый доменщик, заросший до глаз бородой, посмотрел на гостя и лукаво ухмыльнулся.

— Ишь ты, голод не тетка! Солдату и работному одна пища: сухари да вода!

— Верно, ой как верно! — откликнулся Суворов.

Но тут доменщик помрачнел и бросился к укладу. Александр Васильевич поразился: «Что за быстрая перемена?»

Он оглянулся: в литейную входил увешанный регалиями, в пышном мундире генерал Тутолмин, а рядом с ним спешил сухой и проворный Гаскоин.

Александр Васильевич засунул недоеденный сухарь в карман, сдвинул брови...

Он весьма сухо выслушал генерал-губернатора и очень оживился, когда стал рапортовать начальник завода. Глаза полководца снова засияли, и он с удовлетворением сказал:

— Хороши ребята!

Однако, заслушав рапорты, Александр Васильевич снова замкнулся в себе, посуровел и сказал начальникам:

— Спасибо. Отвлекать от дел не мыслю. Прошу вас, господин генерал-губернатор, возвратиться к службе!

Гаскоина же Суворов придержал за рукав.

— Покажи все, да с толком!

Гаскоин хорошо понимал намерения гостя. Он без дальнейших слов повел Александра Васильевича по заводу, показывая литые болванки и огромные станы. Суворов с глубоким вниманием слушал объяснения.

При выходе гостя из литейной лохматый доменщик моргнул товарищам:

— Говорили — солдат, а то сам Александр Васильевич Суворов. Поглядеть бы толком, да боязно!

Чуткое ухо гостя уловило эти слова, он быстро оглянулся и окрикнул весело:

— Чего боязно? Солдат, помилуй бог, солдат я. Мало что Суворов!

Не ожидая ответа, Александр Васильевич быстро

и решительно подошел к работному и крепко обнял его:

— Молодец, братец, знатно работаешь. Спасибо. За отечество спасибо!

— Александр Васильевич! — заревели десятки здоровых глоток в литейной. Гость и глазом не успел моргнуть, как его подхватили могучие руки горновых и понесли.

Они несли полководца, а крепкие бородачи-работные просили:

— Александра Васильевич, родной наш! Герой наш! Ты получше взгляни на работенку нашу!

Работные бережно вынесли его на заводский двор и поставили на землю.

— Гляди, батюшка!

Суворов зорко оглядел двор и скорым шагом побежал по дорожке. Влево, вдоль нее, на деревянных помостах были разложены ножи, вилки, ножницы, посуда, мелкие чугунные изделия. Александр Васильевич морщился и охал:

— Упаси бог, чашки, ложки, плошки, уполовники. Неужель ухватом, помилуй бог, драться?

Он повернулся вправо и пошел обратно вдоль той же дорожки. По краю возвышались пирамиды ядер, бомб, картечи. Александр Васильевич остановился у артиллерийских снарядов и стал их внимательно рассматривать. Он то и дело приговаривал:

— Помилуй бог, как хорошо. Любо, какой славный гостинец шведам!

Суворов ласково поглядывал на Гаскоина.

Осмотр окончился. Александр Васильевич вышел за ворота; там его поджидали петрозаводские купцы. Дородный темноглазый купчина на подносе, покрытом расшитым полотенцем, держал хлеб-соль.

Суворов обрадовался, как малое дитя.

— Вот спасибо, хлеб-то какой. И народ здоровый!

Он выслушал нескладную речь купца и с благодарностью принял хлеб-соль.

Крепко пожав Гаскоину руку, полководец вскочил в тележку.

Начальник завода огорченно закричал:

— Ваше сиятельство, куда вы? Обед ждет!

— Помилуй бог,— откликнулся Суворов.— Петербург ждет. Поспешать надо. Пошли!

И тележка загремела по дороге.

Александр Васильевич, не отдохнув, ускакал в столицу.

Вспоминая Петрозаводск, Суворов понемногу отошел, успокоился и стал мечтать о походах.

Прискакав в Санкт-Петербург, Суворов, не откладывая дела, послал донесение государыне Екатерине Алексеевне. Оно было кратко и просто. Александр Васильевич писал:

«Слава наместнику! Работные — молодцы. Гаскоин велик. Составные его лафеты отнюдь не подозрительны. Петрозаводск знаменит. Ближайшая на него операция из Лапландии. В последнюю войну предохранение той страны было достаточно мудро».

Вместе с докладной запиской Суворов предоставил государыне планы постройки пограничных крепостей.

Вскоре вслед за этим последовала высочайшая аудиенция.

Отправляясь во дворец, Суворов снова зажегся надеждой вернуться к армии. Однако императрица совершенно безразлично встретила измаильского героя. На его вопрос: «А теперь как, государыня-матушка?» — императрица величественно и холодно ответила:

— Теперь, Александр Васильевич, вы отправитесь обратно и будете возводить по сим планам крепости.

Полководец печально опустил голову.

Уходя из дворца, он огорченно думал:

«Помилуй бог, как рассудила! Лопата, известь и пирамида кирпича неужто мне лучше баталий?»

Так же как и в первый раз, он сел в тележку и немедленно уехал в Выборг. На душе у него стало тяжело и грустно от незаслуженной обиды.

Глава восьмая

1

После знаменательного праздника Потемкин прожил в Петербурге еще три месяца. Между тем военные дела призывали его в армию.Светлейший, казалось, не понимал этого и вел безнадежную борьбу с Зубовым. Потемкин нервничал. К этому находились важные причины. Несмотря на то, что он не находился в армии,

русские войска под начальством князя Репнина одержали ряд побед. В эти дни взяли штурмом Анапу, при Канаврии разгромили турецкий флот. Но решающее сражение произошло 28 июня, когда при Мачине талантливый полководец Репнин одержал блестящую победу над визирем.

Закрывшись у себя в отдаленном покое, Потемкин в раздражении ходил из угла в угол, набросив на плечи лишь халат и хлопая на ходу старыми шлепанцами. Несколько раз он вызывал генерал-аудитора и приказывал ему писать послания Репнину, но вдруг спохватывался, рвал их и отсылал Демидова от себя. Несомненно, что светлейший в душе завидовал Репнину, злился и свое недовольство вымещал на приближенных. Лишь услужливый Попов сумел написать весьма льстивое и осторожное письмо Репнину, давая понять ему, что в дальнейшем надлежит не предпринимать никаких решительных действий без повеления светлейшего. Но это, однако, не помогло. Демидов видел, как исчезало обаяние Потемкина. В Санкт-Петербурге потихоньку заговорили о том, что и без князя одерживаются победы над турками.

Понимая всю ложность своего положения, светлейший стал задерживать спешные запросы Репнина. С юга ежедневно прибывали курьеры с письмами, но Потемкин не принимал посланцев, и те подолгу томились в ожидании ответов. Много раз они обращались к генерал-аудитору, чтобы тот доложил о них светлейшему, но Демидов боялся исполнить просимое, зная, что Потемкин не терпит напоминаний. Да и кто посмел бы обратиться к нему с подобными вопросами, когда князем снова овладела черная ипохондрия!

Назидание Потемкину пришло внезапно от самой императрицы. Однажды, в ожидании государыни, за завтраком сидели граф Алексей Орлов и вельможа Нарышкин. Беседа шла о войне.

— Почему так долго из армии нет известий? Что случилось, коли князь Репнин бездействует? — воскликнул Нарышкин.

Орлов промолчал. Он неторопливо собрал со стола все ножи и, выразительно взглянув на собеседника, любезно попросил:

— А нельзя ли отрезать кусочек сего поджаристого поросеночка?

Нарышкин деликатно поторопился выполнить просьбу графа. Туда-сюда, а ножей нет.

— Вот видишь,— сказал Орлов,— так и Репнину ничего не дают делать, как же после сего действовать?

На другой день государыня спешно вызвала к себе правителя потемкинской канцелярии. Ранним утром Попов явился на прием во дворец. Государыня вышла не в духе. Глядя в упор на генерал-майора, она спросила:

— Правда ли, что целый эскадрон курьеров от князя Репнина живет в Санкт-Петербурге?

Попов в замешательстве признался:

— До десяти наберется, ваше величество!

— А зачем вы их держите? — полюбопытствовала императрица.

— Нет приказаний светлейшего.

— Ах, так! Скажите князю, чтобы непременно сегодня ответил Репнину, что понужнее. А мне пришлите записку, в котором часу ваш курьер уедет!

Потемкин в ночь отправил курьеров, а отославши их, вызвал генерал-аудитора и раскричался:

— Почему не допустили ко мне гонцов? Расказню тебя, Демидов!

Николай Никитич молча проглотил обиду; все знали, что ругань была лишь для отвода глаз...

Раздраженный Потемкин снова целые дни валялся на диване. Сколько времени длилась бы неопределенность — неизвестно, но государыня вынуждена была покончить с этим. От побед на юге зависела судьба страны. Императрица решила через Зубова или Безбородко передать Потемкину приказ немедленно выбыть в армию, но ни тот, ни другой не осмелились пойти к нему с подобным поручением. Тогда Екатерина Алексеевна сама пошла в покои светлейшего и твердо объявила ему свою волю.

И странно: всегда своенравный, упрямый и строптивый, Потемкин на сей раз сделался кротким и послушным.

Двадцать четвертого июля он выехал из Царского Села с тяжелой тоской на сердце. Пожелтевший, мрачный, он со скорбью оглянулся на Санкт-Петербург и горестно вздохнул: «Придется ли сюда вернуться?» Отва-

лившись в угол кареты, Потемкин сидел безмолвно, с закрытыми глазами.

На первом привале, подойдя к экипажу, Демидов увидел, что из-под ресниц князя блеснули слезы.

— Что с вами, ваше сиятельство? — обеспокоенно спросил генерал-аудитор.

— Оставь, Демидов! И без тебя тяжело на душе!

Сказал и замолчал. Так и не вышел он из кареты, приказав везти дальше.

2

Восемь дней мчался на юг Потемкин, стремясь скорее попасть в Яссы. Адъютант Николай Демидов охрип от брани, разнося в пух и прах станционных смотрителей и торопя фельдъегерей скакать вперед по тракту с известием о проезде князя. На почтовых стоянках никого не допускали к светлейшему: он не хотел выслушивать доклады губернаторов, принимать генералов и представителей дворянства. Едва успевали сменить запаренных коней, как Потемкин уже нетерпеливо кричал:

— Гони!

Однако ни бешеная езда, ни широкие степные просторы, которые всегда его успокаивали, не приносили забвения. Угрюмый, молчаливый, он сидел в углу дормеза, устало опустив голову. Всегда любивший сытно и вкусно поесть, он долгое время не притрагивался к пище.

Чтобы развеселить светлейшего и заставить его есть, Николай Никитич пошел на некоторые ухищрения.

— Ваша светлость, вам надо перекусить да подкрепиться вином! — предложил он на одной остановке.

Потемкин молчал.

— Здесь приготовили для вас хороший ужин! — не отставал адъютант!

— Поди прочь! — заревел в гневе светлейший.

Но Демидов знал нрав Потемкина и не убежал от брани. Он смолчал, а через полчаса снова подскакал к дормезу и, наклонясь к окну, вкрадчиво проговорил:

— Тульские гольцы имеются, только что из воды, а калачи еще горячие. Право, все это стоит внимания вашей светлости!

Стекло в дормезе опустилось. Николай Никитич заговорщицки посмотрел на Потемкина и умильным голосом продолжал:

— Алексинские грузди и осетровая икра заслуживают вашей снисходительности!

— Гм!..— поперхнулся светлейший и сделал рукой протестующий жест.

— Есть и ерши крупные, животрепещущие, так и просятся в уху!..

— Сатана! — выкрикнул Потемкин и высунулся в окно.— Что там еще?

— Сверх того, ваша светлость, здесь, на станции, мигом приготовят и яичницу-глазунью!

— Стой! Вели открыть карету! — сдался наконец Потемкин, соблазненный заманчивыми блюдами.

Он вышел из дормеза, вытянулся во весь богатырский рост, сладко зевнул:

— Ну, веди, Демидов!

Они пошли к почтовому дому, где на столе ждали сытные яства: уха из ершей, горячие калачи, яичница-глазунья и превосходное вино.

С Потемкина сняли дорожный плащ, он сел в глубокое кресло в тяжелом изнеможении. Адъютант и слуга придвинули к нему блюда. Светлейший стал есть. В горнице все молчали, пока он насыщался. Утолив голод, Потемкин кивнул Николаю Никитичу:

— Флягу с водкой!

Он налил бокал водки, выпил, и взор его оживился. Взяв с тарелки редьку, князь отрезал от нее толстый ломоть и жадно закусил.

— Знаешь, Демидов, тут каждое блюдо так и просится в рот. Право, я начинаю бояться за свой желудок!

Он поднялся из-за стола и приказал отнести в дормез редьку.

— Едем дальше! — коротко сказал он и пошел к выходу...

Снова вихрем понесли кони, но и после сытной еды Потемкин не повеселел. Он вздремнул, а когда проснулся, пожаловался Демидову:

— Не пойму, что со мной. Все нутро жжет. Вели остановить коней!

— Вот, кстати, и Чернигов, ваше сиятельство. Можно отдохнуть!

И впрямь, навстречу путешественникам со взгорья поплыл торжественный звон колокола.

— Где это? — спросил Потемкин.

— Встречают, ваше сиятельство. Звонят в церкви Иоанна Богослова!

— Приятный звон...

Под гуденье колоколов Потемкин въехал в Чернигов. Чувствуя себя больным, он пролежал много часов в постели и все время велел звонить в колокол, а на утренней заре вновь пустился в дорогу.

— Демидов! — наказал Потемкин, уезжая.— Поручаю тебе столь приятный звоном колокол стащить со звонницы и отправить в Екатеринослав!

Николай Никитич поскакал выполнять приказ князя. К полудню шестисотпудовый колокол спустили с колокольни, погрузили на особые дроги и повезли. Старушки со слезами провожали колокол.

Не обращая внимания на их жалобы, Демидов стегнул по коню и понесся нагонять светлейшего...

Несмотря на бешеную скачку, Потемкин опоздал в Яссы. За три дня до его приезда князь Репнин подписал в Галацах предварительные условия мирного договора с Турцией.

Узнав об этом, Потемкин рассвирепел Он вызвал к себе Репнина и при генералитете набросился на него с упреками.

— Кто дал вам право на подобные действия? Что вы сделали? — в гневе закричал Потемкин.

— Светлейший князь, я исполнил свой долг! — спокойно ответил старик Репнин.

— Как вы смели начать без меня кампанию? — не уступал князь.

— Ваше сиятельство, я вынужден был отразить нападение тридцатитысячного турецкого корпуса визиря Боталь-бея!

Потемкин помрачнел, подошел вплотную к Репнину и в запальчивости крикнул:

— Как вы дерзнули заключить мир? Кто дал вам на это согласие? Вы поплатитесь головой за эту дерзость! Я буду судить вас, как изменника!

На лице Репнина выступили багровые пятна. Еле сдерживая гнев, он возразил:

— Ваша светлость, если бы вы не были ослеплены в

эту минуту гневом, то я заставил бы вас раскаяться в последнем слове!

— Угрозы! Дерзкий, знаешь ли ты, что я через час могу приказать расстрелять тебя!

Репнин пристально взглянул на Потемкина и, чеканя каждое слово, холодно прервал Потемкина:

— Знаете ли вы, князь, что я могу арестовать вас, как человека, восстающего против повелений государыни?

Потемкин опустил голову, шумно задышал.

— Что сие значит? — упавшим голосом спросил он, догадываясь о правде.

— Это значит, ваше сиятельство, что я повинуюсь и обещал отдавать отчет в своих действиях одной государыне.

Князь Репнин учтиво поклонился и вышел из горницы. Потемкин тяжело опустился на стул. С минуту он раздумывал, потом с горечью заговорил:

— К чему была сия торопливость? Надо было знать, в каком положении наш черноморский флот и об экспедиции генерала Гудовича. Дождавшись донесения их и узнав от оных, что вице-адмирал Ушаков разбил неприятельский флот и уже его выстрелы были слышны в самом Константинополе, а генерал Гудович взял Анапу,— мы могли бы заключить мир на более выгодных условиях!..

В голосе его прозвучала скорбь.

Для всех было очевидно, что Потемкин прав: договор с турками можно было заключить на более выгодных условиях. Понимал это и сам Репнин, но честолюбие ослепило его, и он решил под носом у светлейшего перехватить лавры победы.

Адъютант Демидов сопровождал Потемкина в Галацы. Настроение светлейшего резко ухудшилось: он стал крайне раздражителен, ипохондрия окончательно овладела им. К этому прибавились резкие боли в животе. Неумытый, в халате, он уныло бродил по мягким коврам, хлопая шлепанцами. Адъютанты не допускали к нему посетителей, сами же ходили тихо и переговаривались шепотом. Демидов с тревогой заглядывал в лицо князя: оно осунулось, стало серым. Страшная усталость улавливалась в его взгляде.

— Вы больны, ваше сиятельство. Нужны лекари! — осторожно намекнул как-то Демидов.

Потемкин с завистью взглянул на свежее, розовое лицо юного офицера.

— Ах, Демидов, старого не воротишь! — с горечью сказал он.— И я был совсем недавно таким, как ты! Быстро пролетела младость!..

— Вы несчастливы, ваше сиятельство! — с горьким сочувствием вымолвил Николай Никитич. Ему стало невыносимо жаль еще недавно могучего и красивого гиганта, теперь сраженного духовной и телесной немощью.

— Ты, Демидов, не жалей меня! — с вялой раздражительностью продолжал светлейший.— Может ли быть человек счастливее меня? Все прихоти мои всегда исполнялись, как будто каким волшебством: хотел чинов — имею, орденов — имею, любил играть — проигрывал суммы несчетные, любил строить дома — построил дворцы, любил дорогие вещи — имею столько, что ни один честный человек не имеет так много и таких редких! Все страсти мои, Демидов, всегда удовлетворялись. Разве я не счастлив?.. Эх-х!..— Он схватился за бок и протяжно застонал: — Что же это? Неужели так скоро смерть?

— Ваша светлость, вам нужен хороший лекарь, и все пройдет!

— Отстань, зови Попова!

Пришел правитель канцелярии, но Потемкин отвернулся к стене и выдавил угрюмо:

— Нет, не могу... Дела потом...

Попов и адъютант неслышно удалились.

На третий день по приезде Потемкина в Галацы скончался любимый им генерал, принц Карл Вюртембергский. Мрачный, осунувшийся, князь отправился отдать последний долг усопшему. В переполненной церкви было жарко, душно от густого запаха росного ладана. Потемкину тяжело дышалось. Он не сводил взора с воскового лица покойника. В провалившихся глазницах копошилась зеленая муха. Светлейшему почудился запах тлена. До крайности расстроенный, утомленный духотою, Потемкин медленно вышел из церкви. Гайдуки бросились звать карету. Не обращая ни на кого внимания, опустив голову, светлейший тяжелой поступью спустился с каменных ступенек, по роковой рассеянности вместо своей кареты сел на дроги, приготовленные для покойника.

Когда Демидов подбежал к Потемкину, тот был бледен и дрожал как в лихорадке. По толпе прошел гул удивления.

— Не к добру это! — только и мог вымолвить Потемкин.

Суеверный и впечатлительный, он почувствовал себя крайне плохо. Поддерживаемый Демидовым и Поповым, он с потемневшим лицом добрался до кареты и окончательно упал духом...

Вечером он почувствовал озноб и жар, болезнь с неотвратимой последовательностью овладела им. Полная апатия охватила князя. Долгими часами он лежал в безмолвии. Обеспокоенный Попов ежедневно слал донесения государыне о ходе болезни светлейшего.

«Опять показался жар,— писал он Екатерине Алексеевне.— Его светлость проводил ночь в беспрестанной тоске, которая и в следующий день продолжалась. Доктора приписывают продолжение болезни накопившейся желчи. Для изгнания ее нужно принимать лекарства, до коих князь весьма неохотлив».

Потемкин и впрямь отказывался принимать лекарства и вовсе не соблюдал диеты. Ел все — кислое и соленое, а потом корчился от боли и изнывал в смертной тоске.

С большими трудностями уговорили князя переехать в Яссы, где была медицинская помощь. Туда же по вызову Потемкина прибыла и его племянница, графиня Браницкая. По-прежнему она щебетала и порхала по покоям князя. Увы, это не так давно очаровательное и милое для князя существо не производило на него былого впечатления! Жизнь постепенно, как иссякавший родник, уходила из больного тела. Не помогли и медицинские светила; страдания усиливались с каждым днем. Мужество и выдержка покинули Потемкина: он непрерывно стонал и жаловался на безнадежность жизни.

Иногда он впадал в беспамятство. В ночь со второго на третье октября в болезни наступило резкое ухудшение. В течение девяти часов врачи не находили у больного пульса: руки и ноги его стали холодны как лед, и лицо было неузнаваемо. С большими усилиями врачи привели его в сознание. Он глазами подозвал графиню Браницкую и попросил:

— Везите скорее в Николаев! По крайней мере умру в моем городе!

Перед отъездом он попросил Демидова вызвать Попова и продиктовал ему последнее письмо царице:

«Матушка, всемилостивейшая государыня! Нет сил более переносить мои мучения: одно спасение остается оставить сей город, и я велел везти себя в Николаев. Не знаю, что будет со мною. Я для спасения уезжаю. Вечный и благодарный подданный...»

Попов внимательно посмотрел на ослабевшего Потемкина. Тот взял у него перо и дрожащей рукой приписал: «одно спасение уехать...»

Затем он отвалился на подушки и заметался. Выезд был назначен на утро, но светлейший всю ночь не спал и беспрестанно спрашивал, подан ли экипаж.

Едва забрезжил рассвет, он, несмотря на густой туман, приказал везти себя из Ясс. Его осторожно поместили в большой шестиместной карете, и в сопровождении свиты, многочисленной прислуги и казачьего конвоя Потемкин покинул свою ставку.

Степные просторы, свежий ветерок оживили князя. Он понемногу успокоился и затих. Поезд из многих экипажей двигался очень медленно и только в седьмом часу достиг станции Пунчешты, в тридцати верстах от Ясс. Здесь князя ждала торжественная встреча. Но подготовленное торжество не состоялось. Утомленный дорогой и страданиями, Потемкин попросил вынести его из кареты. Его внесли в дом и уложили на диван. Светлейший стал метаться и стонать.

— Жарко... Душно...

Открыли окна, принесли холодной родниковой воды, но князь не мог успокоиться, продолжая терзаться. Только к десяти часам он забылся в тяжелом сне. Едва успела разместиться и уснуть его свита, в три часа ночи Потемкин открыл глаза и приказал ехать дальше. Он торопился. Но куда было спешить? Карета катилась по степи, однако на этот раз утренняя свежесть не ободрила его: чело стало восковым, скрюченными пальцами он шарил по лицу, стараясь снять что-то невидимое, словно паутину. Отъехав десять верст, Потемкин приказал остановить карету. Взглянув на заалевший восток, он страдальчески сказал:

— Будет теперь... Некуда ехать... Я умираю... Выньте меня из коляски... Хочу умереть в поле..

Ковыль был влажен от утренней росы. Наспех развернули ковер, принесли кожаную подушку и уложили больного. Лекарь смочил ему голову спиртом. Потянулись томительные минуты. Светлейший молча смотрел на небо, осиянное восходившим солнцем. И в эти минуты утреннего покоя, когда все пробуждалось от ночного сна, Потемкин вдруг зевнул и, глубоко вздохнув, потянулся...

Конвойный казак, сопровождавший князя, снял шапку и перекрестился:

— Отходит князь...

Графиня Браницкая с плачем упала на колени, схватила холодеющую голову Потемкина и дула в его посиневшие уста.

Врачи скромно отошли в сторону.

— Глаза бы ему закрыть! — скорбно сказал казак и оглянулся на свиту. Демидов обшарил карманы в поисках империалов, но карманы были пусты. Он просяще взглянул на Попова; тот или не понял, или не хотел расстаться с золотыми, так как промолчал. Тогда загорелый казак подал два медных пятака, и ими покрыли глаза умершего...

Под ясным голубым небом, среди ковыльного простора люди в молчании пробыли несколько минут, а после разошлись от тела покойного, оставив графиню Браницкую изливать свое неутешное горе.

В той же самой карете, окруженной казаками с зажженными факелами, ночью тело Потемкина привезли обратно в Яссы...

3

По просьбе Попова Демидов быстро собрался и поскакал из Ясс с печальным известием в Санкт-Петербург. На душе Николая Никитича росла смутная тревога. Как все переменчиво! Покидая ранним утром ставку командующего, он проехал по пустынным, безмолвным улицам городка. Давно ли здесь все шумело и жизнь била ключом? Куда внезапно исчезли блестящие кареты, столичные петиметры и нарядные великосветские дамы, искавшие встречи с князем? Со смертью светлейшего сразу прекратились шумные балы, пьянящее веселье, и городок принял серый, скучный вид. Демидов тяжело вздохнул, опустил голову в глубокой за-

думчивости. Позади оставалось прожитое, золотая пора. Он понимал, что больше не вернется сюда, в ставку. Со смертью Потемкина все покончено с тем, что составляло круг его интересов, и от сознания этого на сердце Демидова стало еще тяжелее.

Адъютант скакал в одиночестве по осенней степи. В ней было тихо и неподвижно, как и во встречных дубравах, пылавших багрянцем. Навстречу ему высоко-высоко в ясной прохладе голубого неба, перегибаясь и извиваясь, как серебристый парус, тянула на юг курлыкающая журавлиная стая. Отрывистый и резкий крик журчанием ниспадал на землю с небесных высей и навевал грусть.

Снова замелькали знакомые почтовые станции с их вечной суетней и бранью расходившихся фельдъегерей. Ничто здесь больше не привлекало внимания Демидова. Он торопился в столицу, быстро продвигаясь на север. Скоро степи остались позади. Чудесная южная золотая осень отошла назад, ее сменили серое небо и беспрерывные надоедливые дожди. Чем дальше на север, тем тоскливее становилась природа. Пошли оголенные мокрые перелески, по которым бесприютно шарил пронзительный, холодный ветер. Дороги покрылись ухабами, наполненными грязью. Мимо мелькали серые полосатые версты. Как все это не походило на веселое, шумное путешествие с Потемкиным!

Под Санкт-Петербургом вдруг заголубело небо, и снова пошла сухая путь-дорога. В лесах, шурша, падал багряный лист. В час сияющего заката перед взором Демидова встала Гатчина: темнели купы высоких лип, и среди них высился массивный мрачноватый за́мок. Николай Никитич судорожно поежился: встреча с пребывающим здесь цесаревичем Павлом Петровичем не сулила ничего хорошего. Хоть и не хотелось ехать через Гатчину, но Демидов все же решил не сворачивать с пути.

У полосатого шлагбаума из караульного помещения выскочил офицер, наряженный в старый прусский мундир, и предложил Демидову сойти с коня.

— Курьер к ее императорскому величеству с важным известием! — закричал Николай Никитич.

Однако эти слова не возымели магического действия на гатчинского офицера.

— Прошу сойти, сударь! — с нескрываемой ненави-

стью разглядывая мундир потемкинского адъютанта, строгим голосом повторил он.

Демидов вспыхнул, дернул поводья, вздыбил коня, намереваясь проскочить шлагбаум, но выбежавшие мушкетеры грубо стащили его с седла и повели в замок, в котором находился Павел. Дворец этот подавлял своим казарменным видом. Строенный по указу царицы итальянским зодчим Ринальди для фаворита Орлова, после смерти владельца он был подарен государыней наследнику престола.

Проходя по широким аллеям, Демидов всем своим существом почувствовал, что попал в иной мир. В Гатчине все было сделано на прусский лад. На дорогах виднелись пестрые шлагбаумы с часовыми, одетыми в старинную прусскую форму времен Фридриха II.

После пребывания в южной армии, где Суворов и Потемкин стремились обмундировать солдата, сообразуясь с климатом и обычаями страны, где самые приемы и методы боя отражали своеобразный дух русского народа, все увиденное в Гатчине казалось Демидову издевкой над русским.

— Да что у вас за порядки! — обозленный задержкой, вскричал Демидов.

— Вы, сударь, помолчите! — строго отозвался караульный офицер.— Здесь не место для вольнодумства!

— Помилуй, какое же тут вольнодумство, если я не чувствую здесь русского духа! — не унимался Николай Никитич.

— Помолчите! — снова обрезал его офицер.— Вот и дворец его высочества.

Серая громада походила на грузную казарму, перед которой высились бастионы. На часах у дворца стояли часовые, затянутые в старомодные прусские мундиры, напудренные и с гамашами на ногах. Они отсалютовали караульному офицеру и пропустили его с Демидовым в обширный полутемный вестибюль дворца.

Потемкинского адъютанта поспешил принять другой офицер, мрачного вида, длинный и сухой. Зло оглядев демидовский мундир, он приказал:

— Следуйте за мною!

Тяжелым, грузным шагом он пошел по длинному коридору, увлекая за собою Демидова. В скучном обширном зале он остановился и сказал Николаю Никитичу:

— Обождите здесь! О вашем своевольстве будет сейчас доложено его высочеству!

Гремя шпорами, гусиным шагом он удалился из приемной. Демидов остался в одиночестве среди мрачных стен. Стыла тишина. Кто-то вдали неприятным голосом распевал романс. На нижних нотах голос спадал до хрипоты, на высоких — становился пронзительным и резал слух.

«Неужели это цесаревич Павел?» — со страхом подумал Демидов, вспоминая рассказы петербургских гвардейцев о том, что наследник престола любил петь романсы в подражание немецкому государю Фридриху II, который играл на флейте.

Демидов подошел к окну. В глубине парка среди деревьев догорал закат. Его нежные золотые блики угасали на поверхности зеркального пруда. Гатчинский парк застыл в неподвижности. Старые ивы свесили густые ветви в прозрачные воды. На глазах Николая Никитича творилось диво: прощальный солнечный луч пробился сквозь сетку ветвей и зажег внутри ивы сотни золотых и зеленых огоньков, вспыхнувших теплом. В эту тихую вечернюю минутку раздались громкие шаги и, с шумом распахнув дверь, адъютант Павла прокричал в приемную:

— Его высочество, великий князь пожелал вас видеть, господин офицер!

Демидов наслышался о вспыльчивом характере наследника и поэтому с большой робостью прошел в кабинет. Павел стоял посреди комнаты и холодными, пустыми глазами смотрел на потемкинского адъютанта. Николай Никитич вздрогнул. Серо-землистое лицо Павла, его рано облысевшая голова поразили Демидова своей мертвенностью. Наследник был удивительно некрасив: курносый, с большим ртом, с сильно выдающимися вперед челюстями. Павел холодно улыбнулся, блеснули длинные желтые зубы, и улыбка его походила на оскал мертвой головы.

— Как смел ты в потемкинской форме прибыть в Гатчину? — резким голосом спросил Павел Демидова, и лицо его мгновенно исказилось от вспышки гнева. Он побледнел, выпрямился, заносчиво закинул большую голову. Холодные глаза пронзили Николая Никитича.

— Ваше высочество, я одет по форме российских

войск и следую с весьма важным сообщением к государыне! — сдержанно, с достоинством ответил Демидов.

Павел шумно задышал.

— Из потемкинской ставки скачешь? Кто? — отрывисто спросил он.

— Состоял адъютантом у светлейшего,— дрогнувшим голосом отозвался Николай Никитич.

— Что сие значит — «состоял»? Разжалован? Опальным стал у князя? — выкрикивал Павел, не сводя мертвых глаз с офицера.

— Никак нет, ваше высочество!

— Что же тогда?

— Светлейший князь Потемкин отошел в вечность!

— Умер! — Лицо Павла залилось румянцем.

— Умер! — скорбно ответил Демидов.— О том и тороплюсь уведомить государыню!

— Умер! Догадался! — весело захлопал в ладоши цесаревич.— Что же ты сразу не сказал! Ах, какая приятная новость!

И, не скрывая своей радости, Павел пустился в пляс. Ошеломленный Демидов изумленно смотрел на дикий восторг наследника. Пробежав по кабинету, цесаревич успокоился и подозвал к себе Демидова.

— Почему не радуешься вместе со мною?

— Смерть не веселит, ваше высочество!

Павел провел ладонью по своему плоскому лицу, улыбнулся.

— Ты очень смел! — отрезал он и взял Николая Никитича под руку.— Вижу, что ты достойный офицер, не сделался негодяем, как все бывшие при нем! Видно, братец, много в тебе доброго, что ты уцелел и стал хорошим слугой престолу!

— Ваше высочество, о покойниках плохого не говорят!

— Мне все можно! — гневно прервал цесаревич.— А ты мне понравился. Желаешь у меня в Гатчине служить? Я сделаю из тебя отменного офицера!

Демидов испугался, но быстро нашелся:

— Ваше высочество, мне другое на душу пало. Надо торопиться на Урал поднимать запущенные заводы.

— Так ты заводчик! А жаль! Сейчас уходи, а завтра на смотр явись,— может, передумаешь! Ну-ну, иди...

Он толкнул Демидова в плечо и засмеялся:

— Твое счастье! Добрая весть выручила тебя из беды!

Ошеломленный Николай Никитич вышел из кабинета. Ночью в отведенном ему покое он много раз просыпался, вставал с постели и подходил к окну, прислушиваясь к шуму деревьев в парке. Темно-синее небо было усеяно звездами, луна поднялась над парком, и призрачный зеленоватый свет ее наполнил пустынные аллеи. Среди безмолвия замка особенно неприятными казались прусские выкрики часовых. Демидов прижал пылающее лицо к холодному стеклу и с горечью подумал: «Курносик, цыплячья грудь, вспыльчив, оглядывается на Пруссию — и это будущий император России!»

Он вернулся к постели, вздыхая, лег под одеяло и уснул тревожным сном.

4

На ранней заре пробил барабан. Демидов вскочил и быстро оделся. Он торопливо выбежал на плац-парад, где в полутьме осеннего рассвета выстроились три батальона гатчинцев. Роты торопливо, бесшумно выстраивались во фрунт,— каждую минуту мог появиться великий князь. Что это были за солдаты! Затянутые в прусские старомодные мундиры, они походили на угловатые манекены. Дезертировавший из армии Фридриха и теперь служивший у Павла полковник Штейнвер грузным, размеренным шагом обходил фрунт с длинной тростью в руке. С мрачным видом он проверял обмундирование солдат. То и дело свистела трость.

— Как ты пудрил голова, осел! Парик! — багровея, кричал он.

На правом фланге застыл эскадрон кирасир. Завидя их молчаливые ряды, полковник Штейнвер вдруг схватился за голову:

— Бог мой, где же майор Фрейганг? Как смел он опоздать, ежель его высочество сей момент пожалует!

Немец бесился, рассекая тростью густой утренний воздух, насыщенный сыростью. Толстый нос его раздулся, побагровел, маленькие заплывшие глазки налились злостью. Однако подбежать поближе к лошадям он побоялся. В отчаянии полковник выкрикивал:

— Бог мой, что сделает со мной его высочество за такой порядок!

— Беспорядок! — подсказал Демидов.

— Я прошу вас, господин офицер, не вмешиваться в мои рассуждения! — смерив холодным взглядом адъютанта, крикнул немец.— Ежель его высочество допустил вас на развод, то учись, как надо служить своему государю и что есть воинская дисциплина. Там твое место! — указал он Николаю Никитичу в сторонку.

Демидов сдержанно поклонился и отошел к левому флангу. С любопытством он рассматривал гатчинские войска, о которых ходило много толков в столице и в армии. Павел Петрович стремился во всем походить на своего прадеда, царя Петра Алексеевича. Он мнил, что его гатчинские батальоны, подобно «потешным» царя Петра, послужат основой для будущей военной мощи России.

Обучением своих гатчинских солдат Павел, очевидно, преследовал две цели: первая заключалась в подготовке к военной реформе, которую замышлял он, и вторая, косвенная,— в критике армии государыни Екатерины. Все, что было внесено нового в русскую армию Суворовым и Румянцевым, Павлом резко осуждалось и порицалось.

Увы, далеко было гатчинским батальонам до «потешных» царя Петра Алексеевича. Все русские люди негодовали, видя в поступках и действиях Павла стремление возвратиться к временам «голштинцев» печальной памяти Петра III. Напрасно великий князь пытался возродить безвозвратно ушедшее, теперь казавшееся жалким и смешным...

Демидов еле сдерживал негодование, боясь навлечь на себя яростный гнев Павла.

В глубоком безмолвии прозвучала прусская команда полковника Штейнвера. Ее резко повторили по батальонам, ротам и эскадрону офицеры с длинными тростями в руках. С гранитных ступеней дворца на плац-парад спускался Павел. Он старательно выкидывал вперед носки. В больших ботфортах он выглядел очень неуклюже. Его короткое туловище, которому он изо всех сил старался придать изящество и благородное достоинство, еще больше делало его смешным и жалким.

«Курносый чухонец с движениями автомата!» — насмешливо подумал о нем Демидов и сейчас же ужаснулся этой мысли.

Между тем Павел пересек площадку и приближался к эскадрону кирасир. Полковник Штейнвер всеми силами старался отвлечь внимание великого князя от конницы, но тот стремительно подлетел к фрунту. Закинув голову, Павел быстро и строго оглядел эскадрон. Глаза его вдруг расширились, ноздри раздулись, и он, разражаясь бранью, закричал на всю площадь:

— Где майор Фрейганг? Где он?

Словно на окрик, из-за эскадрона выехал опоздавший майор и застыл перед взбешенным великим князем.

Злыми глазами Павел разглядывал нарушителя дисциплины. Тот не дышал. Неподвижный, холодея от ужаса, он просидел в седле несколько минут перед Павлом с опущенным палашом и вдруг свалился, как сноп, наземь.

Павел брезгливо поморщился и кратко бросил:

— Убрать! К врачу!

Возбужденный от гнева, он огляделся и заметил Демидова.

— Видишь красавца? — указал он на оседланного жеребца майора Фрейганга.— Учили тебя командовать эскадроном? — ехидно спросил он офицера.

— Учили! — решительно ответил Демидов.

— А коли так, покажи себя, какой ты конник! — И, оборотясь к полковнику Штейнверу, великий князь приказал: — К маршу!

Роты двинулись; высоко вскидывая ноги, выбрасывая носки и не сгибая колен, пошли мимо Павла. За ними Демидов молодецки провел эскадрон.

«Что за каприз? Непременно взгреет теперь!» — подумал Николай Никитич, и в глазах его потемнело. Когда он проносился на чужой лошади мимо великого князя, он не видел ни удивленного лица его, ни восхищения. Мелькнули перед взором только белые лосины и высоко поднятая трость Павла, которой он отсчитывал движение колонн.

После учения Павел не замедлил подозвать к себе потемкинского адъютанта. Он схватил его за руку и сильно ущипнул острыми ногтями. Демидов хотел отойти, но великий князь еще сильнее впился в него ног-

тями. Побледневший офицер застыл на месте, прикованный страшными глазами Павла.

— Скажи, братец, там, в армии Румянцева и Суворова, что я из вас потемкинский дух вышибу! Я вас туда зашлю, когда буду императором, куда ворон ваших костей не занесет!

— Ваше высочество, я тороплюсь. Долг превыше всего! — пролепетал Демидов.

Павел быстро отошел от потемкинского адъютанта. В раздумье он внезапно повернулся и, к большому удивлению всех офицеров, выкрикнул Демидову:

— Молодец! Бравый офицер! В добрый путь!..

Через десять минут Николаю Никитичу подвели его скакуна. Он быстро вскочил в седло, перед ним подняли шлагбаум, и все сразу отошло назад, как скверный сон.

С тяжелым сердцем Демидов поскакал в Санкт-Петербург. С запада ветер пригнал тучи, скупое осеннее солнце скрылось, и заморосил дождь. С невеселыми думами Николай Никитич торопился в столицу. Прошло два часа, и она стала подниматься перед ним в серой мути осеннего дождя...

Явившись к статс-секретарю Храповицкому, Демидов со слезами на глазах вручил ему известие о смерти Потемкина. Храповицкий передал его Екатерине Алексеевне и вернулся к Демидову.

— Посиди у меня! — печально предложил статс-секретарь.— Большое горе посетило нас и государыню... Плачет! — чуть слышно ответил он на немой вопрос Демидова.

Храповицкий был бледен и расстроен.

— Что же теперь мыслишь делать? — обратился он к Демидову.— Будешь ли служить в войсках или вернешься в Санкт-Петербург, в гвардию?

— Ни то, ни другое! — решительно ответил Николай Никитич.— Буду просить вас и всемилостивейшую государыню отпустить на заводы!

Храповицкий поднял глаза и одобрительно посмотрел на опекаемого:

— Ты решил правильно! Пиши просьбу и поезжай. Я всегда твой ходатай перед монархиней.

Они грустно переглянулись и больше не проронили ни слова...



ЧАСТЬ 2

Глава первая

1

В 1793 году Николай Никитич Демидов достиг совершеннолетия, которое отпраздновали в Нижнем Тагиле пальбой из пушек, колокольным звоном, торжественным молебном и шумным пиром. Управляющий Тагильскими заводами Александр Акинфиевич Любимов не пожалел денег, чтобы отметить знаменательный день своего хозяина. Теперь Николай Никитич становился полным властелином десятка уральских заводов и вотчин, раскинутых по многим губерниям Российской империи. Увы, он становился также обладателем многих векселей, выданных им ростовщикам в бурные годы гвардейства. После торжественного молебна молодой Демидов был введен во владение своим уральским горным царством.

На площадь перед демидовским дворцом выкатили бочки с сивухой и пивом для работных. Управляющий наказал, чтобы мужики явились благопристойно одетыми, а бабы — в пестрых сарафанах, чтобы хороводы водили и по чести величали господина. Но только дорвались люди до хмельного, как пошло шумное, гамное и куражное веселье. Куражились все: и поп по прозвищу «Не балуй, батя», и приказчики, и мужики, и бабы. Скудельного козла, что с давних лет жил при пожарке, и того, озорства ради, напоили пьяным. Седобородый козлик блеял, шатался и всё старался боднуть. Попику это пришлось не по нутру, и он, засучив рукава, полез в драку. Подслеповатый дьячок удерживал священнослужителя от соблазна. Весьма охочий до ядреных и румяных баб и любитель подраться на кулачки, батюшка взывал:

— О господи, искушения ноне сколь! И потешиться не дают грешному!

Оставив козла, духовный отец забрался в самую гущу людей, где больше всего толпилось хмельных баб, и старался как бы ненароком ущипнуть какую-либо молодку за крутой бок.

Только управитель заводов Любимов держался благопристойно и на все вопросы своего хозяина отвечал вдумчиво и основательно. Как он не походил своею наружностью и повадками на старых тагильских приказчиков! Дородный, с окладистой выхоленной бородой, с умными глазами, он выглядел внушительно. Носил Александр Акинфиевич кафтан из добротного темного сукна, не признавал барских выдумок: тонких сорочек с кружевами, париков и дорогих шляп. С работными управляющий вел себя ровно, но сугубо строго. При разговоре не выходил из себя, говорил спокойно, с весом и тем вызывал почтение. Окончив горнозаводскую школу, он понимал толк в письме и счете. К Демидову Любимов относился почтительно, но не лебезил перед господином. Если бы не уральский крепкий говорок, можно было бы счесть Александра Акинфиевича за помещика средней руки. И жил он скромно, хотя, без сомнения, откладывал на черный день. В его небольшой квартирке всегда соблюдались чистота и опрятность, не было ни суеты, ни шума, а тем более — ругательств. Молчаливая и приятная жена Варвара Тихоновна покорно во всем подчинялась мужу, но он, однако, не пользовался своею властью во вред семье.

Николай Никитич ценил своего управителя: Любимов не кричал, не топал ногами, не терзал работных батогами, рогатками и побоями, как это в свое время делал приказчик Селезень. Александр Акинфиевич умел тихо, без крика и угроз, выжать из работного все силы. Были подозрения, что он неравнодушен к хозяйскому добру. Но не пойман — не вор! Вел он заводское хозяйство рачительно и если притаивал от Демидова, то делал это умело и незаметно. Про него в народе ходила поговорка: «Живет так, что волк цел и овцы пока с голоду не перевелись!»

Вот и сейчас, пребывая с Николаем Никитичем на балконе дворца, разглядывая пьяную толпу, он спокойно рассуждал:

— На гулянку много потратили, господин; однако

все в свое время вернется с лихвой. Взгляните, сударь, на работного: народ ноне пошел решительный и отчаянный. Смотрит волком, только и ждет часа, чтобы вцепиться в горло хозяевам. Такой народ надо держать и строго и ласково!

— С кнутом и пряником, так, что ли? — спросил, улыбаясь, Демидов.

Любимов блеснул серыми умными глазами.

— Именно так, господин! Кнутом и пряником да обещаниями можно долго еще держать народ в повиновении. На наш с вами век хватит. Главное — запомните, сударь: от работного можно и должно все выжать, но только не след его раздражать излишними грубостями! — Голос Любимова звучал ровно, вкрадчиво. Неторопливыми шагами он отошел от балкона и поманил за собой Демидова.

Николай Никитич послушно пошел за управителем в дальние покои, в которых когда-то проживал грозный Никита Акинфиевич. Лицо управителя выглядело многозначительно. Он повернулся к хозяину и пообещал:

— Я сейчас, сударь, кое-что покажу вам, от чего душа ваша возрадуется! Кстати, и о делах потолкуем, как дальше нам жить!

Он привел Николая Никитича в длинную, хорошо освещенную комнату. Демидов поразился: в ней на белой стене в тяжелых почерневших багетах висели портреты.

— Любуйтесь, сударь! Предки ваши-с! — кивнул на полотна Любимов.

Предки выглядели солидно, внушительно. Откуда только такая важность у них взялась? Прямо перед Николаем Никитичем темнел известный портрет Никиты Антуфьевича — основателя уральских заводов. Прадед черными пронзительными глазами строго смотрел на своего выхоленного потомка. Голый высокий череп Никиты отсвечивал, и казалось, вот-вот по нему от дум соберутся морщинки. Молодой хозяин очарованный стоял перед портретом.

— Как же ты добыл эту реликвию из Невьянска? — радостно удивляясь, спросил он управляющего.

— К нашему огорчению, это копия! — со вздохом отозвался Любимов.— Однако превосходная копия. Исполнена она кистью нашего крепостного живописца

Худоярова. Всмотритесь в дивное искусство: ничуть не отличить от подлинника!

— Жаль, что не подлинник! — обронил Демидов.

— Конечно, жаль, но то ведайте, что и копию сию с большими трудностями удалось снять,— хмуро вымолвил управляющий.— А удалось это потому, что новый владелец, известный вам Савка Собакин, ныне Яковлев, помер в тысяча семьсот восемьдесят четвертом году, а сынок его, столичный корнет конной гвардии, в уважение к вашему гвардейскому званию только и разрешил переписать портрет... Глядите, сударь, живет, ей-ей, живет Никита Антуфьевич! — Любимов двинулся вправо-влево, а за ним, словно живой, следовал властным взглядом Никита Демидов.

— Большой и умный хозяин был! — почтительно вымолвил Любимов.— А вот и дед ваш Акинфий Никитич,— указал на соседний портрет управитель. Из рамы, в обрамлении пышного парика и тонких кружев, смотрело строгое волевое лицо с нахмуренными бровями.— Оба эти великие зачинатели рода Демидовых отстроили двадцать три завода! — торжественно продолжал Любимов.— А вот смотрите, сударь, и батюшка ваш — Никита Акинфиевич! — перевел он взгляд на барственно обряженного и горделивого заводчика.— Не он разве положил начало прославленным Кыштымскому и Каслинскому заводам? Им же отстроен и Верхнесалдинский! Вот это люди и хозяева были! Кремень, умницы и сильная рука!

Николай Никитич с суеверным страхом разглядывал потемневшие полотна. С них смотрели кряжистые, сильные натуры: резко очерченные, волевые лица с упрямым, умным взглядом проницательных глаз. Никуда не уйдешь и не скроешься от этих хозяев!

Демидов долго и задумчиво вглядывался в лица своих предков. В то же время как бы внутренним оком он со стороны рассматривал себя. Его так и подмывало услышать лестное слово о себе. Он лукаво посмотрел на Любимова и вежливо, мягко сказал:

— Весьма похвально, что позаботился о фамильной галерее. Как видишь, демидовскому роду есть чем гордиться. А рассуди, Александр Акинфиевич, похож ли я на предков своих?

Управляющий улыбнулся:

— Я ожидал этого вопроса, сударь. И мечтаю,

господин, чтобы и вы по силе и могуществу в один ряд стали со своим дедом и отцом! О том и речь поведу.

Он стал серьезным и задумчивым. Николай Никитич поморщился.

— Нельзя ли скучные разговоры о делах отложить на другой день? — попросил он.

— Нельзя, сударь! — строго вымолвил Любимов.— День ныне знаменательный: становитесь вы на широкую дорогу. Садитесь, господин, за сей стол, и я вам открою тайное, что надлежит вам знать, как владельцу многих заводов!

Демидов уселся за массивный дубовый стол. На нем лежала толстая шнуровая книга в кожаном переплете с медными застежками.

— Евангелие? — спросил он.

— Да, сие есть особое евангелие. Это книга живота и смерти рода Демидовых,— сказал Любимов и построжал.— В сей книге, сударь, как в зеркале, отображены движения дел и замыслов на ваших заводах!

— Ох, цифири! Скучно же, Александр Акинфиевич, разбираться с ними! Отложим! — запротестовал Демидов.

Управитель остался неумолим и, не отодвигая книги, начал:

— Вот вы изволили спросить меня, похожи ли вы на своих предков? Взглянув на ваш облик, каждый подтвердит это. И вы не только похожи на дедов своих, но и превзошли их внешним обликом.— Управляющий хитрым взглядом оценил сидящего перед ним хозяина и льстиво похвалил: — Посмотришь на вас — истинный вы князь! Дай бог, в добрый час будь сказано это слово! Хоть ваш батюшка и был дворянин, как есть дворянин с головы до пят: дороден, величав, умен. Ох, умен! Но вы, Николай Никитич, пошли дальше их! Тут и сомнений не может быть!..

Помедлив, Любимов протянул руку к толстой книге, расстегнул медные застежки.

— А теперь заглянем в сию библию и посмотрим, кто же вы такой, господин мой, и что делается у нас? Власть и могущество господ Демидовых зиждутся на работе заводов. Вотчины и оброчные статьи в счет не могут идти. Судите сами: в доходе за девяносто первый год оброчная сумма составила всего тринадцать тысяч

рублей! Велики ли сии деньги в сравнении с заводскими доходами? Мелочь, сущая мелочь, господин! Обратимся к работным людям. Ваш блаженной памяти батюшка Никита Акинфиевич имел от заводов в год доходишко в двести шестьдесят пять тысяч рубликов, а если прикинуть сие по цифирной науке, то выходит, ваш батюшка имел восемьдесят восемь процентов чистой прибыли! Где это видано, и отколь сие взялось? Надо уметь, государь мой, вести заводы и работную силу использовать до донышка... Всплачутся? Ничего! Без слез, пота и даже крови...— тут Любимов снизил голос до шепота и повторил: — Да, без крови не создашь великих богатств!

Николай Никитич поморщился и снова перебил:

— Скучный разговор ты затеял!

Управитель встрепенулся:

— Это верно, не радостный. Но если уразуметь цифры, то они, как песня, всколыхнут душу. Вы, господин, потерпите. Обратимся сейчас к нашим делам. Если возьмем опять семьсот девяносто первый годик, когда вы пребывали на службе у светлейшего князя Потемкина, то по московской конторе доход был от продажи железа триста десять тысяч рублей, а расход — триста семь тысяч! Кажись, и остаток был! Но не радуйтесь прежде времени, сударь: остаток объясняется тем, что в ход пошли в тот годик деньги, которые хранились со смерти вашего батюшки в железных сундуках. Выходит, и здесь нет утешения. Но горше получается, если взглянуть на расходы ваши. Куда шли-катились денежки? На расширение заводов, на стройку новых? Не бывало этого, господин! По одной московской конторе вами израсходовано двести тысяч рубликов! Каково? А всего — не приведи бог! — безнадежно махнул рукою управитель.— Вот и захирение началось, вот и долги пошли! И еще подумайте: двум сестрицам по наследству полагается выдать немалые суммы, а где их взять?

Управитель пытливо уставился на Демидова. Николай Никитич недовольно пожал плечами:

— К чему вся эта речь, Александр Акинфиевич?

— Должен по правде сказать вам, господин, что расточительность к добру не ведет!

— Я не расточительствую! — гневно перебил Демидов и вскочил из-за стола.

Большими нервными шагами он заходил по портрет-

ной. Любимов не растерялся; он встал и почтительно-угодливо следил за господином.

— Откуда ты это взял? — остановившись против него, недовольно спросил Николай Никитич.

— Может быть, мною не то сказано, что хотелось, мой господин,— смущенно ответил управитель.— Но сравните сами: ваш батюшка за два года путешествия истратил за границей семьдесят пять тысяч. Велики деньги, но и умного немало извлек из сих странствований Никита Акинфиевич. Теперь же иное пошло. Управляющий санкт-петербургской конторой Павел Данилович Данилов установил вам, господин мой, на личные расходы восемьдесят тысяч в год. Сумма превеликая! И что же? Далеко, весьма далеко вами превзойдены оные суммы! При таких расходах упадок заводов идет! Вы не сердитесь, Николай Никитич, что в такой день да такие речи повел...

Демидов тяжело опустился в кресло.

— Вот обрадовал, ох, обрадовал меня! — вымолвил он с горечью.— Что же теперь будем делать? Неужели выхода нет?

Уверенность сошла с лица молодого хозяина. Он поник и с надеждой взирал на управляющего:

— Что делать?

— Выход имеется, господин мой! — твердо ответил тот.— Вы сами кузнец своего счастья! Надо умерить расходы и пустить деньги на процветание заводов. А дабы долги и недостатки покрыть, срочно надо раздобыть деньги.

— Легко сказать! Да где их взять в долг? — огорченно выкрикнул Николай Никитич.

— Долгов избегайте, мой господин. Потребно приращение богатств устроить иным путем.

— Грабежом заняться прикажешь на большой дороге? — с насмешкой сказал Демидов.

— Зачем грабить? А не лучше ли жениться? — отрезал управитель и замолчал. Безмолвствовал и хозяин. Долго длилось тягостное безмолвие. Снова тихо и вкрадчиво заговорил Любимов:

— Иного выхода не вижу... Невесту бы из старинного рода, да побогаче. И все хорошо!

— Да где такую найдешь?

— Поезжайте, господин, в Санкт-Петербург, там и увидите! Много хороших людей проживает там. Есть и

Строгановы, и Всеволожские, и Гагарины, да мало ли знатнейших дворянских фамилий на Руси! Поезжайте, господин мой!

Демидов призадумался и снова заходил по комнате.

2

Впервые на петергофское гуляние Николай Никитич отправился в духов день. Вместе со старым потемкинским сослуживцем Энгельгардтом он солнечным утром выехал в своей фамильной карете в Петергоф. Несмотря на ранний час, шоссе поразило их своим веселым оживлением. По направлению к взморью катились тысячи карет, экипажей, дрожек, гитар[1], в которых ехало самое разнообразное общество. Их обгоняли кавалькады блестящих гвардейских офицеров. Всю дорогу раздавались смех, шутки; веселье захватило всех в это чудесное летнее утро. Карета Демидова лишь к полудню пробилась к Петергофу, ласкавшему глаз свежей зеленью парков.

Неподалеку от фонтанов Николай Никитич приказал кучеру остановиться и вместе с другом пошел по тенистой аллее. Здесь гуляло много военных и столичных модниц. Что за красавицы встречались тут! Под взглядом озорного повесы они томно опускали глаза, но все же Демидов успел перехватить не одну мимолетную женскую улыбку. Гуляющие медленно двигались к фонтанам и прудам. Впереди, где распахнулось голубое небо, на фоне его, рассыпая миллиарды сверкающих брызг, на жарком солнце искрометно били журчащие фонтаны. Вот и пруд! В прозрачной воде пламенем горели сотни играющих золотых рыбок. На берегу стояли кавалеры и дамы, любуясь прекрасным зрелищем. В глубокой зеркальной воде пруда со всеми оттенками отражались блестящие мундиры военных, наряды дам, улыбки, блеск жемчужных зубов и медленно плывущие белые облака.

Демидов долго не мог оторвать глаз от чудесных видений, которые влекли к себе. На душе было отрадно, необыкновенно легко; приятное ощущение своего здорового, сильного тела наполняло его. Случайно он поднял взор и увидел девушку. Кровь ударила ему в голову.

---

[1] Так в старину назывались дрожки.

Среди дам и блестящих кавалеров стояла высокая, тонкая красавица с прелестным свежим лицом. Золотистые волосы небрежными витками выбивались из-под шляпки и оттеняли нежный румянец. Продолговатые, с длинными ресницами, большие глаза были полны блеска.

«Ах, боже мой, что за прелесть!» — восхищенно подумал Николай Никитич и придвинулся поближе. Она взглянула на юношу, незаметно улыбнулась и скромно опустила глаза. Личико ее слегка вспыхнуло, отчего девушка стала еще привлекательнее.

Демидов склонился над прудом и стал искать ее отражение. Среди улыбающихся лиц, киверов, зонтиков он увидел соломенную шляпку кибиточкой, на которой распустила свой бутон бледная чайная роза. И там, в подводном зеленом царстве, взгляды их еще раз встретились.

«Что за создание!» Снова восторг наполнил его сердце.

Он сильно пожал руку Энгельгардту и, незаметно кивнув в сторону красавицы, прошептал:

— Скорее скажи, кто она?

Приятель удивленно посмотрел на Демидова.

— Елизавета Александровна Строганова — предмет вожделений многих! — сухо сказал он.— Не пытайся! Огромные вотчины в приданое, но еще большее число стремящихся стать женихами!.. Впрочем, твое дело...

Он отвернулся и опять залюбовался резвой игрой золотых рыбок.

Не замечая больше ни общества, ни пруда, Демидов осторожно и очень ловко приблизился к девушке. Он видел только ее одну и думал лишь о том, как бы представиться ей, не нарушив светского этикета. Но тут случилось неожиданное и весьма удачное происшествие. Девушка в растерянности обронила платок и жеманно вскрикнула.

Молодой повеса понял это в свою пользу. Он быстро наклонился, схватил на лету легкий, как пена, кружевной платок и подал Строгановой. Она покраснела, как пион, и сделала ему низкий реверанс.

Демидов открыл рот, чтобы представиться, но кавалеры и дамы, смотревшие рыбок, вдруг снялись шумной стайкой и увлекли красавицу за собой...

Один, всего лишь один раз, на повороте аллеи, ему удалось поймать на мгновение взгляд милых, пленительных глаз.

— Что, брат, не повезло! — насмешливо вымолвил Энгельгардт.— И неудивительно! Ее окружает столько тетушек, родных, знакомых... Пора, Демидов, к дому!..

Наступал вечер; на широкое шоссе, окаймленное рядами густых тополей, лилось золотое сияние ясного теплого заката. Снова тысячи карет, экипажей, гитар шумно катились к Санкт-Петербургу. Опять блестящие кавалькады обгоняли их. Сидя в коляске, Николай Никитич все время беспокойно озирался. Напрасно! Среди пестрого оживленного потока он не отыскал семью Строгановых.

В поздний час, когда в небе засеребрилась призрачная белая ночь над Санкт-Петербургом, Демидов все еще не мог успокоиться и решил проехаться верхом. Освеженный, одетый в черный бархатный камзол, он вскочил в седло и медленно поехал вдоль Мойки. И только не доезжая Невского, он угадал свою сердечную тоску: над рекой, на углу проспекта, против Демутова трактира, высился дворец, построенный Растрелли для старого Строганова. Демидов много раз любовался превосходным творением зодчего и понимал, почему вельможа предпочитал его другим дворцам, построенным им во множестве в своих вотчинах и в столице. Он живал только в этом и еще в двух-трех, другие же пустовали и постепенно разрушались.

В задумчивости Николай Никитич ехал вдоль набережной, и взор его невольно поднялся к окнам, выходящим на Мойку. Там, во втором этаже, в распахнутом окне он увидел знакомое личико. Девушка сидела в мечтательной задумчивости, положив головку на ладонь. Светлые локоны буйно ниспадали на лицо, большие зовущие глаза чудесно сияли.

Юноша поймал девичий взгляд.

Она растерянно вскочила, схватилась рукой за сердце и мгновенно растаяла в темном окне. Лошадь неторопливо пронесла Демидова мимо дворца. В сердце его боролись радость и тоска. Спустя полчаса он снова вернулся сюда, но все было тихо, окно закрыто, зеленый свет месяца струился над крышами Петербурга, и чуть-чуть шелестели тополя у решеток набережной. Ни-

колай Никитич понял, что он влюблен, и влюблен по-настоящему...

Через Александра Васильевича Храповицкого уральский заводчик получил приглашение на бал в строгановский дворец. С большим волнением Демидов вошел в гостиную, где ожидал встретить обожаемое существо.

В отделке обширного, великолепного дворца чувствовался тонкий вкус замечательного зодчего Андрея Никифоровича Воронихина. Хотя дворец возводил Бартоломео Растрелли, но, по желанию Строганова, его перестраивал и переделывал русский художник, выписанный бароном с Урала. Особенному переустройству подверглось внутреннее убранство дворца, где каждая деталь подкупала своей изумительной чуткостью и пленяла взор тонкостью рисунка. Как непохожи были демидовские покои на эти творения замечательного зодчего! И там и здесь работали те же крепостные люди. С далекого Каменного Пояса, из Усолья, Соликамска, Ильинского и Чердыни Строганов выписал крепостных умельцев-мастеров: каменщиков, лепщиков, художников, и они в несколько лет по замыслам Воронихина сотворили это чудо, которое пленяло многих знатоков искусства.

На верхней площадке лестницы Демидов неожиданно увидел опекуна Елизаветы Александровны, гофмаршала Александра Сергеевича. Это был пожилой человек среднего роста, слегка сутулый. В пышном парике и в коричневом, шитом золотом камзоле, он барственно-величаво чуть приметно поклонился гостю. Его усталые темные глаза при этом оживились. Барон, видимо, поджидал более высокого гостя, но сейчас не погнушался и Демидовым. Взяв Николая Никитича запросто под руку, он провел его в зал, где только что начинались танцы. С хоров, как половодье, лилась возбуждающая музыка, и на обширном блестящем паркете устанавливались пары. В ярком сиянии хрустальных люстр Демидов торопливо отыскивал глазами Елизавету Александровну. Он заметил ее в обществе тетушек и красивого черноватенького гвардейца. На сердце слегка заныло от ревности, но Николай Никитич быстро справился с этим и, невзирая ни на что, устремился к ней и пригласил на экосез [1]. Она величественно кивну-

[1] Бальный танец.

ла головкой, подала ему руку в белых митенках[1], и они понеслись в плавном танце. Демидов замирал от восторга: она была рядом с ним, он не мог ни отвести глаз от раскрасневшегося личика, ни начать разговор. Она же робко опустила взор, и ее небольшая грудь чуть-чуть вздымалась от скрытого волнения.

Он хотел рассказать ей о своих думах, навеянных прошлой встречей, но в эту минуту с внушительным видом вошел в зал дворецкий, поднял жезл, и музыка оборвалась на полутакте.

— Его высочество великий князь Павел Петрович! — торжественно оповестил слуга.

По залу прошло нескрываемое волнение. Все потеснились, кавалеры и дамы выстроились вдоль прохода, направив возбужденные взоры на распахнутые двери.

В сопровождении хозяина, позванивая огромными звездчатыми шпорами, в ботфортах и с тростью в руке, быстро вошел небольшой худенький человек. Демидов сразу узнал цесаревича. Он был в излюбленных им белых лосинах, которые плотно обтягивали его тощие ляжки. Из-за отворота зеленоватого мундира блистали бриллиантовые звезды, а на шее на золотой витой цепи висел большой белый крест. Маленькое сухое лицо великого князя и на сей раз показалось Демидову блеклым и плоским; в пышном белом парике, заплетенном позади небольшой косичкой, оно выглядело незначительным. В левой руке цесаревич держал огромную треуголку с плюмажем из страусовых перьев...

Павел на мгновение остановился, вскинул голову и стукнул тростью. Сразу все снова пришло в движение: дамы присели в глубоком реверансе, а кавалеры низко поклонились.

Цесаревич скупо улыбнулся и, высоко поднимая ноги, ставя их на полную ступню, пошел среди примолкнувшего общества. Его широкий рот все время пытался улыбнуться, но это походило на неприятный оскал.

Демидов стоял рядом с Елизаветой Александровной, когда цесаревич, минуя всех, остановился подле нее, бесцеремонно протянул сухую руку и, взяв девушку за подбородок, сказал:

---

[1] Перчатках без пальцев.

— Как прекрасна!

Великий князь поклонился Строгановой, приглашая на танец; в ту же минуту подбежал адъютант принять из его рук треуголку и трость. Елизавета Александровна оказалась в паре с цесаревичем.

С хоров снова полилась музыка, и пары закружились в менуэте.

Всего несколько минут длилось это удовольствие. Глаза девушки блестели, округлялись, она вся пылала от счастья. Великий князь в такт танцу склонял голову, и его пышный парик колебался. По сравнению с цветущей, сияющей молодостью партнершей он казался хилым и жалким, хотя старался придать своим движениям величественность. Он провел ее через весь зал и затем откланялся. И вновь танцоры отступили в стороны, а Павел в сопровождении Строганова удалился в дальние покои.

В этот вечер Николай Никитич больше не видел великого князя. Через час лишь он мелькнул в конце зала, на выходе, окруженный адъютантами, и исчез так же внезапно, как и появился.

Елизавета Александровна взяла Демидова под руку и отошла с ним в сторону. Они прошли анфилады комнат, полных гостей, и наконец в маленькой угловой гостиной присели на диван.

— Понравились вам петергофские фонтаны? — непринужденно спросил он.

Она склонила головку на длинной шейке и прошептала:

— Весьма...

— Помните пруд и золотых рыбок?

— Не спрашивайте! — тихо ответила она и сильно сжала его руку.

— А вечер, час белой ночи?

— Мне стыдно! — еще ниже она поникла головкой.

— Какое вы еще дитя, моя милая! — восхищенно промолвил он и впился взором в худенькие плечи.

В эту минуту она была очень хороша, с полуоткрытым ртом и милой улыбкой на устах.

— Как вы сказали? — дрожащим голосом переспросила она.

Гостиная опустела. Демидов ничего не ответил, он нежно притянул ее к себе и прошептал на ухо:

— Я люблю вас...

Она мигом вскочила и побежала к двери:

— Скорее, скорее... Последний танец...

Над городом погасло серебристое сияние белой ночи, прозрачные дали померкли, и тихо шелестели тополя над Мойкой. Демидов вернулся домой, а на душе все еще продолжался праздник. Он велел Орелке разбудить Данилова и немедленно притащить к себе.

Слуга привел встревоженного управителя. Павел Данилович был в одном халате, в ночном колпаке и шлепанцах.

— Не дал и одеться толком, оглашенный! — пожаловался он на Орелку.— Что стряслось, Николай Никитич? Неужели опять беда настигла вас, господин?

— Жениться надумал! — выпалил Демидов.

— Что ж, дело хорошее, одобряю! — облегченно вздохнув, отозвался Данилов, но тут же снова помрачнел.— А невеста кто же, позвольте спросить? Ежели голь-шмоль, то и мы нонче не богаты. Что тогда, господин, запоем?

— Понравилась мне весьма Елизавета Александровна Строганова! Вот кто!

— Слава тебе господи! — перекрестился управитель.— Только что ж, она согласна, невеста-то? Разговор имели с их родственничками: она ведь сиротка? — пытливо уставился на хозяина Павел Данилович.

— Ни с кем не беседовал. Вот и не знаю, как к сему делу приступить? Через кого?

— Тут просто сваху засылать не гоже! — в раздумье присоветовал управитель.— Это тебе не купецкая дочь. И так я думаю, мой господин: отправляйтесь к опекуну своему Александру Васильевичу и попросите его пособить в таком щекотливом деле...

— Борода! Ух, и умная борода! — схватил Данилова в обнимку Николай Никитич и закружился с ним по комнате.

— Да побойтесь вы бога, господин, у меня от ваших радостей голова кругом пошла!..

На другой день Демидов поехал во дворец и был принят статс-секретарем императрицы. Он, не таясь, рассказал о своих намерениях Храповицкому.

— Я тебе друг и покровитель,— ласково ответил Александр Васильевич.— Вижу, ты перебесился и за ум взялся. Похвально! Пора зажить порядочной

жизнью. Если родные ее ополчатся, то станем просить заступы у матушки нашей государыни...

Однако защиты не пришлось просить. Через три дня Храповицкий сам приехал на Мойку в демидовский особняк. Он и увез своего опекаемого к Строганову.

На сей раз гофмаршал принял гостей в продолговатом полутемном кабинете, заполненном книгами. В комнате все выглядело просто: письменный стол красного дерева, диван и кресла. Ничего лишнего.

Строганов поднялся навстречу прибывшим и усадил против себя. Он был в темном бархатном камзоле, в башмаках с серебряными пряжками и в парике. Перед ним лежали раскрытые фолианты, гравюры, а поверх них лупа и очки в черной оправе.

У Строганова было немного желтоватое продолговатое лицо с широко расставленными усталыми глазами и мясистым, толстым носом. Оттопырив нижнюю губу, он с улыбкой смотрел на гостей.

Храповицкий без обиняков весьма учтиво и коротко изложил причину приезда.

Глаза Строганова стали серьезными, он промолчал.

Наконец он встал, протянув руки, подошел к Демидову и обнял его:

— Я буду рад породниться с вами, если Лизочка даст свое согласие.

— Ну вот и хорошо! — радостно вздохнул Храповицкий.— Для всех, разумею, будет хорошо... Чаю я, что Елизавета Александровна не будет против.

Спросили девушку; она стыдливо подняла глаза на опекуна и ничего не промолвила, но Строганов понял все и без слов. Укоризненно покачивая головой, он сказал:

— Да я вижу, вы тут и без меня столковались... Ну, дай бог, в добрый час! — Он приблизился к племяннице и поцеловал ее в лоб.— Будьте счастливы...

Вскоре за этим последовала свадьба, а спустя неделю Демидовы отправились в дальнее путешествие. Николай Никитич с супругой посетил Англию, Германию, Францию и побывал на острове Эльба, где осматривал рудники. Сопровождал его управитель нижнетагильских заводов Александр Акинфиевич Любимов, которому вменялось в обязанность досконально изучить горное и литейное дело и, что гоже, перенять для своих уральских заводов.

Через два года Демидовы возвратились в Россию и на короткий срок поселились в строгановском дворце.

3

Весной Николай Никитич выехал на Урал один, чтобы подготовить тагильский дворец к приему молодой жены. В короткий срок он добрался до старинного дедовского завода. Весна была в полном разгаре, прекрасный вид открывался с балкона на пестрые луга, зеркальный пруд и горы, покрытые хвойными лесами. Теплый ветер ласкал лицо, а солнце слало золотые потоки света, и в этом чудесном сиянии особенно хорошо выглядел запущенный сад, охваченный буйным цветением. Ночи стали прозрачными и короткими, рано светало, и на утренней заре с речки Тагилки плыл легкий туман над мокрой травой. Горласто кричали петухи в заводском поселке у Ключей.

Весна всегда приносит обманчивые и неопределенные, но сладкие надежды. Щемящее душу приятное ожидание чего-то хорошего наполняло сердце Демидова. Стоя на балконе, он жадно вдыхал пряный живительный воздух. Оттуда, где на берегу Тагилки в белой пене раскачивались кусты черемухи, наплывали волны такого сильного и сладкого запаха, что начинала кружиться голова. И снова, как весеннее наваждение, на Демидова нахлынули беспокойные думы о женщине. Они охватили его, как неодолимый сон, и горячили кровь.

Чтобы успокоиться, Николай Никитич ушел в купальню, разделся и поплыл по пруду. Холодные струйки подводных родников обожгли тело. Над гладью вод звучали громкие голоса, на мостках бабы гулко били вальками мокрое белье и весело перекликались, показывая на плывущего Демидова. На берегу лежала опрокинутая лодка. Подле нее трудились старик и загорелая девка, одетая в пестрое домотканое платье. Над ведром с кипящей смолой поднимался тонкий виток дыма: седобородый рыбак смолил челн.

Рыжеволосая молодка тихо отошла от суденышка, уперлась руками в бока и задумчиво стала разглядывать тихий плес, на котором медленно раскачивались белые водяные лилии.

Демидов саженками подплыл поближе и залюбовался девушкой. Легкий ветер прижимал платье к ее сильному телу, обтекая молодые упругие формы. Завидя подплывающего мужчину, она нахмурилась. И таким милым, прекрасным было ее круглое загорелое лицо. В сердце Николая Никитича вспыхнуло знакомое ощущение любовной тоски. Он подплыл ближе и, нащупав ногами дно, встал среди сочной заросли.

— Эй, сынок, далеко забрался! — отечески пожурил старик.

— Нельзя голомя! — сдвинув брови, мягким грудным голосом крикнула девушка.

Она стояла все в той же горделивой позе, чуть-чуть закинув голову. Рыжие густые волосы спадали на плечи, во всем ее сильном теле, в загорелом смуглом лице было много нетронутой чистоты, прелести и радости жизни.

— Послушай, кто же ты? — ласково окликнул ее Николай Никитич.

— А я вас сразу узнала, барин! — отозвалась она.— Разве не помните Дуняшку? Рыжанкой вы прозвали и по тальнику гонялись за мной, еще мисс Джесси ругали вас за озорство... Скорее плывите до купальни! — Она блеснула зеленоватыми глазами и отошла к лодке.

«Неужели это Рыжанка? — подумал он.— Какая прелесть!»

Демидов нырнул, быстрые движения разгорячили его. Легко он доплыл до купальни, там выбрался из воды и проворно оделся. Из головы не выходила Рыжанка. В сравнении с ней жена неожиданно показалась слишком хрупкой, неземной, без огня и страсти.

Он почувствовал себя неловко, стремился отмахнуться от мыслей о Дуняшке, но в глазах все еще сверкала ее простая, милая улыбка, и никуда нельзя было укрыться от влекущих зеленых глаз.

«К чему томиться? И что в том худого, если я приближу ее к себе?» — раздумывал Демидов, стараясь оправдать свое влечение.

Он вызвал управителя и, нисколько не смущаясь, сказал ему:

— Тут девка одна есть, Дуняшка-Рыжанка!

— Красавица! — вставил Любимов.

— Так ты пришли ее в услужение ко мне. Понял? — вразумительно посмотрел на него хозяин.

«А как же супруга? Вот-вот наедет!» — хотел было возразить управитель, но покорно склонил голову:

— Что ж, можно прислать в услужение! Только должен по совести сказать вам: девка эта с коготками!

— Не страшно! — беззаботно отозвался Николай Никитич.— Ты не тяни долго. Сегодня присылай!

По заводу и во дворце шли спешные приготовления. Торопливо чистились заглохшие дорожки в саду, на острове стучали топоры, плотники восстанавливали храм Калипсо. Заново окрашивались стены барского дома. Покои хозяев обтягивали штофом, китайским шелком, обновлялись паркеты, промывались старинные хрустальные люстры. С утра до ночи в барском доме суетились слуги, раздавались песни, окрики. Заводские женки с подоткнутыми подолами, с загорелыми плотными икрами шлепали по лужам, разлившимся по комнатам. Они скребли, терли, наводили чистоту. Среди ядреных, здоровенных поломоек Демидов увидел и босоногую Дуняшу с высоко засученными рукавами. Наклонившись тонким станом, она проворно водила мокрой тряпкой по полу. Демидов взглянул на мелькавшие белые икры, залитые грязной водой, на ее тугие загорелые руки, увидел сильные и ловкие движения, и кровь в нем забурлила.

— Так ведь я для услуг велел тебя прислать! — приглушенно сказал он, подойдя к ней.

— Вот я и пришла! — спокойно сказала она и насмешливо взглянула на хозяина.

Выпрямившись, она держала в левой руке тряпку, с которой стекала на пол грязная вода, а правой утирала пот, выступивший на покатом чистом лбу. Несмотря на неприглядную обстановку, Дуняшка показалась Николаю Никитичу еще привлекательнее.

— Ты ко мне иди сейчас! — взволнованно предложил он.

— Мне и тут дела хватит, барин! — ровно и беззаботно отозвалась она.

— Тут дела для других, а для тебя у меня особое дело! — подчеркнул он и глазами указал на покои.

Выжав тряпку, Дуняша покорно пошла за ним. Босые девичьи ноги оставляли на полу мокрый след. За-

водские женки позади зашушукались. Демидова разбирала досада.

«К чему сегодня нагнал столько баб! Один день можно было обождать!» — недовольно подумал он о Любимове.

Он слышал, как за его спиной тихо и мягко ступала Дуняшка. Теперь она не смеялась своим серебристым волнующим смехом. Девушка тяжело дышала. Оба они сейчас хорошо понимали друг друга.

Идя за хозяином, Рыжанка горела от стыда и горя. Она отлично знала, зачем позвал ее барин, и со страхом переступила порог личных покоев хозяина. Высокие своды, тяжелая мебель, бархатные портьеры, бронза — все подавляло Дуняшу. На память невольно пришли рассказы стариков о прежнем владельце завода Никите Акинфиевиче, о Юльке и несчастной судьбе Катеринки — Медвежий огрызок. Вон в углу распахнутая дверь и лесенка. Не в светелку ли она ведет, в которой томилась горемычная Катеринка?

Демидов закрыл за собою дверь и, указывая на мебель, сказал Рыжанке:

— Оботри все, что тут есть!

Осторожно, озираясь, она стала переходить от вещи к вещи, бережно стирая пыль. Руки не слушались, дрожали. Следом за ней ходил Николай Никитич и, указывая перстом на кресла, глухо приказывал:

— И вот здесь нужно...

Голос его звучал нервно, жарко, а глаза так и шарили по ее рукам. Рыжанке стало страшно. Капельки пота выступили на золотистой коже лба. Она подняла руку, чтобы отереть их, и в это мгновение глаза девушки встретились с его отуманенным взглядом. Демидов вырвал из ее рук и отбросил мокрую тряпку. Не успела Дуняша опомниться, как хозяин схватил ее в объятия и стал покрывать потное лицо поцелуями...

Как-то разом отлетел страх: вся сила, которая до сих пор дремала в теле, всколыхнула Рыжанку. Она взмахнула локтем и отбросила Демидова прочь. Он не удержался и повалился на кресла.

— Что ты делаешь, дура! — закричал он.— Зачем толкаешься?

— Не лапь! Не твоя! — гордо закинув голову, выкрикнула она.

— Моя! Ты крепостная моя! Что хочу, то и сделаю! — взбесился Николай Никитич. Он двигался, словно пьяный, шумно дыша, не владея ни своим разумом, ни чувствами.

— Не подходи! — закричала она, и глаза ее дико блеснули.— Не подходи! Убью, а не дамся!

— Врешь! — весь красный, раздраженный, закричал он и протянул руки, чтобы обнять девушку.

Изо всей силы Дуняшка снова отбросила его локтем, и он покатился по паркету. Шлепая пятками, растрепанная поломойка выбежала из барских покоев. Ее звонкий голос прокатился по горницам:

— Бабоньки, не дайте в обиду! Барин озорничать вздумал!

— Ой, что ты! Что ты! — испугались бабы и всполошенным, шумным табунком окружили Рыжанку...

Однако Демидов больше не показался. За массивной дубовой дверью покоя было тихо. За окном погасал день. Луч солнца скользнул в окно и заиграл радужными огнями на хрустальных подвесках люстры.

Когда в доме успокоились, Николай Никитич вызвал к себе Любимова и сказал строго:

— Прошу тебя, Александр Акинфиевич, в другой раз не присылай сюда бесноватых!

— Слушаю! — угодливо поклонился управитель, а сам удовлетворенно подумал: «Не состоялась, стало быть, барская потеха!»

На другой день в Тагильский завод прискакал гонец и сообщил, что госпожа Демидова уже недалеко от плотины. И в самом деле, над дорогой поднялось и поплыло серое облако пыли,— приближался поезд супруги.

Тотчас ударили пушки. На доме взвились флаги. Одетый в парадный мундир лейб-гвардейского полка Демидов вышел на крыльцо в тот самый момент, когда в широко распахнутые ворота вомчалась тройка серых коней, запряженных в зеркально сверкавшую карету.

Супруга Демидова вступила в свои новые владения.

4

Работных, их женок и ребят согнали на встречу молодой хозяйки. Впереди всех стоял дородный управи-

тель завода с хлебом-солью на вышитом полотенце. Любимов зорко следил за церемониалом встречи. Он увидел, как Николай Никитич с большой важностью сошел с крыльца и направился к экипажу. Демидов сам распахнул дверцу кареты и протянул руку жене.

Из экипажа выпорхнула молодая женщина с высокой напудренной прической и в мягком сером бурнусе на плечах. Любимов замер от восхищения. Он не мог оторвать глаз от красавицы, от ее чистого и радостного лица. В васильковых глазах под длинными темными ресницами струилось много света и доброты. В ее задорной улыбке скользило милое, кокетливое лукавство.

Николай Никитич почтительно поцеловал руку жене. Покачивая маленькой головкой на точеной шейке, она прошла вперед и медленно обвела всех взглядом. Солнечное сияние осенило парик, обнаженную до локтя руку, освобожденную из мягких складок окутывавшего ее бурнуса, и голубизну продолговатых глаз. Любимову показалось, что она, после душной и пыльной кареты, как бы вся отдалась утренней свежести и солнечному теплу.

Очарованный красотой молодой хозяйки, управитель, неся перед собою каравай, предстал перед нею.

Демидова подняла на Любимова ласковые глаза и улыбнулась.

— Скажите, какие большие караваи растут здесь! Они даже пахнут. Ах, как хорошо!.. Николенька, что же мне с ним делать? — обратилась она к мужу.

— Прими, дорогая,— ласково подсказал Демидов.— На Руси таков обычай: высоких и чтимых гостей встречать хлебом-солью!

Она улыбнулась, взяла свежий пахучий каравай из рук управителя и с растерянностью посмотрела на мужа.

— Во-первых, поблагодарить нужно, милая! Во-вторых, осторожней, не опрокинь соль; по народной примете, тогда неизбежна ссора.

— Ах, я не хочу ссор! — воскликнула она капризно и осторожно передала каравай супругу.

Демидов, в свою очередь, вручил хлеб Орелке. Дядька благоговейно принял дар и степенной походкой двинулся за господами в хоромы.

Перед крыльцом остались управитель да работные с женками. С минуту на площади длилась тишина.

— Расходись, работнички! — взмахнул рукой управитель.— Нагляделись, пора и за дело!

Сквозь толпу протискался высокий тощий работный с русой бороденкой. Он хитренько посмотрел на Любимова.

— А скажи-ка ты нам по совести, Александр Акинфиевич, в каком это месте у нас на горах растут пахучие караваи? Мы-то, по простоте своей душевной, думали, что мужик-пахарь своим горьким потом и великими трудами выращивает хлебушко!

— Ну-ну, ты! Смотри, Козопасов, дран будешь! — пригрозил управитель.— Прочь отсюда!

— Вот видишь, всегда так: по совести спросил тебя, а ты уж и гнать! — не сдавался работный.— Идемте, братцы; видать, только господский хлеб на воле растет, а наш горбом добывается! — насмешливо сказал он и вместе с заводскими побрел к домнам.

Вместе с Демидовой в Тагил прибыли ее слуги: камеристки, золотошвейки, повара, медик и оркестр роговой музыки, составленный из крепостных. Казалось, в демидовских хоромах воскресло былое. Снова в обширных покоях стало людно, шумно, зазвучал смех, а из распахнутых окон дворца доносилась музыка. Теперь нередко барский дом, прилегавший к нему парк и восстановленные павильоны на островах были по ночам иллюминованы. Тысячи плошек, шкаликов, цветных фонариков и просто горящие смоляные бочки озаряли дорожки, зеркальные воды пруда и тенистый парк.

Все дни супруги пребывали в легком и светлом настроении. Они подолгу бродили по парку, катались на затейливой галере, разубранной бухарскими коврами, и часами просиживали в храме Калипсо.

Молодой госпоже казалось, что и все кругом выглядит так же приятно, как ее жизнь во дворце. Слуги часто выносили на балкон глубокое кресло, и жена Демидова опускалась в него, созерцая горы и синие дали. Чтобы усладить госпожу, управитель сгонял ко дворцу девок, и они с песнями водили хоровод. Бойкие заводские девки лихо плясали. Елизавета Александровна с удивлением рассматривала хоровод. Больше всего ее поражало, что плясуньи были подвижны, вертлявы, ноги так и ходили в буйном плясе, а лица девок выглядели скучно, безразлично. Одна среди них — Дуняша — горела огоньком. Ее крепкое, стройное тело было точно соз-

дано для танца, так привлекательны и плавны были ее движения. Большие зеленоватые глаза девушки при пляске то смеялись, то горели озорством. В упоении она забывала все на свете, то плыла по кругу белой лебедью, то, остановив бег, трепетала всем телом, как листок осинки.

— Хочу, чтобы для меня поплясала! — сказала управителю госпожа, и Любимов бросился выполнять желание.

Дуняшку обрядили в новенький сарафан, в косы вплели алые ленты и привели в барские покои. На широком диване сидели Демидовы. Николай Никитич впился взором в заводскую девку.

— Прелестна, не правда ли? — учтиво склонился он к супруге.

Она поманила золотоголовую красавицу:

— Подойди, милая!

Рыжанка плавной поступью приблизилась к госпоже и остановилась ни жива ни мертва. Ее золотые волосы, как солнечное сияние, радовали глаз, а из полуопущенных ресниц сыпались зеленоватые искры. Как белоствольная березка в цвету, хороша была Дуняша! Госпожа согласилась с мужем:

— Проста, но прелестна. Спляши, голубушка!

Рыжанка, будто не слыша слов своей госпожи, не двигалась с места. Застыла. С минуту длилось глубокое молчание. И вот наконец вздох вырвался из ее груди. Она вспыхнула, встрепенулась и, медленно-медленно поплыв по кругу, как белыми голубиными крылышками, затрепетала поднятыми ладошками и пошла в пляс. Дуняша закружилась, и Демидовым показалось, что все плывет вместе с ней по воздуху. Покачивая головкой, Дуняша прошла мимо Николая Никитича и метнула в него взглядом. Никто не знал, что горько, очень горько на душе девушки. На жаркие щеки красавицы выкатилась слеза, а Демидову почудилось, что из-под густых темных ресниц ее блеснул и покатился камень-самоцвет Он крепко сжал руку жены и прошептал в упоении:

— Полюбуйся, она чародейка!

Лицо его супруги потемнело, она метнула завистливый взор на Рыжанку, а та, топнув ножкой, стала отплясывать русскую. Молодое и гибкое тело колебалось в пляске, как жгучее пламя. Демидов неспокойно завертелся. Расширенными глазами он смотрел на Дуняшу и

не пропускал ни одного движения. Плясунья снова замедлила темп и перешла на тихое, медленное движение. Идя по кругу, девушка счастливо улыбалась, может быть тому, что пляска прошла, как песня спелась. И снова Демидов уловил ее жаркий взгляд.

— Хороша! — шумно выдохнул он.— Посмотри, Лизушка, на ресницы. Густые, темные, оттого и глаза горят, как звезды!

Елизавета Александровна вскочила, румянец отхлынул от ее лица.

— Вы забываетесь! — гневно прервала она мужа.— Разве можно при холопке вести подобные речи!

Дуняша встряхнула золотой головкой и стихла. Опустив глаза, чего-то ждала.

— Александр Акинфиевич,— нарочито громко сказала Демидова.— Увести ее! Больше сюда не присылай. На черную работу! Не плясать ей надо и не очами сманивать, а камень-руду отбирать!

Управитель почтительно выслушал приказ госпожи. Николай Никитич спохватился, хотел что-то сказать, но под сердитым взглядом жены потух и отвернулся.

5

Демидовы возвращались с прогулки, кони бежали ровно, тихо пофыркивая. Пруд застыл зеркалом, дышал прохладой. Солнце склонилось за высокие дуплистые ветлы, и по прозрачной воде разлились золотистые потоки. Из экипажа открывался чудесный вид на окрестные горы, окрашенные закатом в розоватый цвет, на синие ельники, на заводской городок. Демидова близоруко щурилась на пруд, на сияющую под солнцем листву. Лицо молодой женщины раскраснелось.

— Николенька, что за вечер!

Коляска слегка покачивалась на рытвинах, но Демидов с важностью держался прямо. Он равнодушно рассматривал темные избы работных, молча проезжал мимо женщин, выбегавших на дорогу, чтобы посмотреть на барский выезд. Они поясно кланялись господам, развалившимся в экипаже, и долго провожали их угрюмыми взглядами. Хозяин не отвечал на поклоны: к своим крепостным он относился так же равнодушно, как и к деревенскому стаду, которое бродило на поско-

тине. Самодовольство и самовлюбленность переполняли его сытое, здоровое тело. Втайне он почитал себя властелином небольшого герцогства или даже королевства, где ему дано право упиваться властью над своими подданными. Поклоны и лесть он принимал как должное. И сейчас, сидя рядом с разрумянившейся от свежего воздуха супругой, он внимательно, по-хозяйски разглядывал свои владения и встречных. Оборони того бог, кто вовремя не смахнет шапки перед господином и не поклонится низко...

Вот и широкий мост. Кони свернули вправо и застучали копытами по звонкому настилу.

— Э-гей, пади! — раскатисто закричал кучер, но чем-то напуганные лошади стали пятиться и коситься злобными глазами. Правая пристяжная запуталась в постромках, и все разом перемешалось. Коренник сердито зафыркал, стал рваться вперед, но крепкие руки кучера осадили его.

— В реку опрокинут! Ой, в реку, Николенька! — в страхе закричала Демидова, хватаясь за мужа.

Заводчик подался вперед и сильным кулаком саданул кучера в спину.

— Эй, что случилось?

— Да ведь кони испугались, барин! Слепой нищеброд тут сидит, попрошайка, вот тройке не знай что и померещилось! — взволнованно заговорил слуга.

— Что за нищеброд? Откуда он взялся? — гневаясь, закричал Демидов.— Да как он смел!

— Да то наш заводской старик; был отменный литейщик, да у домны глаза ему выжгло, вот и негоден стал! — стараясь утихомирить гнев хозяина, сказал кучер.

— Нет несчастных в моем имении! Поклеп молвил! Слава господу, все при месте и хлебом сыты!

— Что верно, то верно,— угодливо отозвался кучер и, соскочив с облучка, бросился к упряжи.— Ну, ну, стой, окаянная! — набросился он на пристяжную.

Совсем близко у края моста сидел старик в серой посконной рубашке, без шапки, и держал на коленях деревянную чашку. Его не беспокоили ни топот коней, ни крики кучера.

— Подайте на пропитание, добрые люди! — протяжно запросил он.

— Эй, кто ты и откуда? Подойди сюда, старый филин! — подозвал Демидов старика.

Заслышав голос заводчика, нищий вдруг встрепенулся, поднялся и засеменил на зов. Он подошел к экипажу, склонил голову:

— Подайте Христа ради...

— Из какого завода прибрел? — строго спросил хозяин.

Старик быстро поднял голову, добрая улыбка внезапно преобразила его лицо.

— Ох, господи! Никак Николай Никитич! Батюшка, вот где довелось тебя услышать! — обрадовался старик, и на глазах его блеснули слезы умиления.

— Не знаю тебя, холоп! — строго прервал его Демидов.— Всех бродяг на больших дорогах не упомнишь!

— Аль не узнал, хозяин? — взволнованно вскрикнул нищий.— Да я же Уралко. Учитель твой! Помнишь, батюшка? — Несчастный слепыми глазами уставился в заводчика. Вместо глаз — зарубцевавшиеся раны.

— Николенька, мне страшно! Вели скорей ехать! — закричала Демидова

— Живей, ты! — набросился хозяин на кучера и, повернувшись к слепому, холодно ответил: — Что-то не упомню такого! Мой учитель не может быть нищим! Неправда, что ты наш, заводской! Убрать с моста бродягу! — рассвирепел Николай Никитич.

На счастье ямщика, постромки распутались, кони стали на место, успокоились.

— Эй вы, серые, понесли! — зычно прокричал ямщик.

В вечерней тишине свистнул бич, и коляска покатилась. Из дрожащих рук нищего выпала чашка и угодила под колеса. Кони прогремели по мосту и свернули к барскому дому.

А позади все еще стоял осыпанный пылью старик, грустно склонив голову.

6

На разубранном струге Демидовы доплыли по Чусовой и Каме до Усолья, до старинных строгановских городков. Много дней стояли тишина и покой на вольном камском просторе. Елизавета Александровна впервые

отправилась в свои прославленные вотчины. Захлебываясь от восторга, она поминутно восклицала:

— Смотри, смотри, Николенька, что за дивный край! И синие дремучие леса и зверь непуганый! Вот где батюшкино царство!

Она с гордостью хвалилась своими поместьями. И впрямь, вокруг простирался прекрасный край! Николай Никитич сидел с супругой в креслах, установленных на струге, подобно тронам, и любовался живописными берегами. Каждый поворот реки открывал их взорам места, одно другого чудеснее. Весна в эту пору была полной хозяйкой и на реке, и в лесу, и в сияющем голубом небе, по которому лебяжьими стаями тянулись вдаль облака. Воздух был чист, напоен запахом смолы, звуками и шумом реки и леса. Кругом все пело, в кустах без умолку щебетали и спешно вили гнезда птицы.

Когда плыли по Чусовой, она бурлила и пенилась в стремительном беге, яростно бросалась на скалы, злилась, шумела и разбивалась на мириады сверкающих брызг. Чусовая бушевала, гремела у частых камней — «бойцов» и на перекатах. Но вот струг вырвался на синюю Каму, и воды стали тихими и покорными. Осеняя их ровным шумом, над рекой, на высоких отвесных скалах, громоздились вековые лиственницы и кедры. Они раскидисто тянули к небу свои могучие косматые вершины. Как хороши и величественны были они в сиянии северного весеннего дня! Вот и глухая тропка вдоль берега, на ней еще не просохла земля, и совсем низко у береговой кромки едва-едва колышутся вереницы низеньких ветвистых березок.

— Дивно! Эх, мать-природа, сколь благословенна ты! — не выдержал, чтобы не порадоваться, Демидов.

Но вовсе не благословенными были камские берега. От устья Чусовой плыть приходилось против течения, и приказчик пригнал к стругу ватагу оборванных, мрачных бурлаков. Они приладили к судну канаты, а к ним лямки и поставили его до утра на прикол, а сами разлеглись на прибрежном песке, подложив под голову кто котомку, а кто просто камень. Демидов сошел со струга и с любопытством разглядывал бурлаков. Были среди них молодые, крепкие, мускулистые и согбенные, иссушенные старики. Роднило их всех одно — тяжелая маята. От нее выглядели они злыми, изнуренными.

— Ты что, барин, так разглядываешь? — строго спросил старик, подняв взлохмаченную голову.

— Любопытно! — прищурился на него Николай Никитич.

— Завидуешь нашей доле? — дерзко спросил бурлак.— Айда, впрягайся в лямку и гуляй с нами! — Он насмешливо подмигнул товарищам, а в глазах под густыми нависшими бровями блеснули озорные огоньки.

— А куда пойдем? — не унимаясь, спросил Демидов.

— Известно куда: дорога наша пряменькая — от бечевы до сумы. От нас неподалеку, на твоем струге, полные закрома добра, а бурлацкий живот подвело с голодухи.

— Замолчи, галах! — высунулся из-за спины барина приказчик и прикрикнул на старика.

— Видишь, кричит, галахом обзывает,— спокойно отозвался бурлак.— А попробуй с нами на бечеве пройти, увидишь, как нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет!

Демидов с брезгливостью посмотрел на босые, потрескавшиеся ноги бурлаков, отвернулся и пошел к стругу.

Всю ночь за бортом плескалась вода. На берегу горел яркий костер, подле него ласковый баритон душевно пел:

Зоренька занялась,
А я, млада, поднялась...

Николай Никитич прошелся по палубе, прислушался к песне и подозвал приказчика.

— Вели замолчать. Барыня Елизавета Александровна почивает!

Топая толстыми подметками, хозяин спустился в каюту и стал укладываться в постель. Супруга тихо посапывала во сне.

Утром, когда Демидовы проснулись, струг, словно лебедь, рассекая камские воды, плыл вверх. Впереди по песчаному берегу гуськом шли, впрягшись в лямки, бурлаки. Согбенные тяжкой работой, они дружно пели тягучее, но сильное. Над речным простором неслись голоса:

Ой, ой, оё-ёй.
Дует ветер верховой.

Мы идем босы, гóлодны,
Каменьем ноги пóрваны.
Ты подай, Микола, помочи,
Доведи, Микола, до ночи.
Эй, ухнем, да ой, ухнем!
Шагай крепче, друже,
Ложись в лямку туже.
Ой, ой, оё-ёй!..

На сонной зеркальной глади реки пылала заря. Медленно таял розоватый туман, дали становились яснее и прозрачнее.

Елизавета Александровна взглянула вдаль и захлопала в ладоши.

— Ах, какая прелесть! Посмотри, Николенька!

Над водами плавно кружилась чайка. Она бросалась вниз, выхватывала что-то из воды и снова взмывала вверх. Ветерок был упруг, свеж, и щеки Демидовой порозовели. Николай Никитич радостно вздохнул.

— Как вольно дышится тут! А не поесть ли нам чего, милая?

Струг бесшумно двигался вперед, а на берегу раздавалась бесконечная песня:

Ох, Камушка-река,
Широка и долга!
Укачала, уваляла,
У нас силушки не стало,
О-ох!..

Загорелые до черноты, всклокоченные, мужики надрывались от каторжной работы. Изредка кто-нибудь из них оглядывался на струг и мрачным взглядом долго присматривался к барам.

Демидова брезгливо отвернулась от бурлаков.

— Кто эти люди? — спросила она старика лоцмана.

— Известно кто — бурлаки! — словоохотливо заговорил тот.— Египетская работа! Это не люди, а ломовые кони, тянут лямку от рассвета до сумерек. И нет им отдыха ни в холод, ни в ненастье. Идут-бредут тысячи верст по корягам, по сыпучему песку, по острым камням, по воде выше пояса и стонут унылой песней, чтобы облегчить душу от страданий!

С Камы в это время донесся бурлацкий окрик: «Под табак!»

Госпожа пытливо взглянула на старика:

— А это что за крик?

— Оповещают друг друга: гляди-осматривайся,

глубока тут, ой, глубока река и опасны омуты! — Лоцман огладил сивую с прозеленью бороду и закончил грустно: — Красота кругом и благодать, а сколько среди сих пустынных берегов потонуло и погибло народу, не приведи бог!

— Ты вот что, леший! — бесцеремонно прервал его вдруг Демидов.— Уйди отсюда! Не расстраивай госпожу. Не видишь, что ли?

Старик взглянул на округлый стан заводчицы и, замолчав, отошел в сторону.

Давно уже погас закат, а хвойный лес и камские берега как бы затканы серебристой дымкой. Близится полночь, а призрачный свет не хочет уступить место темноте.

Спустилась белая июньская ночь, с тихого безоблачного неба льется бледно-серебристый свет, который постепенно кладет свой таинственный отпечаток на береговые скалы и леса.

А струг все плывет. Уснули люди. Только Елизавета Александровна не спит, всматривается в берега: «Скоро ли отцовские городки?»

Ночь идет, а кругом царит лишь светлый сумрак. Час прошел, и на востоке снова загорается заря. Не шелохнутся леса, не пробежит шаловливый ветер, не тряхнет веткой. На быстрой реке — мелкая поблескивающая рябь да редкие, чуть слышные всплески: на переборах играет молодой хариус. И где-то далеко на береговом камне мельтешит-манит грустный огонек: утомленные за день бурлаки обогреваются у костра...

А струг все плывет и плывет. На корме, на бунте пеньковых веревок, дремлет лоцман. Морщинистое лицо его словно мхом поросло. В бровях и ушах топорщатся седые волосы. Спит и бормочет во сне вещун...

Демидов разбудил его:

— Скоро ли Усолье?

Старик вскочил, огляделся, прислушался. Все так же у крутых берегов плещется река, еле слышно журчат родники, а кругом простерлось сонное безмолвие. Из края в край распахнулись молчаливые леса.

— Парма это, барин! Зеленое океан-море, батюшка! Гляди, гляди, ох, господи, что за красота! — указал на другой берег старик. В глубокой долине поднимался легкий туман и белой пеленой колебался над травами. В безмолвной тишине к реке выбежало стадо лосей.

Вперед вынесся старый бородатый зверь; он осторожно вошел в реку и жадно припал к воде. Время от времени он поднимал прекрасную голову, настораживался, а с мягких отвислых губ его падали тяжелые капли.

Боясь дохнуть, Демидов восхищенно смотрел на красавца.

— Ну вот,— сказал лоцман— места пошли близкие, знакомые! За тем юром проглянется и Усолье!

Струг пронесло излучиной, и за изгибом открылись зеленые главки церквей, темные дымки соляных варниц, а ниже — каменные дома и огромные амбары...

— А вон и барские палаты! Тут и пути нашему конец! — сказал старик.

Лес постепенно отступил в сиреневые дали; поля кругом плоски и унылы. По скату холма, под серыми тучами, раскинулся мрачноватый городок.

Из-за горизонта брызнули первые лучи солнца, и кресты на церковных маковках заиграли позолотой. На травах заблестела роса. Все так же величаво текла Кама, но сейчас она выглядела мрачноватой и пустынной.

Демидов осторожно разбудил жену и вывел ее на палубу. Елизавета Александровна долго спросонья вглядывалась, лицо ее выражало разочарование. Прижавшись к мужу, она прошептала:

— Боюсь, Николенька, стоскуемся мы здесь!

Он промолчал. За версту от Усолья их встретила косная[1] со строгановскими приказчиками. Бородатые мужики, здоровые и ядреные словно дубки, цепко ухватились за струг и перебрались на палубу. Низко и почтительно они поклонились Демидовым, разглядывая хозяйку.

— Ну вот и прибыли! — вздохнул Демидов.— Везите в хоромы, а потом на соляные варницы!

— Жалуй, наш дорогой хозяин! Жалуй, наш господин! — льстивым тоном заговорил строгановский приказчик, низко кланяясь заводчику. Бодрый, с улыбающимся медным лицом и темными глазами, статный старик, одетый в темно-синий кафтан, лисой вертелся подле Демидовых.

Приказчик отвез владельцев в старинные строгановские хоромы. Каменные, грузные, они походили

---

[1] Легкая лодка.

на крепость. Под сводами их стояли прохлада и затхлость.

Во всем виднелось запустение. В огромных полутемных залах разрушались от сырости и древесного червя старинная мебель красного дерева и палисандровые паркеты. Прекрасные венецианские люстры потемнели от засохших мух, унизавших тусклую бронзу. Большие зеркала, водруженные в простенках, отсырели, казались мертвыми, отражая в себе безмолвные и неподвижные покои, из которых давно ушли хозяева.

Вся эта оставленная в парадных залах старинная дорогая обстановка, забытые и покрытые теперь толстым слоем пыли книги и бумаги на столе в кабинете, коллекции тростей и фарфоровых трубок с разнообразными чубуками, рассохшиеся клавесины переносили Демидова в былую жизнь, в давние годины. Временами Николаю Никитичу чудилось, что все это он видит во сне или слышит старую сказку о спящей красавице, внезапно уснувшей вместе со своими слугами на сто лет. Все здесь застыло, оборвалось и охвачено тленом. Нельзя было без волнения рассматривать это покинутое владельцами гнездо. Елизавета Александровна растерянно смотрела на мужа. Она родилась, воспитывалась и жила в Санкт-Петербурге, имея очень смутное понятие о своих вотчинах. На соляных приисках все дела вершили приказчики. Они сбывали соль, отсылали в столицу доходы, описи имущества и продовольствие. Строгановская наследница не в состоянии была разобраться во всем этом сложном хозяйстве. Однако ей казалось, что на далеком уральском севере, откуда идут огромные доходы, все должно выглядеть иначе. На деле же все выглядело убого и печально.

С потускневшими, разочарованными лицами Демидовы проходили вдоль залов, где когда-то кипела жизнь. Под ногами скрипели половицы. В одной комнате, загроможденной окованными сундуками, возились с писком крысы.

— Боже мой, что здесь творится! — с горечью воскликнула Елизавета Александровна.

Управитель, понимая разочарование владелицы, поторопился оповестить господ:

— Здесь, почитай, четверть века никто не жил. Известно, жилой дух покинул покои, но на половине вашей тетушки не в пример лучше!

Они миновали холодные и неуютные залы и прошли в жилую половину. На пороге их встретила сухонькая седенькая тетушка Анна Ивановна. Она протянула руки племяннице, припала к ее плечу и всхлипнула от радости.

Покои тетушки в самом деле оказались не только жилыми, но и уютными и привлекали взор своим старинным добротным убранством. Все здесь напоминало отошедший в прошлое век покойной императрицы Елизаветы.

Мебель, расставленная вдоль стен, отличалась хрупкостью, изяществом. На стенах сохранился штоф, а хрустальные бра отливали синеватыми огоньками. В столовой стоял большой буфетный шкаф орехового дерева с украшениями из слоновой кости и бронзы. В гостиной — огромный диван красного дерева с высокой спинкой, отделанный бархатом вишневого цвета, такие же удобные и глубокие кресла. По углам стояли тумбы с хрустальными канделябрами.

Большие чистые окна пропускали много света и озаряли портреты в золоченых багетных рамах, развешанные в простенках. Мужчины с надменными лицами, в мундирах былых царствований, и дамы в робронах и в пышных париках — все они были представителями древнего строгановского рода.

Тетушка Анна Ивановна, сложив на груди сухие ручки, с умилением смотрела на гостей. Вся высохшая, как прошлогодний цветок, она жила прошлым и о прошлом только и рассказывала Демидовым.

Однако, несмотря на кажущуюся беспомощность, эта старая дева была весьма деятельна и деспотична. Николай Никитич заметил, что стоило тетушке взглянуть на бородатого плечистого приказчика, как он сразу тушевался и покорно склонял голову.

Тетушка вмешивалась во все дела управления заводами и вотчинами и при непорядках не давала спуску приказчикам.

Сейчас она предупредительно напоила гостей кофе с отменными сливками. Затем показала молодым владельцам покои, чисто и аккуратно прибранные. Николай Никитич обрадовался: в небольшой горнице стояли в ряд шкафы, заполненные книгами в сафьяновых переплетах. Он с любопытством стал читать потемневшую позолоту корешков. Среди книг нашел «Новости г. Фло-

риана. В граде святого Петра 1779 года». Он не удержался, чтобы не взять в руки эту книгу и не перелистать ее. В посвящении прекрасному полу весьма деликатно писалось:

«Государыни мои, вот новые повести г. Флориана о российском платье. Повергаю их к стопам вашим, зная, что вы всегда любили писателя, коего слог, подобно тихому приятно по камушкам журчащему ручью, привлекает к себе все чувствительные сердца. Благосклонное принятие ваше, сверша желания мои, побудит меня и впредь упражняться в переводе книг, вам приятных. Но коль неспелый плод сей вам не понравится, то я... право, тужить не буду. Впрочем, имею честь быть ваш всегдашний обожатель. Переводчик...»

Демидов захлопнул книжку, и, вопреки его ожиданиям, ни одной пылинки не поднялось с покрышек и листов. Тетушка Строганова, выходит, читала прелестные фолиантики в сафьяновых переплетах. Он осторожно поставил книгу на место. А вот рядом с ней «Генриетта де Вольмар, или Мать, ревнующая к своей дочери, истинная повесть, служащая последованию к «Новой Элоизе» господина Ж.-Ж. Руссо. Переведено с французского в Бежецком уезде. Москва. 1780 год».

Чего только не было в шкафах! Заметив внимание Николая Никитича к книгам, тетушка улыбнулась и тихо призналась:

— Каждогодно выкраивается из доходов, и московский приказчик отыскивает наилучшие из книг и присылает в нашу вотчину...

Прожив в имении несколько дней, Демидов продолжал присматриваться к жизни в строгановских хоромах. В этом усольском мирке все напоминало забытую барскую усадьбу. Демидов ненароком узнал, что, перед тем как отойти ко сну, тетушка, лежа в постели, читала французские сентиментальные романы, а горничные девки в этот час чесали ей пятки, и старая дева похрюкивала от удовольствия. Ложе госпожи окружали шесть разномастных кошек, от которых хозяйка была без ума. Был и кот Василий, но судьба привела его к прискорбному концу.

Дерзкий сытый кот, надоевший всей дворне, однажды полез в буфет и разбил дорогую чашечку Строгановой. Фарфоровая безделушка оставалась единственной памятью о погребенной любви тетушки: из нее

пил кофе гвардии поручик, неведомым ветром занесенный на несколько дней в Усолье. За такое великое преступление кот Васька был порот и отослан на вечное поселение в дальнюю вотчину. Отписывая владелице о доходах, управитель этого поместья каждый раз оповещал и о поведении опального кота. Эти оповещания с самым серьезным видом выслушивала старая дева и при докладе приказчика спрашивала: «А что с плутом Васькой? Как его здравие?»

Напроказивший мурлыка и на новом месте повел себя крайне беспокойно. В один прекрасный день он полез в рыбный садок за карасиками и утонул. И хотя уже шел третий год после печального происшествия, но, зная любовь барыни к пролазе, не желая ее огорчать и боясь гнева, управитель вотчины среди прочих деловых сведений продолжал каждый раз сообщать: «А еще смею доложить вам, что кот Василий пребывает в полном здравии. От плутовства пока не отрекся и пребывает в грехах...»

Тетушка с удовольствием выслушивала эти строки и, засыпая, умиленно шептала: «Ах, проказник!.. Ах, повеса!..»

7

Несмотря на унылое впечатление, которое произвели на Демидова северные строгановские городки, жизнь здесь била ключом. В этом далеком и угрюмом крае десятки тысяч добытчиков трудились над оживлением лесных дебрей. Кого только здесь не было — густой крепкий говор печорцев мешался с мягкой цветистой речью волжан. Тут встречались коми-пермяки, лесной приветливый народ, и чуваши, и татары. Во всех углах обширнейших строгановских владений шла непрестанная работа: тут в густой парме стучал топор, там жужжала пила, а на камских речных отмелях кричали плотогоны, спасая плоты. Рыбаки с далеких рыбацких станов везли рыбу в городки, в лесных куренях жигали жгли уголь и в коробьях доставляли его к обозам. В горах гремела кайла горщика, скрипели бадейки, груженные отменной рудой. Добывали горщики руды железные, медные да закамское серебро с голубым отливом. Мужики пахари жгли бросовые ольховники, чапыжники, корчевали пни, осушали болотины и на гарях вы-

севали хлеб. На пастбищах жировали тучные стада. В городках занимались промыслами и ремеслами: в кузницах от зари до зари звенели железом ковали, гончары выделывали и обжигали горшки и прочую посуду.

Солнце только еще поднималось из-за скалистого Камня, озаряя Полюд-гору, а уж тысячи работных трудились. Погасал закат на западе, за пармой,— а хлопотуны все еще не покладали рук. Трудились вековечно, отдавая последние силы, работали за посконные портки, за кусок хлеба, приправой к которому были батоги и плети. Строгий строгановский суд не щадил работного!

По окрестной парме да по североуральским увалам и чувалам бродили кочевые народцы: манси и зыряне. Всех их Строгановы приманивали хлебушком, старой одежонкой, отпускали в долг шило, иглу, топор, сети. А после удачной охоты к ним в паули[1] являлись строгановские приказчики и обирали их, взимая за долги серебристого соболя, черно-бурую лисицу и песца.

Но наибольшие доходы Строгановым шли от соляных варниц. Пол-Руси снабжали солью Строгановы! Соль и создала им славу.

Всего не углядишь, не усмотришь, и решили Демидов с супругой в первую очередь отправиться на соляные варницы. Утро выпало ясное, теплое. По чистому небу тянулись курчавые дымки от промыслов. Они поднимались прямо столбиком над черными, грязными избами-варницами. Неподалеку темнели вышки; там насосные трубы выкачивали из недр земных соляной раствор. Его сливали в огромные лари и доставляли в варницы, где и добывалась из рассола соль.

Еще издалека от варниц вся дорога казалась покрытой серебристым инеем. От соляных амбаров до пристани, где стояли баржи, от промыслов и до варниц все было покрыто соляным налетом.

Николай Никитич направился к ближней варнице. Повар-солевар давно поджидал хозяина. Он с глубоким поклоном встретил владельцев и распахнул перед ними дверь избы. Демидова заглянула внутрь, и неприятный холодок сжал ее сердце: внутри бревенчатой избы черно, дымно. В лицо пахнуло горьким дымом, и госпожа отшатнулась. Она умоляюще взглянула на мужа:

---

[1] Селения.

— Может быть, не пойдем туда, Николенька?

— Нет, нет! — запротестовал Демидов.— Рачительный хозяин досконально должен знать, что у него творится на добыче!

Он первый смело шагнул в сруб, и у него сразу запершило в горле.

— Входи, входи, барин! — льстиво позвал Николая Никитича повар.— Глаза вскорости обвыкнут, все и увидишь!

Он бережно взял Демидова за рукав и потащил за собой. Елизавета Александровна перешагнула порог и, испугавшись увиденного, остановилась у двери. В земляном полу была выкопана огромная яма, обложенная камнем. Из нее валил густой дым, в лицо струился непереносимый жар. Над ямой на кованых дугах висел железный ящик-цырен. В нем кипел и пузырился соляной раствор. Подповарки бегали вокруг цырена и деревянными мешалками тревожили раствор. Кругом стояли чаны и корыта. Густая влажная соль губой настыла на их закрайках. Соль светилась, капала, хрустела везде: она сочилась под ногами, блеклые сосульки ее свисали с черных матиц, она сверкала на рубахах солеваров, блестела в их бородах.

У Демидовой от разъедающих паров на глазах навернулись слезы.

— Николенька! — взмолилась она.— Может, уйдем отсюда?

Демидов не отозвался. Хотя ему стало есть глаза и слезы покатились по щекам, он внимательно выслушивал повара, рассказывавшего ему о работе солеварни. В избу натолкалось много работных с ведрами, с черпаками: всем хотелось посмотреть на хозяев. Бородатые, оборванные, с язвенными лицами, они производили тяжелое впечатление. От одного вида их Демидова стало тошнить.

Из клубов белесого пара вдруг выкатился кривоногий мужичонка. Николай Никитич поморщился: у солевара были рваные ноздри.

— Каторжный, беглый? — строго спросил он работного.

— Строгановский! Ерошка Рваный. Видишь, господин, по роже и прозвище! — насмешливо ответил мужик.

В самом деле, варнак казался взъерошенным. Без

шапки, волосы бурьяном, борода спутана, пузо голо, расчесано.

— Хорош! Ай, хорош! — с ядовитой насмешкой рассматривал его Демидов.

— Какой есть, барин! От такой работенки красавцем не станешь! — сердито сказал солевар и утер выступивший пот.

— Николенька, ты только погляди, как оседает соль! — восхищенно воскликнула Демидова, заметив сверкающие кристаллы.

— Это не соль! То слезы наши окаменели! — строго сказал мужик Ерошка.

— Разве так трудно варить? — наивно спросила заводчица.

— Не приведи бог угодить сюда ни старому, ни малому! — дерзко и смело ответил Ерошка.

— Так, может быть, тебя из-за негодности в другое место перевести? — сердито предложил Демидов.

— Нет, не надо, барин,— угрюмо отозвался солевар.— От веку мы тут робили, всю Россию своей солью кормим!

— Это ты-то кормишь? — оглядывая оборванного, изъеденного язвами работного, с издевкой спросил заводчик.

— А то кто же? — прищурив хитрый глаз, отозвался Ерошка.— Издавна известно: мужик всю русскую землю кормит: он, ратаюшка, за сохой все поле обходит, хлеб добывает, а мы на варницах — соль! Вот оно как!

— Дерзишь своему господину? — запальчиво сказал Демидов.

— Что ты, барин! Мы господ своих чтим, только и думаем о них да бога молим о здравии! — с простоватой хитрецой сказал солевар.

Говорил Ерошка спокойно, с невозмутимо серьезным видом, но в глазах его угадывалась скрытая насмешка над барином. Николай Никитич хотел обругать работного, но в эту минуту в белесом пару кто-то сильно махнул черпаком по рассолу в цырене. Блеснули брызги. Теплые соленые капли упали на губы Демидовой, она вздрогнула и схватила супруга под руку:

— Уйдем, Николенька, отсюда! Здесь душно!

Заводчик медлил. В густом тумане невидимый солевар злым басом прогудел на всю избу:

— Эх, сюда бы человека в засол, вот и мощи навек!

Покорные и тихие по виду мужики, издали ломавшие перед господами шапки, тут, в белесом тумане, вели себя иначе. Разглядывая их, Демидов сердцем почувствовал, какое глухое и мощное брожение идет среди них. Оно могуче, но скрытно и, как червь, подтачивает барство.

«Ой, опять бы не пришла сюда пугачевщина!» — с сердцем подумал он и сам испугался своей мысли.

— Что ж, идем, милая! — деланно равнодушным голосом сказал он супруге и повел ее на свежий воздух.

Ярко и радостно выглядели окрестные просторы под солнцем. Демидова не могла надышаться чистым воздухом. Как ребенок, она радовалась сейчас синеве неба и каждой травинке.

«Благодарю тебя, господи, что ты не создал меня рабой»,— думала она, искренне веря в то, что порядок, который позволяет ей так легко жить, наслаждаться благами и радоваться, извечен и никогда и никто его не опрокинет.

Иного мнения был Демидов. Возвратившись в дом, он не мог освободиться от тягостных мыслей о солеварах и после долгого раздумья сказал супруге:

— Напрасно, моя дорогая, мы спорили когда-то о том, где труженику легче живется. В Тагиле работные злы и ждут своего часа, но не менее злы и солевары! Того и гляди разразится гроза. Думается мне, надлежит нам в сих дедовских владениях усилить стражу, да и шпыней завести, дабы злоязычных заводил вывести в наших городках!..

Глава вторая

1

В ту пору, как Николай Никитич Демидов хозяйничал на уральских заводах, в Санкт-Петербурге совершились большие государственные перемены, принесшие для многих неприятные неожиданности. В начале ноября 1796 года внезапно скончалась государыня Екатерина Алексеевна. Хотя среди столичной знати уже давно носились упорные слухи о том, что излишества, которым предается императрица, окончательно подточили ее здоровье, все же никто не ждал такой скорой развязки. 5 ноября, после обычной утренней чашки крепкого кофе,

государыня вышла в гардеробную и долго оттуда не возвращалась. Встревоженный долгим отсутствием своей повелительницы, камердинер Захар Зотов осторожно заглянул в гардеробную и нашел государыню на полу в бессознательном состоянии. Коварный паралич вдруг сразил императрицу. Во дворце поднялась тревога...

В этот памятный день Павел Петрович, в окружении своей свиты, обедал на гатчинской мельнице, расположенной в пяти верстах от дворца. Великий князь пил кофе, шутил, пребывал в самом приятном настроении, когда торопливо появившийся слуга взволнованно доложил о приезде из Петербурга шталмейстера Николая Зубова — брата фаворита. Павел побледнел и растерянно смотрел на приближенных. Внезапный приезд мрачного гвардейца, обладавшего к тому же невероятной силой, навел цесаревича на страшное подозрение. В его воспаленном мозгу мгновенно пронеслись жуткие видения прошлого. Не так ли в Ропшу наехал с компанией пьяных гвардейцев Григорий Орлов к низложенному императору Петру III? Посеревший Павел наклонился к жене и в страхе прошептал:

— Мы погибли, дорогая!

Между тем придворный слуга не уходил, выжидательно посматривая на цесаревича.

— Сколько их? — хриплым голосом спросил Павел.

— Они одни, ваше величество! — спокойно ответил лакей.

Павел вдруг осмелел, перекрестился и решительно приказал:

— Зови!

Высокий бравый гвардеец переступил порог и упал перед цесаревичем на колени.

— Ваше высочество, вас ждут в Санкт-Петербурге. Государыня при смерти.

Павлом овладело волнение. Он засуетился, забегал по комнате. То ударяя себя по лбу, то разглаживая ладонью свое плоское лицо, цесаревич ошеломленно повторял:

— Ах, какое несчастье! Ах, какое несчастье!

Беспокойство наследника возрастало с каждой минутой, он требовал карету, гневался, что медленно закладывают лошадей, и горестно беспокоился:

— Застану ли я матушку еще в живых?

Однако, когда подали экипаж, Павел не торопился садиться в него. Он почему-то медлил, колебался. Без сомнения, ему стало страшно за будущее.

«Может быть, меня обманывают? Может быть, это ловушка?» — думал он, и мысли, одна страшнее другой, лезли ему в голову. Он целовал жену, Николая Зубова, своих приближенных, все еще оттягивая минуту отъезда.

Тем временем в Гатчину прибывали все новые и новые гонцы, спешившие попасть «в случай». Вереницы саней тянулись в резиденцию великого князя, торопились курьеры от самых неожиданных приверженцев. Даже мундткох[1] Зимнего дворца и рыбный подрядчик прислали своих гонцов.

После долгих колебаний Павел решился выбыть в Санкт-Петербург. Его усадили в карету и торжественно повезли. Гигант Николай Зубов проявлял в дороге большую расторопность. Когда на почтовой станции София смотритель замешкался со сменой лошадей, Зубов с кулаками набросился на старика:

— Коней, или я запрягу тебя самого! Коней для государя!

У станционного смотрителя подкосились ноги.

— Батюшка, для какого государя? — недоумевая, пролепетал он.

Красноречивым жестом Николай Зубов пригрозил смотрителю, и тот поспешил исполнить приказ гвардейца.

По дороге в Санкт-Петербург встречались все новые и новые гонцы. Завидя карету Павла, они присоединялись к свите, и вскоре несколько десятков вершников уже сопровождало его в столицу.

А он по-прежнему колебался, медлил, задерживался по малейшему поводу, и только к восьми часам экипаж подкатил к петербургской заставе. У Чесменского дворца наследник приказал остановиться и вышел из экипажа. Стояла ясная лунная ночь. Золотая ладья месяца ныряла среди нежно-курчавых облаков. Павел очарованно смотрел на луну, вздыхал, и на глазах его от умиления засверкали слезы. Желая ободрить цесаревича, один из свитских горячо схватил его за руки:

---

[1] Главный повар.

— Ах, какая минута для вас, ваше высочество!..

Павел благодарно обнял льстеца:

— Подождите, мой дорогой, подождите! Я не оставлю вас. Я прожил сорок два года, долго ждал, и бог поможет мне!..

А государыня все еще была жива и упорно боролась со смертью. В любую минуту она могла прийти в себя и заговорить. Это вызывало смущение и замешательство среди собравшихся во дворце. Вчерашний фаворит Платон Зубов не походил нынче на заносчивого баловня. Бледный, с трясущимися губами, он бродил среди придворных, умоляя принести ему стакан воды, но все старались не замечать его.

Наступила легкая морозная ночь. Перед Зимним дворцом в необычной тишине стояли толпы горожан в глубоком безмолвии, а в царских покоях, тускло освещенных, томились сенаторы, генералы, синодальное духовенство, чиновники, фрейлины, гвардейские офицеры, с нетерпением и страхом ожидая развязки.

«Кто же вступит на престол?» — встревоженно думал каждый про себя.

В столице упорно ходили слухи, что государыня Екатерина Алексеевна в своем завещании лишила Павла престола, назначив своим преемником внука Александра. Однако последний до сих пор не проявлял активности, выражая самые почтительные чувства к отцу.

В эти минуты всеобщего колебания Павел обрел решительность, отослал сына из дворца, а сам бесцеремонно и бестактно устроился в смежной со спальней царицы комнате. Рядом, в спальной, агонизировала мать. Все, кого требовал к себе Павел, должны были проходить мимо умирающей.

Императрица лежала на полу, на матраце, в бессознательном состоянии. Камердинер Зотов, найдя государыню в тяжком положении, не в состоянии был поднять ее на кровать. Вместе с истопником он еле дотащил бесчувственное грузное тело государыни и уложил посреди комнаты.

6 ноября утром лейб-медик Роджерсон осторожно сообщил Павлу, что положение императрицы безнадежно.

Павел смелел с каждой минутой. Он чувствовал себя

уже властелином огромной империи, отдавал всем приказания и поминутно посылал гонцов в Гатчину.

В 9 часов 45 минут из спальной вышел помрачневший лейб-медик и прерывающимся шепотом оповестил собрание:

— Все кончено.

Присутствовавший при этом Павел резко и четко повернулся по-военному на каблуках у порога комнаты своей усопшей матери, энергичным движением надел на голову огромную шляпу и, взяв в руку длинную трость — атрибут обмундирования любимых им гатчинских войск,— прокричал на весь зал хриплым голосом:

— Я вам государь ныне! Ведите священника для присяги!

Все придворные в безмолвном страхе склонились перед ним...

А в этот час начальник канцелярии Трощинский спешно дописывал манифест о восшествии на престол российский нового императора — Павла. На столичных улицах торопливо расставлялись караульные будки, выкрашенные в прусские цвета, и подле них появлялись часовые.

7 ноября утром в Зимнем дворце и в столице происходили разительные перемены: в сказочно короткий срок менялись костюмы, вводились новые порядки, и все принимало вид немецкого города, что вызывало у народа удивление и недовольство. Полицейские рыскали по улицам и площадям, срывали с прохожих круглые шляпы, рвали их, срезали полы сюртуков, фраков и шинелей...

В этот день император Павел устроил перед Зимним дворцом смотр Измайловскому гвардейскому полку. Маленький, тщедушный, выпячивая грудь и выбрасывая вперед ноги, он двигался вдоль фрунта. На нем был обычный костюм: высокие ботфорты и белые лосины на ногах, узкий мундир, застегнутый на все пуговицы, с широкими рукавами, и перчатки с огромными крагами. На вскинутой горделиво голове — высокая треуголка с плюмажем, в руке — длинная трость с набалдашником. Всем своим видом государь выражал недовольство воинскими экзерцициями гвардейцев.

Прямо с парада он пришпорил своего коня и по опустевшим улицам столицы поскакал курцгалопом на-

встречу гатчинским войскам, вступившим по его вызову в Санкт-Петербург.

Город был взволнован, народ с удивлением рассматривал новые мундиры и новую форму маршировавших гатчинцев, которая с этого дня становилась обязательной для всей русской армии. Огромные треуголки и ботфорты, перчатки с большими крагами и трости — все вызывало изумление у русских людей. Но наиболее нелепыми после красивых екатерининских мундиров показались прусское обмундирование и длинные косы с большими черными бантами, болтавшиеся на спине...

2

Началось царствование императора Павла. Словно темная туча нависла над страной. Подозрительный и мстительный, государь отличался крайней непоследовательностью в своих отношениях к приближенным. Всегда ненавидевший свою мать, покойную императрицу, готовый на любой поступок, чтобы подчеркнуть неуважение к ею установленным порядкам, Павел старался всеми силами подчеркнуть свою милость к опальным прошлого царствования. Кроме того, в первые дни по восшествии на престол ему очень хотелось показать себя великодушным и справедливым. Кто-то из придворных назвал ему несколько имен ссыльных, в числе которых было имя и автора «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. Двадцать третьего ноября 1796 года новый император подписал указ:

«Всемилостивейше повелеваем находящегося в Илимске на житье Александра Радищева оттуда освободить, а жить ему в своих деревнях, предписав начальнику губернии, где он пребывание иметь будет, чтобы наблюдение было за его поведением и перепискою».

Получив указ, Александр Николаевич во второй половине января 1797 года выехал в Иркутск.

Приобретя все необходимое в дорогу, договорившись с губернатором о предстоящей отправке на родину, Радищев вернулся в Илимск, распродал за бесценок и раздарил все вещи и с семьей, вместе с верным другом Елизаветой Васильевной отправился на запад в сопровождении сержанта. Стоял февраль, все еще свирепствовали жестокие морозы, отгуливали последние

бураны, когда возок продвигался по необъятным просторам Сибири. В пути расхворалась Елизавета Васильевна, пришлось остановиться в небольшом городишке Таре. Болезнь принимала тяжелый характер, и Радищев, несмотря ни на что, решил поскорее добраться до Тобольска, где можно было отыскать врача. Началась распутица, кони еле-еле дотащили до старой столицы Сибири, но было уже поздно: Елизавета Васильевна умерла, оставив на руках Радищева малых ребят.

Александр Николаевич тяжело переживал свою утрату; хотелось побыть несколько недель подле дорогой могилы, но приставленный к нему сержант торопил с выездом. Путь лежал через Тюмень, Екатеринбург и Пермь. Разбитый горем и переживаниями, Радищев загрустил пуще. Его оживило и обрадовало неожиданное событие: в Перми ему по секрету показали переписанное от руки «Путешествие из Петербурга в Москву». На глазах у него появились слезы умиления, и он обнял скромного сероглазого человека, так доверчиво отнесшегося к нему.

— Кто же вы? — спросил он потеплевшим голосом.

— Иван Власьевич, крепостной барина Строганова. Одарен любовью к механизмам и потому прислан в Пермь принимать заказы. Живу тут и думаю о народных чаяниях... Только прошу вас, сударь, никому не сказывать о том, что показывал запретное писание.

— Что вы, Иван Власьевич! Дорогой мой, вы и сами не сознаете, какую великую радость принесли мне! — со слезами на глазах промолвил Радищев. Он собрался с духом и спросил: — А какие ныне народные чаяния? Опять Пугачева ждут?

Строгановский механик поднял глаза на Радищева, в них светился глубокий ум. Он взял Александра Николаевича за руку и сказал мягким голосом:

— Есть и это! Много в народе веры в него! Вот-вот появится он снова и поведет на бар! — На минуту Иван Власьевич замолчал, а потом заговорил страстно: — Только не верю в это. Не от сего свобода придет! От бунтовства проку мало. Надо, чтобы весь народ осознал тяжесть рабства, позор его и почувствовал свою великую силу. Мыслю я, что искра тлеет в работном слое, но раздуть ее смогут только такие книги, список с кото-

рой передан вам! Ах, если бы умный человек пришел и растолковал нам!

Радищеву хотелось признаться, кто он, рассказать механику о многом, но рядом вдруг появился сержант и объявил:

— Господин Радищев, пора в дорогу!

Иван Власьевич схватился рукой за сердце, весь потянулся к Александру Николаевичу, но голос перехватило:

— Вы... вы...

Он не успел ничего сказать. Радищева усадили в тележку, и вскоре за окном станции заколебалась пыль.

Только сейчас крепостной механик обрел дар речи.

— Помните, дорогой наш,— сказал он, глядя в оконце,— мы всегда с вами! Не забыли и не забудем!

А Радищев, покачиваясь в тележке, облегченно думал: «Какая неожиданность! Я думал, что все кончено. Книга изъята, уничтожена, последние экземпляры сожжены мною самим перед обыском, и вдруг... она живет, переписывается и передается среди народа из рук в руки. Кто же помог этому? Кто безвестный помощник делу? Не друзья ли, которые набирали и печатали книгу?»

Он вспомнил досмотрщика Петербургской таможни Ефима Богомолова, который шесть месяцев трудился над набором рукописи. Пришел ему на память и печатник Путный. Оба были надежные люди, и не они ли сохранили книгу для потомства? И тут Александр Николаевич вспомнил про прапорщика Козьму Дарагана, которому он подарил один экземпляр своей книги. На ее след так и не смогли напасть сыщики Шешковского: книга пошла по рукам читателей и затерялась. Да и десятки других экземпляров остались в народе.

На сердце стало легко и радостно.

«Не напрасно жил и работал! Посеянное взошло на российских нивах!» — светло подумал он и улыбнулся своему счастью.

Вместе с ним повеселели и дети. В Перми ему удалось устроиться на демидовскую баржу, на которой сплавлялось в Нижний Новгород железо с Тагильских заводов. Радищев долгими часами, не отрываясь, любовался камскими берегами. Его все манило, увлекало. Но от устья Камы баржи поднимались по Волге бечевой. И тут настроение Александра Николаевича омра-

чилось вновь. Впереди по берегу бурлаки с великой натугой тащили против течения грузную баржу. Чем больше вглядывался Радищев в людей, тем тяжелее становилось на сердце. На пути вставали высокие обрывистые берега, каменные кручи, простирались мели с мелкой галькой. Все, что раньше казалось приятным для глаза, теперь приняло иной смысл. Бурлаки, выбиваясь из сил, с трудом преодолевали эти препятствия: шли по пояс в воде, выходили на берег и мокрые нажимали на лямки,— ни минуты роздыха. Ноги их были изранены, плечи изрезаны лямкой. Налетал встречный ветер, и судно гнало назад по течению. Ох, и тяжело было тянуть баржу против ветра! Все тело ныло, натруженные кости гудели, никак не налаживалась ободряющая песня. Чтобы подстегнуть бурлаков, бородатый кряжистый лоцман покрикивал:

— Шевели! Иди дружней, пой веселей! — И сам заводил:

Ой, дубинушка, ухнем!
Ой, зеленая...

Наглядевшись за долгую дорогу на бурлаков, Радищев записал в свою тетрадь:

«Видел много больных, отставших работников, не дают им пашпартов, много им притеснения. В Услоне видел, как работника били нещадно за то, что отлучился...»

Вот и Нижний Новгород. В нем Радищев прожил двенадцать дней. И опять радость: в городе нашлись люди, которые читали и понимали его книгу «Путешествие из Петербурга в Москву»...

Но это была последняя радость. Уже по дороге в Москву он увидел, что с воцарением Павла ничего не изменилось в России. Все тот же страшный гнет для крепостных и полное бесправие. В Москве Александр Николаевич прочел только что вышедший номер «Московских ведомостей». Все, о чем глухо говорилось в народе о новом царе, со страниц газеты встало страшной правдой.

На первой странице «Ведомостей» публиковались «приказы, кои его императорское величество отдать соизволил».

Эти приказы потрясли Радищева. В одном из них оповещалось:

«Ряжского мушкетерского полка полковнику графу

Остерману за усмирение крестьян и того полку капитану, отряженному с гренадерскою ротою, объявляется похвала и благодарение».

Немного ниже:

«Его императорское величество объявил свое большое неудовольствие генерал-от-инфантерии князю Голицыну и сделал выговор за то, что капитаны не умеют рапортовать...»

А на последней странице шли знакомые публикации о продаже крепостных. За семь лет, проведенных в ссылке, ничто не изменилось. Произвол, насилие и притеснение крепостных продолжались с воцарением Павла с еще большей силой.

Александр Николаевич понял, что дольше оставаться в Москве нельзя, и, сопровождаемый сержантом, отправился в родное Немцово, где его ждали нужда и горе.

Он по-прежнему оставался ссыльным и спустя несколько дней после приезда с горечью писал ослепшему старику отцу:

«Немцово я нашел в великой расстройке и, можно сказать, в разорении. Каменного дома развалились даже стены, хотя не все. Я живу в лачуге, в которую сквозь соломенную крышу течет, а вчерась чуть бог спас от пожара, над печью загорелось. Сад как вызяб, подсадки не было, забора нет. Немцово заложено в банке, и оброк весь идет туда. Посуда вся вывезена, новопостроенная связь продана, лес в значительной степени вырублен...»

Трудно было, но Радищев всеми силами сопротивлялся, его не покидала мысль, что правда в конце концов восторжествует.

Между тем в Петербурге свирепствовал Павел. В первую очередь он решил расправиться с теми, кто находился в числе приближенных Екатерины. Любимый слуга государыни Захарушка Зотов угодил в крепость, где сошел с ума, второго камердинера — Секретарева, рекомендованного государыне в свое время Потемкиным, сослали в оренбургские безлюдные степи.

Секретарь светлейшего Попов был немедленно вызван к императору.

Павел с неприязнью разглядывал сподвижника Потемкина и, постепенно повышая голос, трижды спросил:

— Как поправить все зло, которое Потемкин причинил России?

Хитрый и пронырливый Попов не струсил. Он смело поднял голову и, глядя в глаза царю, нагло ответил:

— Отдать туркам южный берег, ваше величество!

Смелая выходка правителя потемкинской канцелярии взбесила Павла, он бросился за шпагой, но Попов, не ожидая решительной развязки, поспешил к выходу.

Однако, довольный быстрой ретирадой, Павел отошел сердцем, расхохотался и уже весело крикнул свитскому генералу:

— Ага, испугался! Я тебе не Потемкин! Переименовать его, сукина сына, в тайные советники...

Так началось новое, правда недолгое, возвышение Попова.

Необычайную жестокость проявил император к памяти Потемкина. Все воинские и гражданские преобразования князя Таврического были отменены и преданы забвению. Отстроенные им города в Крыму и Новороссии, названные греческими именами, переименованы были в русские и татарские. Даже прах Потемкина не оставили в покое. По приказу Павла, воздвигнутый на могиле князя мавзолей разрушили, а склеп, в котором покоился гроб, засыпали землей и загладили так, как будто его никогда и не было...

Обо всем этом стало известно Демидову, и он впал в уныние. В душе росла серьезная тревога: подозрительность нового государя могла коснуться и его. Предчувствие не обмануло Демидова. Недоброжелатели и завистники написали извет в Санкт-Петербург, называя заводчика «уральским царьком», который мечтает якобы о короне. Бывший потемкинский адъютант был немедленно вызван в столицу.

С тяжелым чувством Николай Никитич покинул Нижний Тагил и отправился в путь-дорогу. Ничто не радовало Демидова: он понимал, что над его головой собирается гроза, и всю дорогу только и думал о том, как бы ее отвести.

3

В Санкт-Петербург Николай Никитич прибыл в августе, когда парки и сады еще стояли в густой изумруд-

ной зелени, а над притихшим городом сияло нежно-голубое небо. В лицо ударило свежим невским ветерком. В природе все ликовало, а в столице царило гнетущее уныние. Демидова поразили плотно закрытые дома, полупустынные улицы, пестрые будки, чопорность и замкнутость прохожих. Былого веселья как не бывало!

Управляющий санкт-петербургской конторой Павел Данилов обрадовался приезду хозяина. Был он попрежнему толст, румян, и Демидову показалось, что Данилов нисколько не изменился со дня их первой встречи. Только прежней важности в нем не стало. Управляющий теперь лебезил перед Николаем Никитичем, по-песьи заглядывал хозяину в глаза, стараясь угадать его желания. В поступках и в разговоре Данилов стал очень осторожен. Былое спокойствие сменилось тревогой.

— Ты почему притих? — спросил Демидов.

— Господин мой хороший, сами небось догадываетесь! — многозначительно прошептал Данилов и, оглянувшись, добавил: — Теперь вся Россия притихла...

Управитель глубоко вздохнул, перекрестился и сокрушенно признался:

— Боюсь, ой, шибко боюсь, господин мой, чтобы светлейшего князя Потемкина нам не вспомнили! Умен был и весьма любезен покойный государыне. Все преклонялись перед ним, а ныне и прах его потоптали, и вспомнить страшно ныне о Потемкине!.. Знали бы, господин мой, где упадете, соломку постлали! Эх-хе-хе!..

Склонясь к уху Демидова, управитель предостерегающе прошептал:

— Вы, мой золотой, держитесь в столице потише! Не задирайтесь! Времена нынче иные. Могут, чего доброго, вспомнить ваше адъютантство у Потемкина!

— Ну, Данилов, чему быть, того не миновать,— опечаленно вздохнул Николай Никитич.— Признаться должен, вызван государем, а чем порадует — один бог знает!

Управляющий с удивлением рассматривал своего господина. Как изменился и притих Демидов!

Не теряя времени, Николай Никитич объехал знакомых вельмож. Принимали они Демидова сухо, отмалчивались. При появлении его в гостиной опускали шторы. Горько стало на душе от того, что все знакомые измени-

лись. И еще больнее было, когда некоторые приятели сказались больными и от визита уральского заводчика уклонились.

И все же Николай Никитич не сдавался. Он хорошо помнил первую встречу с Павлом в Гатчине и, ободряя себя, решил безотлагательно явиться на прием к государю.

В солнечный полдень он отправился в Михайловский замок, который за последние годы вознесся над Фонтанкой, среди густого парка. Окруженный рвами, через которые вели подъемные мосты, дворец поднимался среди высоких лип, увенчанный золотым шпилем. Озаренный полдневным солнцем, в голубой выси сверкал золотой крест. И как не сочеталось с тонким, вознесенным в небо золоченым шпилем грузное, мрачное здание дворца! Демидов вышел из экипажа у решетчатых ворот и пешком медленно направился по аллее. В глубине виднелся портал, а над ним встали восемь дорических колонн. Минуя их, Николай Никитич вышел во внутренний двор замка. Четыре большие лестницы вели во дворец. Дежурный офицер, сухой и строгий, повел заводчика по одной из них. Они поднялись по каменным гулким ступеням, миновали большую комнату, в которой на карауле стояли лейб-гвардейцы. Словно каменные изваяния, они в упор смотрели на Демидова. Это еще больше усилило волнение и без того оробевшего Николая Никитича. Руки его похолодели, во рту пересохло, когда дежурный офицер подвел его к великолепной двери красного дерева, растворы которой были богато украшены щитами, оружием и головами медуз из бронзы. У входа в кабинет государя на часах стояли два унтер-офицера лейб-гвардии с эспонтонами[1] в руках. Сердце у Демидова дрогнуло. Не успел он и глазом моргнуть, как дверь перед ним бесшумно распахнулась, и, не помня себя, Николай Никитич очутился в большой затемненной комнате.

По блестевшему паркету медленно, величаво вышагивал император. В больших ботфортах, в узких белых лосинах он походил на заведенный манекен. Перетрусивший Демидов молча остановился у двери и во все глаза взволнованно смотрел на Павла. Государь выглядел сильно постаревшим: желтый цвет лица, ранние глу-

[1] Небольшими пиками.

бокие морщины и старческое дрожание рук сильно изменили его с той поры, когда Демидову довелось скакать через Гатчину.

Император внезапно остановился перед заводчиком, провел ладонью по своему плоскому лицу и, как бы прерывая глубокое раздумье, хриплым голосом полуудивленно сказал:

— А, ты здесь!

— Явился по указу вашего императорского величества! — низко и почтительно склонился перед государем Демидов.

— Потемкинский адъютант! — вскипел Павел и оскалил крупные желтые зубы. Николаю Никитичу стало страшно: в скупом свете комнаты голова императора выглядела мертвой и зловещей. Глаза государя глубоко запали в черные глазницы, и от этого его сходство с мертвецом усилилось.

— Был им, а сейчас заводчик вашего величества! — сдержанно сказал Демидов.

— Сибирский заводчик! Свое царство завел! — сердито выкрикнул Павел, подбежал к столу и схватил трость.

«Ну, буду бит!» — поежился Николай Никитич и еще ниже склонил голову.

— Ваше величество, побойтесь бога! — взмолился он.— У нас одно царство — Российское, и один у нас государь — всемилостивейший император Павел. Мой прадед Никита Демидов ревностно и преданно служил вашему великому прадеду государю Петру Алексеевичу, и все мои стремления и мечты — послужить царственному правнуку его, идущему по стопам великого государя! — Демидов покорно опустился на колени.

Павел внимательно разглядывал Демидова. То ли искренний голос заводчика убедил его, то ли по иной причине, но государь «отошел сердцем», откинул трость, шумно дыша подошел к бывшему потемкинскому адъютанту и положил на его плечи костлявые руки. Пронзительным взглядом Павел заглянул в глаза Демидова.

Вижу, не врешь! — скрипучим голосом вымолвил он.— Мне, как и прадеду, заводы нужны для возвеличения державы нашей!

Было что-то фальшиво-театральное в поведении императора. Не чувствуя этого, желая быть милостивым и показать свою памятливость, он спросил у Николая Никитича:

— Демидов, а ведь ты на Строгановой женат?

— Точно так, ваше величество!

— Я танцевал с баронессой Елизаветой Александровной на придворном балу... Молодец, Демидов, знатно породнился! А Потемкину все же служил? — с коварством спросил он в упор.

— Ваше величество, я покойной государыне служил.

— А ведомо тебе, кто ей был Потемкин? — раздраженно воскликнул Павел.

— Слуга, раб недостойный.

— Врешь, Демидов! — прервал Павел.— Он был .

Последовало не совсем приличное слово. Демидов вспыхнул, подался вперед к императору.

— Ваше величество, никто не смеет так рассуждать о своих государях! — запальчивым тоном сказал он

— Я все смею! — вскинул голову Павел.

— Даже перед своим ничтожным слугой ваше величество не должны так говорить о российских государях! — В голосе Николая Никитича прозвучала обида.

— Как ты смеешь так рассуждать с императором! Вот! — Павел размахнулся и ударил Демидова по лицу.— Пошел вон! — в страшном гневе закричал он.

Бледный, трясущийся Николай Никитич удалился из покоев государя. Ничего больше он не видел, только за своей спиной слышал гулкие шаги сопровождавшего его дежурного офицера.

«Заточат в крепость! Все кончено!» — в ужасе подумал Демидов и сразу осунулся и потемнел. В мыслях его проносились самые мрачные предположения. Думалось, что вот вернется он в дедовский особняк, а за ним следом прискачут фельдъегери и увезут... Крепость, каторга!..

В эти мгновения Демидову почудилось, что лейбгвардейцы, стоявшие с эспонтонами, с сожалением посмотрели на него. Ноги Николая Никитича налились свинцом, подкашивались.

«У подъезда, может, уже ждет кибитка!» — в паническом страхе думал он, и на сердце похолодело. Как бы

в подтверждение его догадки, на лестнице раздались торопливые шаги.

— Остановитесь! — раздался позади Демидова громкий голос, и Николаю Никитичу почудилось, что перед ним разверзлась бездна.

Двое часовых со склоненными штыками преградили ему дорогу. Демидова нагнал запыхавшийся офицер.

— Его императорское величество требуют вас тотчас к себе! — выпалил он, задыхаясь.— Извольте следовать за мной!

Путь к полутемному кабинету на этот раз показался еще более долгим и страшным. Войдя в него, Демидов опустился на колени.

— Встань! — раздался над ним потеплевший голос Павла, и царь обнял его.— За верную службу своим государям жалую тебя, Демидов, камергером!

Николай Никитич схватил руку императора и облобызал ее.

— Так и впредь думай о своих государях! — продолжал Павел.— Ну, Демидов, поверил я в тебя и большую надежду возлагаю. Прадед и дед твои достойно служили императорам, послужи и ты. Не распускай рабочих, прижми потуже, дабы не допускали лихих возмутительств!

Заводчик облобызал руку императора:

— Будет по твоему слову, государь!

Обессиленный тревогами, но просветлевший от неожиданного счастливого исхода, Демидов вышел из замка, и в эти минуты таким милым и радостным показалось ему заголубевшее небо, что от восторга на глазах навернулись слезы...

Однако, несмотря на то, что его простили и обласкали, он взволнованно решил: «Скорее подальше от Санкт-Петербурга!»

Когда он, веселый и оживленный, вышел у своего дома из кареты, с крыльца сбежал управитель Павел Данилович встретить хозяина, внимательно разглядывал его, хлопал себя по ляжкам и ахал:

— Пронесло! Ну слава богу, пронесло! Признаться, мой господин, изрядно у меня щемило сердце!

— Теперь поздравь меня! — весело прервал его Николай Никитич.— Пожалован я государем званием камергера!

— Батюшка! — восторженно прослезился Данилов

и прижался к плечу хозяина.— Видно, уж так на роду написано: все Демидовы удачливы да счастливы! Ну, красуйся, батюшка, на радость!

— Красуйся-то красуйся,— озабоченно отозвался Николай Никитич,— все это весьма мило, но только ты, Данилов, к утру готовь коней. Поскорей мне надо отбыть из Санкт-Петербурга.

На удивленный взгляд управляющего Демидов рассудительно пояснил:

— Сегодня, глядишь, пронесло, а завтра не токмо не пронесет, а самого занесет туда, куда ворон костей не затаскивал!

Данилов притих, вздохнул сокрушенно:

— Твоя правда, батюшка. Времена-то пошли нынче шибко изменчивые! Езжай, езжай, голубь, в добрый час!..

4

Осчастливленный Демидов возвращался к себе на Каменный Пояс. Молодой, полный неизрасходованной энергии, красивый, он вначале не прочь был остаться в Санкт-Петербурге и погрузиться в пылкие увлечения, однако все увиденное им в эти дни в столице сильно охладило его пыл. Санкт-Петербург императора Павла Петровича походил на унылую, безмолвную казарму, где веселый смех вызывал у людей опасения. Шумный и блистательный Петербург государыни Екатерины Алексеевны примолк, стал уныл Все боялись за свою судьбу, дрожали — все зависело от изменчивых капризов императора и его соглядатаев. Хоть и обласкан был Николай Никитич и весьма молод, но на этот раз решил про себя: «Подальше от сих мест! К себе, в отцовские вотчины!»

Молодой заводчик еще упивался своей свободой от опекуна, властью над обширным краем.

Он ехал по Московскому тракту. Приближалась осень. По утрам с придорожных озер, ручьев и обширных плоских болот поднимался густой туман, затягивавший низины густой молочной мутью, пронизывала утренняя сырость. От бурых стогов, раскинутых по лугам, ветер приносил запахи прели. Только к полудню пробивалось солнце, туман поднимался, редел, влажные равнины открывались теплым солнечным лучам, и по-

степенно возвращалось тепло. Голубело небо. Дали — холмы и леса — покрывала легкая синяя дымка. Хорошо в эти часы дышалось в полях. Казалось, притихли все: люди и птицы. Редкие фельдъегери мчались по тракту, и от неожиданных встреч с ними Демидову становилось не по себе. «Что везут они: счастье или гибель?» — сумрачно думал он.

Станционные смотрители на тракте были подтянуты, мрачны и несловоохотливы. Все кругом дышало подозрительностью, и каждый избегал разговоров со встречными. Николай Никитич угрюмо отмалчивался всю дорогу. Мимо одной из станций, не останавливаясь, промчалась кибитка. Между двух солдат-конвойных в ней сидел, понурив голову, молодой человек в полувоенном платье.

— Разжалованного в Сибирь везут! Должно быть, порушил фрунт. Так ему и надо! — прислонившись к станционному оконцу, хриплым баском сказал человек с бульдожьим лицом.

Демидов поднял хмурые глаза на говорившего и не отозвался.

«Подальше, подальше от Санкт-Петербурга!» — торопил он себя.

Однако и в Москве Николай Никитич не нашел услады. С первых шагов он горько разочаровался в Белокаменной. Старый дедовский дом, который перешел к нему по наследству, сильно обветшал. Отделка и обстановка комнат поражали сборностью и запустением. Чего только не было тут, в старом доме, когда-то поставленном на широкую барскую ногу! Камины, облицованные цветным уральским мрамором, грузные и пыльные, теперь весьма схожие с кладбищенскими мавзолеями; потускневшая, засиженная мухами бронза; хрустальные люстры, картины великих мастеров и превосходные гобелены. А рядом с ними — потертая мебель, обшарпанные столики, скрипучие кровати, населенные полчищами отвратительных насекомых. На окнах отсутствовали занавесы; стекла были разбиты, подклеены бумагой, паркет рассохся, грязен, изразцы на печах растрескались. Беспризорность и уныние лезли из всех щелей. «До чего людишки довели палаты!» — озлобленно подумал молодой Демидов и торопливо прошел в людскую. В обширной грязной горнице толпа оборванных слуг с утра дулась в карты.

— Почему такая грязь и запущенность? — закричал Николай Никитич глухому беззубому дворецкому.

— Да так, батюшка, сейчас, почитай, пол-Москвы живет! — беспомощно разведя руками, прошамкал старик.

Брезгливо сжав губы, Демидов молча повернулся и вышел из родительского дома, не пожелав остановиться в нем на ночлег.

Устроился он в хоромах покойного дядюшки — Прокофия Акинфиевича; дворецким там все еще подвизался старый слуга Охломон.

В первые же дни своего пребывания в Москве Николай Никитич почувствовал резкий контраст между Белокаменной и Санкт-Петербургом. Прошло полвека с той поры, как дядюшка Прокофий Акинфиевич отстроил свой дворец, а Москва по-прежнему оставалась большим селом, с беспорядочно разбросанными барскими усадьбами. Все та же пестрота: чудесные дворцы и рядом ветхие лачуги, кровли которых поросли мхом; среди наилучших кварталов — густые заглохшие сады и обширные огороды, на бойких местах — большие крытые базары со множеством разнообразных лавок и французских магазинов, а поблизости на площадях — устройства для конских ристалищ. По праздникам — кулачные бои, садки волка, медведя — зрелища, привлекавшие много простого люда. И на каждом «тычке» — кабаки, а поблизости пестреют главки церквушек. До чего здесь сочетались роскошь и нищета, изобилие в барских усадьбах и крайняя нищета посадского простолюдина, истовая набожность и атеизм, домостроевское постоянство и неимоверная ветреность!

Первопрестольная по-прежнему утопала в грязи. Старые бревенчатые мостовые были завалены мусором, хламом. Еще больше запутались тупички-улочки, застроенные по прихоти хозяев. Среди улиц высились огромные скрипучие журавли у колодцев, к ним с утра собирались посудачить хозяйки. Все было как встарь!

Ранним утром Николай Никитич проснулся от звуков пастушьего рожка. Он выглянул в окно и вспомнил уральские палестины: по улице шествовал в посконной рубашке и портках белоголовый пастух и наигрывал на рожке звонкие призывные рулады. Изредка он громко хлопал бичом и поторапливал бредущих буренок. В соседних дворах со скрипом открывались ворота,

и хозяйки выгоняли к стаду своих коровенок. Все это напоминало сельскую идиллию и было так необычно для города, что Демидов недоуменно пожал плечами.

В полдень Николай Никитич вызвал дворецкого и приказал ему подготовить выезд: собирался гость на Тверской бульвар. В неугомонном сердце все еще горел задор: хотелось уральскому заводчику показать себя и удивить москвичей.

— Ты, холоп, устрой так, чтобы дознавались люди, кто проехал! — сказал он Охломону.

Высокий седовласый дворецкий пожевал большим ртом, отчего медленно и скупо задвигались каменные скулы, и посулил Демидову:

— Будет по-вашему! В старые годы мы наторели в потехах, которые по душе приходились вашему дядюшке Прокофию Акинфиевичу. Знал он толк в забавах!

После обильного завтрака к подъезду подали карету, сиявшую позолотой и зеркалами. Красная сафьяновая сбруя с позолоченным набором горела как жар. Но что это за упряжь? Коренник возвышался подобно верблюду, а пристяжные в сравнении с ним казались мышками. Занятнее всего были подобраны слуги: на запятках кареты стояли трехаршинный гайдук и крохотная карлица. За кучера на высоких ко́злах сидел мальчонка лет десяти, а форейтором высился старик с седой бородищей.

Не успел Демидов сесть в карету, как впереди его побежали скороходы с криком: «Пади! Пади!»

Вдоль Москвы-реки он добрался до Кремля и тут, подле Боровицких ворот, свернул к Тверской, привлекая всеобщее внимание.

На бульваре было шумно, пестро — московская знать показывала свои наряды. Но тут все взоры разом отвернулись от Демидова. Все общество сейчас восхищенно смотрело на бегущего рысака. Он мчался, легко выбрасывая ноги, широко раздувая горячие ноздри. Позади резвого жеребца в легкой двуколке сидел седовласый широкоплечий молодец, горяча и без того обезумевшего коня, который несся стрелой.

— Кто это? — крикнул кучеру Демидов.

— И, батенька, с ним на всей Руси никто не потягается ни в кулачном бою, ни в конском ристалище.

Орлов это, сударь! Одно слово, вельможа на всю Москву!..

И верно, никто больше не обращал внимания на Демидова. Он померк и велел кучеру гнать домой.

Вечером Николай Никитич вызвал дворецкого и сказал строго:

— Готовь в дорогу. Завтра еду в Тулу!

5

С большим душевным волнением Николай Никитич приближался к своему родовому гнезду — к Туле. И было отчего волноваться: перед отбытием его из Санкт-Петербурга вспомнился наказ Павла о тульских рабочих. Сейчас он невольно перебирал в памяти подробности последней встречи с царем и думал о заводах, на которых только что улеглось волнение среди рабочих. Началось оно на Петровском государственном оружейном заводе, командиром которого состоял князь Долгоруков, задумавший по-своему организовать работу. По неумению его, а может быть, по сговору с поставщиками, на завод стало прибывать плохое железо. От этого заработок оружейников сильно упал, работать стало трудно. Тут и вспыхнули беспорядки. Князь Долгоруков жестокими мерами прекратил их, а трех наиболее неспокойных оружейников отправил на оружейную фабрику в Сестрорецк. До государя дошли слухи, что оружейники надумали отбить своих товарищей, когда их повезут из Тулы. Это намерение показалось царю Павлу Петровичу предерзостным, и он написал князю грозное письмо:

«Господин генерал-майор князь Долгоруков. Сведав о неповиновении оружейных мастеров в Туле, для усмирения оных я приказал генерал-лейтенанту Шевину, по сношению с вами, ввести столько войск из его полка, сколько на сей случай потребно. Равномерно предписано от меня кому следует о понуждении заводов железных к скорейшему доставлению в Тулу на оружейные заводы годичного железа, каждому той части, кому какая по нарядам следует.

Пребываю к вам благосклонный *Павел...*»

На берегу Тулицы по-прежнему работал старый демидовский завод, но былая слава его минула. Ко

времени воцарения Павла Петровича в Туле рядом с демидовскими уже возникли новые заводы. Ставили их купцы Лугинины, Баташевы, Ливенцовы, Красильниковы и многие другие, которым удача старого тульского кузнеца Никиты Демидова стала поперек горла. По слухам, которые дошли до Николая Никитича, новые заводчики перещеголяли скупого и жадного петровского любимца — Никиту Антуфьева. Они первые завели в Туле роскошные каменные палаты, выстроили настоящие дворцы во вкусе екатерининского времени. Сказывали, что Ливенцовы возвели дворец в стиле рококо с роскошными каменными воротами. Лугинины отстроили на Тулице четырехэтажные каменные хоромы...

«Эх, отгремела на Тулице дедовская слава!» — горько подумал молодой Демидов, а самого так и подмывало скорее увидеть Тулу, в которой доселе ему не привелось побывать.

На ранней заре Николай Никитич въехал в город прославленных оружейников. Ничто здесь не напоминало о только что окончившемся рабочем волнении. После Санкт-Петербурга и Москвы Тула показалась сонной и унылой. Около заставы высилось скучное кирпичное здание герберга — гостиницы для проезжающих. Подле нее на литых чугунных столбах от легкого ветерка раскачивались закоптелые масляные фонари. Под ними в грязи лежали две тощие свиньи. Тут же у въезда пестрела полосатая полицейская будка, а подле нее, опираясь на алебарду, дремал градской страж. Его настолько обуревал сон, что он даже не поднял отяжелевших век при проезде Демидова.

Экипаж покатил к Упе-реке, к Перекопному мосту. Навстречу ему показались извозчики с большими номерами на плечах. Впереди встали белые стены тульского кремля, выше их — купола с золотыми крестами. Еще левее — стройные, изящные главы на архиерейской церкви, чуть дальше — вознесенные ввысь колокольни, а над ними — стаи голубей, парящих в голубом небе...

Демидов снял шляпу, перекрестился:

— Здравствуй, Тула! Здравствуй, родная земля!

Как ни пытался он из рассказов туляков узнать что-нибудь новое о былом своих предков — прадеда

и деда,— ничего не выходило. О первых поколениях Демидовых тут осталась лишь легендарная слава об удаче простого кузнеца Антуфьева.

В первый же день молодой хозяин воочию убедился: старый демидовский завод хирел, да и все заводишки превосходил своим размахом производства государственный оружейный завод, налаженный по указу царя Петра Алексеевича сметливым русским солдатом Яковом Батищевым, гораздым до оружейного производства. Все выходило тлен и прах! Дед и прадед покоились неподалеку, в церкви, под чугунными плитами. Все отошло, отгремело и не возвратится вспять! Недавно, во времена царицы Екатерины Алексеевны, по Туле прошумел опустошительный пожар, превративший в пепел богатейшую часть Оружейной слободы города. И ныне, по старому екатерининскому указу, шла новая распланировка Тулы. На горелых местах землемеры ставили свои астролябии и намечали разбивку новых улиц и городских площадей. Они безжалостно осуждали на снос обывательские домишки, которые, к несчастью хозяев их, лежали на запроектированной улице. Купцы, владетели каменных хором, отводили беду приношениями. И хотя старые демидовские строения лежали далеко в стороне от пожарища, но, прознав о приезде хозяина, на другой день к Николаю Никитичу пожаловал с визитом тощий, с унылым угреватым носом землемер, затянутый в поношенный мундир, при шпаге. Он учтиво поклонился Демидову, который так и не протянул ему руки. Землемер начал издалека:

— Узнав о прибытии вашего превосходительства, осмелился явиться, дабы склонить чело перед известностью сего края...

Николай Никитич болезненно поморщился от грубой лести и, быстро выдвинув ящик письменного стола, достал оттуда пакет и протянул его землемеру:

— Возьмите и планируйте как вам угодно! До свиданья, сударь!

Чиновник жадно схватил пакет и, угодливо раскланиваясь, быстро ретировался. Захлопнув за ним дверь, старик лакей укоряюще покачал головой:

— Гнали бы, батюшка, прочь вымогателей. Развелось их... Тьфу!..

Демидов улыбнулся.

— Так уж испокон веков говорится: или чума, или мор, или землемер во двор!

Он круто повернулся на каблуках и зашагал по низким горницам.

Все здесь дотлевало, хотя не прошел тут пожар. Тлен и забытье казались страшнее пожара. Больно было смотреть на опустошение, произведенное временем. Градские купцы и жители оказывали почет прибывшему в отцовское гнездо демидовскому потомку, но ничто не радовало Николая Никитича: он знал, что тульское уходит, отмирает, а настоящее — там, на Урале, где Демидовы — хозяева и судьи...

Помня повеление государя Павла Петровича, он посетил старый завод. В нем работало много стариков, помнивших еще самого Акинфия Никитича. Все так же, как и в былые времена, работа шла размеренно: мастера ладили отменные ружья, умельцы-узорщики украшали их причудливой резьбой, чеканкой — знаменитой тульской чернью, и молодой Демидов часами любовался их мастерством. Глядя на рабочих, просто не верилось, что еще недавно они подымали смуту против властей: выглядели они совсем покорно, и нравы, которые царили среди них, были старые, мирные. Как и встарь, оружейники были большими любителями животных и птиц. Ранней весной, в свободные от работы часы, они отправлялись в окрестные засеки ловить певчих птиц, главным образом чижей и соловьев, которых много водилось в тульских рощах и садах. В народе туляков поддразнивали: «Бачка, милок, присядь, притихни, чижи летят!»

На Кузнецкой слободе и по сю пору мастера разводили певчую птицу, обучали ее, устраивали состязания и споры.

И кто бы мог подумать, что эти мирные труженики, разводившие на посадье голубей, канареек и кур, вдруг возмутились своим бесправием?

Облюбовав седобородого, строгого лицом деда-оружейника, Николай Никитич решил укорить его.

— Слыхано ли от века, чтобы не чтить своих опекателей и прекословить им! — сурово пожаловался он старику.— От отцов наших завещано и пророками нашей святой церкви указано: всякая власть от бога! Его милостями держится и богатеет держава наша!

На торжественный голос хозяина оружейник поднял голову. Лицо его было угрюмо, глаза мрачны.

— Да будет тебе ведомо, хозяин, что живет и богатеет наша держава от великих трудов простого русского человека! Только честный и любовный труд возвышает нашу державу и крепит ее против супостатов наших! — твердо и складно, как кирпич к кирпичу в кладку, выложил заветное слово к слову старый мастер. Он не отвел своих пронзительных глаз от пытливого взора Демидова: дерзость и бесстрашие светились в них.

«Не от такого ли корня пошли пугачевские побеги?» — со страхом и смущением подумал Николай Никитич и, все еще не сдаваясь, сказал оружейнику:

— Это верно, что труд есть созидательное начало. Прадед и дед наши трудом своим великим создали множество заводов и помогли царю Петру Алексеевичу оборонить державу нашу от шведов!

— Ни прадед, ни дед твой того не сделали бы, если бы народ не положил душу и силы на укрепление державы. Дед и прадед твои умные были люди и понимали, в чем их сила. Хошь, по совести говоря, и звери они были, но простые люди не из страха перед кнутом или кандалами терпели их. В поте лица своего, до кровавых мозолей старался народ только из-за великой любви к земле своей!..

— Ты что тут городишь? — угрожающе поглядел на него Демидов. Однако оружейник смело выдержал хозяйский взгляд.

— Ты меня пытал, а я тебе ответ держал,— вот и весь сказ! — веско отозвался он, склонив голову, и занялся мастерством.

«Так вот какие они! — вернувшись в хоромы, обеспокоенно думал Николай Никитич. Он ходил из угла в угол, а перед глазами все стояла широкоплечая фигура старика оружейника с впалыми грозными глазами на сухом темном лице.— Вот какие они! Таких ни дыба, ни кнут не сломят! С виду тихи и почтительны, а под спудом, в душе, своего часа ждут на господ тронуться!»

Чтобы успокоиться, Демидов прошелся пешком по городу. На городских улицах и площадях царило затишье, изредка прерываемое криками калачников и мещанок, торговавших медом и мятной водой. В гости-

ном дворе, завидя одинокого прохожего, наперебой зазывали купцы и приказчики. Потеряв надежду заманить под каменные своды лавки покупателя, купцы скучно зевали и садились за прерванную партию в шашки. В канцеляриях чиновники усердно скрипели гусиными перьями. По окраинам и посадам в своих хибарках от темна до темна трудились ремесленники. Оружейная слобода, откуда пошел в гору прадед Никита Антуфьев, и Чулково, как сто лет назад, продолжали жить своею «казюцкой» жизнью. Время от времени «казюки» выходили «на поле», чтобы померяться силой на кулачных боях с городской стороной — купцами и мещанами.

Внешне все находилось в своей вековечной дремоте. Купцы медленно, исподволь, но верно наживали свои капиталы, ездили торговать на ярмарки, брали подряды у казны и время от времени жертвовали богу на церковь и на богадельни. Но под этой тишиной таилось уже что-то новое, нет-нет да и прорывавшееся недовольством среди мастеровых.

И еще большее беспокойство принес старый лакей. Оставшись наедине с барином, он таинственно прошептал ему:

— Уезжайте, господин, подальше от греха!

— Ты что вдруг так забеспокоился? — удивленно посмотрел на него Демидов.

— Слухом земля полнится. Сказывали на рабочей слободке, что крепостных скоро на волю отпустят...

— Что за бредни? — возмутился заводчик.

— Это не бредни, батюшка,— тихо отозвался старик.— По книжке господина Радищева читали.

— Кто читал? Когда читал? — вспылил Николай Никитич и схватил лакея за руку.— Сказывай, песья душа!

— Батюшка, да нешто я знаю, что и как! Что слышал, то и сказал.

Демидов так и не добился ничего, но это сообщение его сильно встревожило.

«Значит, «Путешествие из Петербурга в Москву» и тут в списке ходит!» — подумал он с огорчением и решил поскорее уехать из Тулы.

Вечерами тоска усиливалась. С заходом солнца Тула замирала, обыватели отходили ко сну. Круглая луна катилась над старым садом и заводским прудом.

Зеленый призрачный свет струился над городом, и казалось, что все строения, и косматые деревья, и сам Николай Никитич очутились вдруг на дне зеленого океана. Свежий воздух лился в окно и приносил первые запахи осеннего увядания.

«Дальше, дальше отсюда! — с тоской думал молодой Демидов.— Полк генерала Шевина и без меня наведет тут порядок!»

Глава третья

1

Николай Никитич выехал в орловские степи, и перед ним распахнулись широкие синие просторы. С полудня подул мягкий, теплый ветер, напоенный запахом последних отцветающих трав. Дорога бежала к темно-синему окоему, пересекала сухие балки и светлые сосновые леса, разбросанные среди равнин по берегам рек. Демидов молча ехал в экипаже и наслаждался покоем. В полдень кони останавливались в тенистой рощице у ручья, и пока слуги готовили завтрак, Николай Никитич долго, растянувшись, лежал на теплой траве и следил, как высоко в небе тянули на юг журавли. Безмятежно проходило время, не было ни тревог, ни суеты. После приятной езды по степи он ночевал на станционных дворах, где меняли лошадей. И как хорошо спалось после долгого укачивания в экипаже! От возбуждающего ветра горело лицо, и сон приходил сразу, словно в теплый омут погружался Николай Никитич; и каждое пробуждение после такого сна приносило Демидову бодрящую радость. Хорошо утро на Орловщине, когда на востоке сквозь тьму начинает робко пробиваться бледно-розовая заря. Приходят минутки сладостного пробуждения природы, и вот вспыхивают первые трепетные лучи солнца и золотят верхушки деревьев. В утренней тишине раздается легкий свист крыльев: с дальнего озера проносится утиная стайка. Неожиданно из широкой балки прилетит ветерок и прошелестит в золотых листьях берез. Прекрасно осеннее утро в степи!

В один из тихих вечеров Демидов остановился для смены лошадей на заброшенной почтовой станции.

Безмолвие опустилось на просторы, темнело синее небо, и на западе, за леском, куда погружалось солнце, нежным багрянцем пылала заря. Николай Никитич сидел у оконца и разглядывал опрятные деревянные строения. И вдруг, словно золотая змейка, в оконце скользнул и погас отраженный солнечный луч. Демидов выглянул в оконце и увидел на коньке крыши, на шесте, вертлявого золотого петушка. Легкий ветерок слегка поворачивал его. Петушок высоко держал голову, раскрыв клюв, и казалось, вот-вот он взмахнет золотыми крылышками и запоет... И тут Демидов вздрогнул, раскрыл от изумления рот: из ближней балочки вырвалась струйка упругого ветерка, ударила петушку в грудь, он и на самом деле оживился, взмахнул крылышками, качнул головкой, и что-то похожее на пение — нежный звук — пронеслось в вечерней тишине.

— Что за диво? — очарованно оглянулся на станционного смотрителя Демидов.

— И верно, батюшка, подлинное диво! — с ласковостью в голосе отозвался старик. Из-под седых нависших бровей глядели добрые глаза. Светлый душевный огонек теплился в них.

— Неужто петушок и в самом деле золотой? — полюбопытствовал Николай Никитич.

— Медный... Из меди резан, а дороже всякого злата! — с жаром пояснил станционный смотритель.— Великий талант в сие мастерство вложен, сударь! Прост, а душу веселит. А радость душевная дороже всего, батюшка!

— Подлинно великий талант надо иметь, чтобы смастерить такое диво,— согласился Демидов.— Неужто проезжий иноземец забыл у тебя на станции эту забаву?

— И-и, батюшка! — развел руками старик.— Где иноземцам сделать такое! Слава богу, на Руси немало светлых голов имеется, не оскудела наша земля талантами. И не забава это, милый человек. Петушок этот погоду сторожит, зимой про метели предупреждает. Не потеха это, батюшка, а сто́ящее дело!

Николай Никитич взглянул в оконце и загляделся на золотого петушка, который застыл в неподвижности в сиянии вечерней зари.

— Продай петушка! — предложил Демидов.

Станционный смотритель покачал головой.

— Мастерство это не продажное, дареное! — ровным голосом отозвался он.

Николай Никитич молча подошел к укладке, добыл кожаную кису и высыпал на стол перед оторопевшим стариком червонцы.

— Бери, все бери, а петушок мой! — настаивал Демидов.

Станционный смотритель нахмурился.

— Дареное от души и на золото не купишь, батюшка! — Он сердито отвернулся от приезжего.

— Тогда скажи, кто смастерил это диво? — упрашивал Николай Никитич.

— Мастерил диво крепостной человек барина Свистунова, русский умелец Ефимка. Мудрый мужик! А живет он отсюда верстов за тридцать...

— Закладывай коней! Живо! — заторопил Демидов.— Не хотел ты продать золотого петушка, так куплю я мастера!

Старик хотел что-то сказать, жалобно заморгал глазами, но приезжий грозно выкрикнул:

— Проворней поворачивайся, сивый хрыч! Коней!

Демидовский слуга быстро собрал дорожные укладки и поволок во двор к экипажу. За ним выбежал хозяин. Раздосадованный станционный смотритель вышел на крылечко, слезы блестели на глазах.

— Эх, горе какое! На доброго человека навлек беду! — покачал он головой и запросил Демидова: — Батюшка, возьми петушка задарма, только не трожь Ефимку!

— Э, нет! — отказал Николай Никитич.— Не хотел по-моему, теперь не вернешь! Коней! — крикнул он и уселся в коляску...

2

Ночь простиралась ласковая, звездная. Над полями струилось нежное сияние восходившего месяца. Ямщик разудало щелкал бичом, погоняя коней.

— Держись, барин! Кони из орловских заводов — порода! — Голос ямщика прозвенел громко.

Хорошо ночью в степи! Полной грудью дышится, и колокольчики — дар Валдая — нежно поют и трогают душу. Звездная пыль сыплется по синему простору неба, а в поблекших травах шорохи: звери тихо пробираются на водопой. В широкой пади, среди мелкой

поросли провыл волк, и совсем неподалеку от дороги жалобно закричал зайчишка, врасплох захваченный лисой. В перелеске заухал филин. И надо всем колдует месяц.

Вглядываясь в зеленоватую ночную мглу, Николай Никитич вспоминал:

«Свистунов, Свистунов! Не тот ли санкт-петербургский гвардеец, которого поспешно выслали из столицы за скандальное происшествие?»

— Эй, любезный! — обратился к ямщику Демидов.— Не знаешь ли ты помещика Свистунова? Каков барин? Не служил ли он в гвардии?

— Кто его не знает! — бесшабашно отозвался ямщик.— Барин размашистый, орловский, под руку не попадай; и в гвардии он подлинно служил, да не повезло веселому, за проказы в родовое поместье отослали!

— Он! — обрадовался Демидов, и сразу на него нахлынули воспоминания юности.

...До столицы доходили смутные слухи, что отставной поручик лейб-гвардейского Семеновского полка не угомонился, с тем же пылом колобродил в своих орловских поместьях и постепенно разорялся. Чтобы унять его, в имение выехал губернатор. Свистунов дознался об этом и решил по-своему встретить высокую персону. Он приказал на пути сановника выкопать глубокий ров, а через него построить опасный висячий мост. Достигнув переправы, губернатор с великим страхом проехал через нее.

«Ну, хвала господу, пронесло!» — облегченно вздохнул он, когда кони вынесли коляску на спокойную дорогу. Через пять минут впереди блеснула речонка. «Никак опять мост»,— обеспокоенно завертелся губернатор, и когда кони вынесли коляску к берегу, он увидел, что мост разобран, а в воде торчат одни сваи. За рекой с топорами и пилами бродили плотники. Чиновники, сопровождавшие губернатора, бросились вперед.

— Эй, ребята, куда мост девался? — заорали они.— Что случилось?

— Мост разобран, господа хорошие! — почтительно отозвался из-за реки старший плотник.

— Как разобран? Кто смел? — не удержался и крикнул губернатор.

— Барин Свистунов приказал!

Генерал нетерпеливо вышел из коляски:

— Эй, вы, живо навести мост! Знаете, кто я?

— Известно, ваше превосходительство. Слухом земля полнится. Только извините, ослушаться своего барина не смеем!

— Розгами засеку! — побагровев, задыхался от гнева начальник губернии.

— Воля ваша, перебирайтесь к нам и секите! — с озорством отозвались мужики.

— Погодите, я до вашего барина доберусь! — пригрозил губернатор и закричал ямщику: — Гони назад, в объезд!

Вернулись к первому мосту, а его как и не бывало. На другой стороне глубокого рва в походном креслице сидел сам отставной лейб-гвардии поручик и спокойно покуривал трубку.

— Господин Свистунов, что за озорство? — сдерживая гнев, заискивая, выкрикнул губернатор.

Опальный поручик остался глух и нем к истошным крикам. Губернатор и грозил ему и умолял, а Свистунов пускал синие кольца табачного дыма и умиленно рассматривал легкие пушистые облачка, безмятежно плывшие по ярко-синему небу.

— Господин гвардии поручик,— не вытерпел и взмолился генерал,— выпустите меня из несносного плена.

— А мне каково, ваше превосходительство? — наконец отозвался Свистунов.— За что и про что меня мытарите? Извольте, сударь, на себе испытать, сколь неприятно находиться в щекотливом положении. Позвольте, ваше превосходительство, пожелать вам спокойной ночи! — Поручик учтиво поклонился губернатору, уселся в поданный экипаж и укатил. А генерал так и остался мытариться на голом островке...

Вспоминая об этом, Демидов улыбнулся: «Он, он, старый знакомый!» — и весело закричал ямщику:

— Гони, холоп, быстрей!

Кони и без того бешено рвались вперед. Мимо мелькали осиянные луной перелески, блестели озера, гремели под копытами мосты. Вот впереди, плавясь серебром, заискрился пруд, под мшистым мельничным колесом зашумела вода, и над плотиной выросли и сдвинулись кронами могучие молчаливые дубы.

— Вот и поместье, барин! — выкрикнул ямщик и щелкнул бичом.— Понесли, залетные!

По крутому извилистому берегу Красивой Мечи лепились домишки. Встревоженные дворняжки выбирались из подворотен и с хриплым лаем бросались под ноги коней. А коляска с шумом катилась прямо на яркие огни. Несмотря на полуночный час, впереди золотыми квадратами сияли освещенные окна огромного барского дома. Белые колонны его поднимались среди вековых лип. Ямщик молодецки развернул тройку и лихо подкатил к высокому крыльцу, украшенному массивной колоннадой.

Заслышав стук экипажа, из прихожей на ступеньки выбежал высоченный гайдук. Он заносчиво осмотрел Демидова и не поклонился гостю.

— Барин дома? — сурово спросил его Николай Никитич.

Гайдук не смутился под надменным демидовским взглядом.

— Барин, гвардии поручик, ноне путешествуют по губерниям! — насмешливо сказал слуга.

— Как?

— А так! Они у себя в кабинете, а только с утра странствуют и никак не могут остановиться. Не велено пущать!

— Не мели пустого! — накинулся на него Демидов.— Поторопись, холоп, и доложи, что старый друг по гвардии прибыл.

Не задерживаясь, Николай Никитич ринулся вслед за гайдуком, покорно распахнувшим перед ним дверь кабинета.

Гость очутился в обширной комнате с потемневшими обоями. Под потолком мерцал слабый свет от люстры, которую держал в клюве орел с распластанными крыльями. Синие волны табачного дыма, как промозглый туман над болотом, колебались в покое, пол которого покрывал мягкий ковер. На стенах висели охотничьи ружья, рожки, сабли, нагайки, головы лошадей, оленей, кабанов, собак. По всему пространству в живописном беспорядке были расставлены столики, глубокие кресла и диваны. В углу кабинета высился дубовый стол со спинкой, доходившей до потолка. На нем в несколько ярусов помещались курительные трубки с длинными чубуками и крупными мундштуками из янтаря. Вдоль

широкой софы стоял ряд погребцов, а в них зеленели штофы.

На софе валялся обрюзглый, с взъерошенной шевелюрой барин в засаленном шлафроке.

— Как смел, ухорез? — хриплым голосом закричал он при виде Демидова.

— Свистунов, голубчик, или не узнал своего друга? — кинулся к нему Николай Никитич.

Пьяный помещик вытаращил глаза.

— Никак Демидов? — изумленно выкрикнул он и отбросил трубку.— Голубь, хват, садись-ка сюда! — Хозяин потянул гостя к себе, облобызал его и усадил рядом.

Николай Никитич незаметно брезгливо поморщился от прокислого табачного дыма, и глаза его перебежали на погребцы.

— Что это? Не гвардейская ли штофная баталия?

— Веселое было времечко, каруселью вертелась жизнь, а теперь — все тут! Гляди! — Свистунов указал на погребцы: — Что ни погребец, то губерния! Вот Псковская, а вот Новгородская, а это Калужская, там Владимирская, а подле — Орловская губерния. И в каждом погребце столько штофов, сколько городков в сих губерниях. Его превосходительство губернатор запретил мне покидать пределы губернии, вот я и странствую здесь. В день, братец, объезжаю две-три губернии. И сколько знакомых и родных я встречаю в каждом городе! Эх, милый, вспомни наше гвардейское! — выкрикнул Свистунов и вдруг запел хрипло:

Много езжу по Руси,
От Керчи до Валдая,
И пью при этом я
Немало сиволдая!..

Он поперхнулся и закричал:

— Иван!

Перед софой вырос дядька-пестун:

— Слушаю, барин!

— Где мы сейчас находимся? — совершенно серьезным тоном спросил хозяин.

— За день отскакали верстов двести. Как изволите сами видеть, только что свернули на Тамбовщину!

— Хорошо, очень хорошо! — потер от удовольствия руки Свистунов и взглянул на Демидова: — Ну что, братец, приложимся ради встречи. Вспомним нашу младость!

Счастлив тот, кто в вихре боя
Иль в пирушке громовой
Славной смертью пал героя
Хоть под стол за край родной...—

пропел он и, дыша в лицо гостю, толкнул его в бок:

— Помнишь, как распевали?

От степного помещика изрядно разило хмельным. Николай Никитич поморщился: в лицо ударило неприятным запахом немытого тела. Он отодвинулся.

— Водку! — заорал Свистунов.

Высокий гайдук оказался на редкость проворным малым. Он быстро выдвинул на середину кабинета круглый стол, расставил на подносе большой графин, закуски, рюмки...

— Садись, Демидов,— пригласил гостя хозяин.— Выпьем для встречи! — Он цепкими волосатыми пальцами схватил рюмку,— гайдук осторожно наполнил ее. Свистунов поглядел рюмку на свет и сипло продекламировал:

Эхма! Служба тяжела!
Часом просто не находка!
А была чтоб весела,
Что гвардейцу нужно? Водка!

Поручик в засаленном шлафроке поднял рюмку над головой:

— Смотри, вот она! А ну-ка, за храброго моего фейерверкера Павлушку, за сукина сына денщика Савку, спасшего мне не раз жизнь, выпьем, Демидов!

Размашистым движением он «вонзил рюмку» в рот, не делая передышки, налил вторую и снова поднял над головой.

— За моих товарищей по оружию — Николая Демидова и Дормидонта, за столяра Василия, выручавшего меня в юности из критической нужды, и за воинов, живот свой за отечество на поле брани положивших! — провозгласил он и снова быстро опрокинул рюмку.— Э-э, Демидов, не отставать! Помнишь, как по аршину

пили? Было времечко! А за монашенку Аленку? Эй, наливай, Иван!

Изогнувшись над хозяином, гайдук в третий раз налил рюмку.

— Уйди! — отмахнулся от него Свистунов и снова провозгласил: — Выпьем за упокой души моих незабвенных родителей, рабов божьих Спиридона и Клавдии! Выпьем за блудницу цыганку Аграфену, и за нашего пономаря Сысойку, и за все православное воинство!

Демидов положил руку на плечо хозяина:

— А не хватит ли, господин гвардии поручик?

— Скоро ретируешься с боевой линии, Демидов! — запротестовал Свистунов.

— Не в том дело! — стараясь смягчить пьяницу, вкрадчивым голосом заговорил Николай Никитич.— Много лет мы с тобой не виделись, Феденька, а ты о себе не рассказываешь. Как живешь?

— Плохо живу, Демидов! — взволнованно сказал поручик, и хмельные глаза его возбужденно заблестели.— Ничего в жизни не осталось, кроме сих погребцов со штофами да коней. Последнее имение прогуливаю, братец! Все тут!..

Он опустил лохматую голову, в которой густо засеребрилась ранняя седина. Задумался.

Тьма за окном стала заметно редеть и сменилась розовыми бликами зари. В комнате плавали густые синие клубы табачного дыма, стоял крепкий запах винного перегара. Все это было знакомо Демидову по гвардии, но теперь казалось далеким, отошло в прошлое. Во многом он изменился с тех пор, как оставил военную службу. А вот Свистунов как бы застыл на месте — навек остался гвардии поручиком. Демидов вздохнул: было грустно и тяжело на душе. Глазами он указал гайдуку на окно. Сметливый слуга приоткрыл раму. В окно ворвалась струя свежего, бодрящего воздуха. В озаренных восходом кустах щебетали птицы.

— Утро, братец! — вдруг поднял голову Свистунов и заорал: — Станция! Прибыли! Павлушку сюда! — Он пронзительно свистнул.

На свист в комнате мгновенно появился человек со жгучими глазами и черными усищами, косая сажень в плечах, красная рубаха — пламенем. Он рабски ловил взгляд своего владыки.

— Голову выше, Соловей-разбойник! — закричал на него Свистунов.— Ешь меня глазами, каналья! Готовы ли кони?

— У подъезда! — доложил слуга.

Гайдук быстро, словно играя, облачил барина в шелковую голубую рубашку. Веселые глаза Свистунова горели лихорадочным огнем. Опираясь на палку, прихрамывая на правую ногу, он выступил вперед.

— Демидов, шествуй за мной!

Они вышли на широкое крыльцо. Над парком, убранным в осенние цвета увядания, всходило солнце. На травах блестела крупная роса.

Четыре лакея в плисовых поддевках и в желтых рубашках стояли на ступенях лестницы. При появлении Свистунова они почтительно склонили головы.

У крыльца, позванивая бубенцами, нетерпеливо била копытами тройка гривачей, убранных в серебряную упряжь с крупными бляхами. Молодец со жгучими глазами чертом взлетел на облучок. Не зевал и гайдук — вскочил на скакуна и с нагайкой в руке вынесся вперед экипажа.

— Да куда ж мы поедем? — полюбопытствовал Демидов.

— На выводку! — выкрикнул помещик и взмахнул рукой.— Пошли!

Черноглазый ухарь гикнул, взвизгнул, и кони понеслись. Под расписной дугой залились колокольцы, загремели бубенчики малиновым звоном. Резвая тройка, с породистым рысистым коренником и в крендель изогнутыми пристяжными, понеслась птицей, всклубила пыль...

Кони быстро домчали их до обширной конюшни. Свистунов проворно выбрался из коляски и увлек за собой гостя. Тридцать отменных коней стояли у яслей. Властный и решительный Свистунов самоуверенно входил в каждое стойло. Если лошадь беспокоилась, кося налитыми кровью глазами, он ласково гладил ее по хребту, и животное стояло как вкопанное.

Конюхи — крепкие молодцы — засуетились при виде хозяина. Началась выводка. У Демидова разбежались глаза: до чего хороши были лошади! Он не знал, на какой остановить свое внимание. Каждую из них держали под уздцы два конюха, но иной резвый жеребец, играя, взрывая копытами землю, поднимал их на воз-

дух. Перед гостем проходили чистокровки вороные, караковые, гнедые, серые в яблоках, с золотым отливом, с длинными шелковистыми гривами. Когда они вздрагивали, казалось, будто волна пробегала по нежной атласной коже животных от хвоста до головы.

У Демидова дух захватило:

— Ух, и кони!

В эту минуту, гарцуя и заносясь в сторону, из конюшни выбежал гигант золотистой масти с круглыми пятнами на спине. Злобно косясь, он фыркал по сторонам. Приблизившись к хозяину, конь поднялся на дыбы. Один из конюхов вдруг заробел, выпустил повод, и тот запутался между ногами лошади. Второй конюх не струсил, быстро пригнулся к земле и сдержал страшного злобного гиганта.

Свистунов бестрепетно смотрел на любимца.

— Отпусти повод! — приказал он конюху.

Молодец отпустил повод, но конь, гарцуя, продолжал бить ногами. Тогда бесстрашный конюх ухватил из-под ног лошади повод и ударил ее по шее кулаком.

— Стой, леший! — закричал он.— Не видишь, барин нами любуется.

Резвый скакун вдруг успокоился. Свистунов подошел к лошади и погладил ее по шее.

— Балуй, шалун!

Демидов не мог наглядеться на прекрасное животное. Да и не только он один любовался им,— все конюхи не могли оторвать глаз...

Только один крепыш с рыжеватой бородкой безразлично сидел у конюшни и ладил хомуты.

«Шорник!» — подумал Демидов, и глаза его снова перебежали на лошадей.

Он искренне позавидовал Свистунову: «Пьяница, пустохват, а в конях разбирается! Орлову под стать!»

Между тем, поласкав любимца, Свистунов отошел от выводки. Заметив безразличного шорника, он вдруг вспылил:

— Все еще об игрушках думаешь? — заорал он на крепостного.

— Кто это? — тихо спросил Николай Никитич.

— Ефимка Черепанов! — сердито отмахнулся помещик.— Помешался на механизмах. Куклы ладить мастер, машинки, а в живой твари не разбирается. Ну

куда он мне! Купи его, Демидов! У тебя на заводах, пожалуй, сгодится!

— У меня больше горбом люди работают, а машины мне не с руки. Дорого! — сдержанно отозвался Демидов.— Но все же, господин поручик, ловлю тебя на слове, куплю сего крепостного.

— Бери, дешево отдам! — остывая, сказал Свистунов.

Николай Никитич внимательно разглядывал Черепанова. Крепостной выглядел степенно, был жильный, бородка обрамляла энергичное лицо со смелыми умными глазами. Он тревожно смотрел на Демидова.

— Ну, что пнем на болоте сидишь? — закричал на него хозяин.— Встать надо! Видишь, барин о тебе разговаривает.

Черепанов встал, угрюмо потупил голову.

— Бери его, не гож мне в хозяйстве. Мечтатель! За две тысячи ассигнациями бери! — деловито сказал Свистунов.

— Семейный? — строго спросил Демидов.

— Холост,— коротко отозвался Ефимка. Он поднял на Демидова потемневшие глаза: — Неужто и впрямь купите?.. Ох, горе! Жаль степи покидать!

— Бери! — бесшабашно махнул рукой Свистунов.— Бери, Демидов, а то передумаю: на борзую поменяю у соседа!

— Покупаю! — решительно сказал Николай Никитич.— Сегодня же отбуду и его заберу. Приготовься на вывод! — строго сказал он Черепанову...

Хозяин и гость повернулись и пешком пошли к дому. За ними в отдалении тихо следовала коляска. Слева в крутых берегах мелькнула река, над ней сельцо, которое Демидов миновал ночью. До чего ж убого выглядело оно при свете дня! Низкие, подслеповатые мазанки, крытые сгнившей соломой, поросшей теперь зеленым мхом. Горькая бедность била в глаза. На улице в песке копались золотушные дети. Все шло к упадку, к истощению. Словно угадав мысли Демидова, Свистунов пожаловался:

— Приказчик — великий плут и хапуга, обкрадывает меня, но поймать не могу. Эх, Демидов, Демидов,— сокрушенно вздохнул помещик,— одна радость и осталась — кони! А там — кончено!

Припадая на правую ногу, он заторопился к господ-

скому дому, зловеще высившемуся над окружавшей бедностью.

С ясного неба прямыми потоками лился золотой свет, и под этим чудесным светом особенно красивым казался дальний лес, могучие дубы на плотине, которые своими осенними пламенеющими листьями будто хотели прикрыть крестьянскую бедность. На солнышке земля лежала черной, жирной — плодоносная земля!

«Отчего же хозяин этой земли проживает последнее? — удивленно думал Демидов.— Видно, не умеет дела вести! Вот откупить эту плодоносную жирную землю, согнать мужиков да пустить по степи конские табуны. Любо! От заводов далеко, а то бы...» Но тут же он отбросил эту алчную мысль.

3

Поздним вечером Демидов отправился дальше. Позади экипажа катилась тележка, а в ней сидел механик Черепанов.

Новый хозяин не сдержался и спросил на привале Ефима:

— Небось хорошо жилось тебе в орловских краях?

— А чего хорошего в нашей крестьянской доле? В одной цене с борзыми ходим. Одинаково светит солнце, да не всех справедливо греет!

В голосе Черепанова прозвучала обида. Лицо стало печальным. Он хотел отмолчаться, но Демидов не давал покоя своими расспросами, и они жгли душу крепостного, как раскаленное железо. Он сидел, опустив голову. О, как тяжело было покидать родные края!

— Ты не вешай головы! — подобрев, успокаивал Демидов.— Известно мне от добрых людей, что руки твои умелые. Видал твоего золотого петушка!

Лицо Ефима просветлело, но голос его прозвучал глубокой горечью:

— Золотой петушок! Эх, господин, руки мои золотые, а доля чугунная!..

Он с тоской оглядел степь. Далеко на востоке вспыхивали зарницы. Бледными молниями они пробегали над синим горизонтом, на мгновенье озаряли вечернее небо и погасали.

Надвигалась ночь, а кругом шли раздольные степи, простор...

— Сколько земли кругом, а человеку тесно! — сказал Ефим, а про себя подумал: «Придет время, вспыхнет и пойдет по земле горячий пал! Сожжет он тогда все лишнее!»

Заря погасла. Из оврагов и низин стала наползать и подступать со всех сторон ночная тьма. Вспыхнули звезды, а на степных озерах загомонили лебединые и гусиные стаи. Где-то у далекого перелеска блеснул и поманил к себе огонек костра. Демидов долго смотрел на него. Костер то сыпал искры, то бледнел.

— Сколько тут непуганых птиц! — прислушиваясь к лебединым кликам, жадно вздохнул он.

— Раньше еще больше было. В рощах тетерева, словно куры в огороде, ходили. Ступишь ногой — петух срывается с березки, ступишь другой — кура бежит. Хочешь — руками лови! — Голос Черепанова прозвучал печально. Эта печаль сливалась с синей ночью, которая опустилась на степь. Манящий огонек стал ярче, золотые искры сыпались в тьму.

— Вот и костер! — обрадовался Демидов.— Гляди, никак цыганский табор!

И в самом деле, впереди забелел шатер, а у огня обозначились озаренные смуглые лица. Тройка неслась быстро, костер все приближался. Вот поднялась высокая лохматая тень: на дорогу вышел цыган с непокрытой курчавой головой.

— Стой! — приказал ямщику Николай Никитич, и бубенцы, рассыпав в степи последнюю звонкую трель, сразу смолкли.

Цыган подошел к тройке, и глаза его вспыхнули.

— Хороши кони, барин! Ай, хороши! — похвалил он.— Милости просим к огоньку!

Что-то знакомое прозвучало в голосе цыгана. Демидов силился вспомнить, где он видел этого коренастого носатого бродягу.

С хриплым лаем собаки бросились к тройке. Цыган, щелкая бичом, отогнал их прочь.

У костра сидели две цыганки и доедали неприхотливый ужин. Одна из них — седая, морщинистая старуха — ела жадно, вторая — молодая, с усталым, но привлекательным лицом,— слепо смотрела на огонь.

И в этой цыганке что-то знакомое почудилось Николаю Никитичу.

— Садись, барин! Прости, дорожного гостя нечем побаловать! — сказал цыган.

Старуха сверкнула недобрыми глазами:

— У него, поди, своего добра хватает, и тебе еще даст!

Молодая подняла голову, и Демидов увидел, что она слепа. Он отвернулся и хотел уйти, но подошли Орелка и Черепанов. Точно сговорившись, оба обрадовались:

— И впрямь, у огня неплохо отвести душу!..

— Садись, садись, желанные! — сказал цыган и подбросил в огонь хворосту. Пламя костра вспыхнуло ярче, красные отблески пробежали по лицам. Вдруг цыган вздрогнул, дрожащим голосом прошептал:

— Мати божия, вот где знакомого человека встретили!

— Данила! — узнал бродягу Демидов, и все сразу вспомнилось ему.— Каким ветром занесло тебя сюда?

Молодая цыганка страдальчески прижала руки к груди, насторожила слух:

— Да кто же это? Скажи еще словечко, добрый человек!

«Неужели это она, Грушенька?» — со страхом подумал Николай Никитич и посмотрел на слепую. Лицо ее, озаренное пламенем, порозовело, и распустившиеся косы легкими прядями развевались на ветерке.

— Что же не скажешь словечко? — огорченно повторила слепая.— Чует мое сердце, что в давние годы знавала я тебя!

— Знавала! — решительно сказал Демидов и подошел к ней.— Грушенька, помнишь поручика Феденьку и его друга?..

— Батюшки! — обрадованно закричал цыган.— Ей-богу, это Демидов! Барин! Милый ты мой, золотой, вот где довелось встретиться! — засуетился он.

— Николенька! — протянула руку цыганка и стала шарить вокруг себя.

Демидов догадался и покорно приблизился к ней. Тонкими, легкими пальцами она, словно дуновение ветерка, прикоснулась к его лицу и руке.

— Все такой же красавец! — улыбаясь, сказала она. В уголках глаз блеснули слезинки.— Пролетело времечко, ушло золотое! Видишь, какая я... стала! Из ревности одна столичная краля очи цыганке выжгла.

Ох, и что я теперь! — Из груди ее вырвался болезненный стон.

— Да ты все такая же! — с жаром вымолвил Демидов и, оборотясь к Орелке, крикнул: — Тащи погребец да ковер сюда! Привел бог встретить в чистом поле свою молодость!

На душе Николая Никитича было и тоскливо за минувшую юность и радостно за поминку о ней. Светлые воспоминания молодости крылом жар-птицы коснулись сердца, и он мечтательно присел у костра. Старуха с ястребиным носом подобрела, отодвинулась подальше.

— Мати святая, и во чистом поле добрые люди встречаются! — Она алчно посмотрела на погребец, который выволок из телеги Орелка.— Вот и сыты будем. Эх, барин, барин, сколько горя, печали и страданий мы перенесли!

— Ну, ты помолчи, старая! — прикрикнул на нее Данила и подбросил в огонь новую охапку хвороста. Над костром взмыло пламя, золотым роем посыпались искры.

— Так ты помнишь меня, Грушенька? — сердечно спросил Николай Никитич.

— Помню и тебя и Феденьку. Нет его! С той поры, как выслали его из Санкт-Петербурга, и слух пропал. Умер, наверное, мой желанный!

Данила хмуро посмотрел на слепую.

— Будет тебе старое вспоминать! Все быльем-травой поросло и не воротится! — сердито сказал он.— Спой лучше барину, он тебе руку позолотит!

— Не надо мне золота! — недовольно отозвалась слепая.— Мне и без него сейчас хорошо... Спою и так!.. А Феденька, знать, умер! — обронила она, опустила голову и задумалась: — Что спеть-то, не знаю?

«Сказать или не сказать о Свистунове? — взволнованный воспоминаниями, подумал Демидов.— Впрочем, к чему травить зажившие раны?»

Грушенька улыбнулась про себя. Данила подал ей гитару, она пробежала пальцами по струнам.

— Сейчас спою для тебя. Извини, что грустное!

Она встряхнула головой, густые пряди волос рассыпались по плечам, и чистый, чудесный голос огласил уснувшую степь:

Плачут все со мной деревья,
Горько слезы льют,
А по небу быстро тучи
Черные плывут...

Синие звезды низко склонились над табором. Старуха махнула рукой и отошла к ковру, который расстилал Орелка. Черепанов не сводил опечаленных глаз с цыганки. Она продолжала жаловаться:

Эх, тоска моя, кручина!
Горькая судьба!
Сердце ноет от печали,
Жизнь мне не люба...

Демидов опустил голову, молчал. Неподалеку в овраге что-то лепетал ручей. Голос цыганки вплетался в тихое журчание струи:

Мне не долго жить осталось,
Смерть моя близка...
Не глядите же, цветики,
В очи вы мои...

Орелка стоял в тени с открытым ртом, боясь пропустить словечко из песни. Когда цыганка кончила петь, он громко вздохнул.

— До чего хороша песня!.. Николай Никитич, пожалуйте, кушать подано-с! — неожиданно закончил он.— Эй, эй, ты куда, ведьма, раньше господина нос суешь! — погнал он старую цыганку от ковра.

Стояла пора звездопада, то и дело золотинки срывались и катились к темному степному окоему. Ласковая теплая ночь, печальная песня цыганки растрогали Демидова.

— Садись все к моему хлебу-соли! Орелка, вскрой вино!

Легкий гомон поднялся над табором. В шатре закричал ребенок. Груша поднялась и принесла завернутое в пестрое тряпье дитя.

— Вот сынок мой! — с необычайной теплотой сказала она и, легко покачиваясь, стала его убаюкивать. На лице слепой блуждала светлая улыбка. Она руками скользила по лицу ребенка, который таращил веселые глаза на раскаленные угольки костра...

Хмель слегка туманил голову Николаю Никитичу. Он положил руку на плечо Данилы.

— А ну, цыган, скажи по совести, какими судьбами тебя забросило на Орловщину?

— Долю свою ищу, барин!

Молчавший Черепанов вдруг обронил:

— Пустым занимаешься, человек! Судьба сама найдет смерда. Что за доля у бедняка? Куда от нее уйдешь?

Демидов хотел прикрикнуть на холопа, но цыган усмехнулся и поддержал крепостного:

— Не обижайся, барин, на правду. Верно говорят люди: правда глаза режет. Но твой человек истину молвил. Слушай, барин, расскажу я тебе одну присказку, куда девалась цыганская доля...

— Рассказывай! — милостиво согласился Николай Никитич.

Цыган выпил чару, крякнул от удовольствия, утер бороду.

— Хорошее вино! Давно не пил такого... Слушайте, добрые люди! — обратился он ко всем и спокойным голосом повел сказ:

— Однажды бедный цыган ловил в озере рыбу, а вместо рыбки вытащил сеткой каменючку. А она так золотом и горит.

Вернулся цыган с добычей в свой табор и говорит женке:

«Рыбы черт ма, одну каменючку вытянул!»

Баба и отвечает ему, не злобясь:

«Хвала богу, и каменючка к счастью. Пусть нам будет свитлом в шатре!»

Так и сотворили. Днем ее рядном закрывали, а ночью она светила вместо огня. Горит каменючка, как светел месяц.

Случись такое, мимо цыганского шатра проезжал царь, и диву он дался:

«Откуда в бедном цыганском шатре да такой ясный свет?»

Вошел он в шатер, увидел золотую каменючку, и затрясло его от зависти:

«Гей, цыган, продай мне этот камень! Озолочу тебя!»

Женка в слезы:

«Ой, что ты! Ни за что не отдам! От этого нам на целый век светло!»

Царь вынул кошелек с золотыми и бросил цыгану: «Бери!»

«Не возьму я грошей! — отказался цыган.— Каменючка — это мое счастье. Отдам я ее тебе, царь, только тогда, когда бумагу напишешь, а в ней, в той бумаге, укажешь всему царству-государству, чтобы цыган за людей признавали, чтобы их счастье, как эта каменючка, сияло...»

Обозлился царь:

«Ишь ты, чего захотел!»

И приказал сжечь шатер. Царевы прихвостни и рады стараться, сожгли добро бедняка. Насилу цыган успел захватить своих детей да бежать куда очи глядят. Так золотая каменючка и досталась царю! — со вздохом закончил Данила и повел глазом на Демидова.— А это, скажу тебе, барин, самый драгоценный камень был во всем свете... С той поры, батюшка, все цыгане на царя в большой обиде за то, что украл царь у них цыганскую долю...

— Вот тебе и доля! — шумно вздохнул Ефим.— Не только у цыган ее украли, но и русского холопа обошли!..

— Ну, ты, уходи отсюда! — злобно прикрикнул Орелка на механика.— Тебя, как доброго, барин за один кусок посадил, а ты что понес! Иди, иди к своему месту.

Данила сердито покосился на Орелку, поднял голову и вдруг как ни в чем не бывало задумчиво вымолвил:

— Гляди, вон еще звездочка сорвалась и покатилась к оврагу. Знать, чья-то душенька уснула на земле...

Костер угасал. Из-за кургана поднимался запоздалый багряный месяц. Демидов потянулся, зевнул:

— Спать пора!.. А неправда твоя, Данила. Никто долю у человека не отбирал. Всяк кузнец своего счастья.

— Не знаю, батюшка,— тихо отозвался цыган.— Каждый по-своему судит... Пошли бы в шатер, прилегли!..

Николай Никитич поморщился:

— Благодарствую! Я тут, под звездами, полежу, а в шатре у тебя, поди, блох много!..

Груша промолчала, тихо встала и с ребенком на руках пошла к пологу.

В небе катился месяц. Облака плыли под звездами, то и дело закрывали его. Набежал ветерок, вздул по-

следние искорки костра, и над степью потянуло сизым дымком. Все постепенно разошлись и затихли на своих местах.

На холодной росистой заре проснулся Николай Никитич и приказал закладывать коней. Цыганки еще спали. Из шатра вышел Данила, поклонился Демидову:

— Счастливо, батюшка, в путь-дорогу!

Перекликнулись погремки-бубенчики, и тройка рванулась с места. За ней покатилась и тележка Черепанова. Все минувшее сразу отошло назад.

Разгорался погожий денек отходившей осени. Легко дышалось, но грустно было в степи и во встречных перелесках. Земля, покидаемая солнцем, казалось, тихо сгорала в золотисто-багряном пламени вечерних и утренних зорь.

Кони резво вынесли путников в придорожный лес. Торжественный и безмолвный, как сияющий храм, стоял он, залитый красными и золотыми огнями осени. В воздухе обильно разливался тонкий запах увядающей жизни. Копыта глухо били по мягким пуховикам опавших листьев, пестрых и роскошных, как драгоценный персидский ковер. Гулко и четко раздавались звуки в опустевшем лесу. Впереди заунывно зазвенел почтовый колокольчик. Навстречу медленно выкатилась повозка. Через минуту она поравнялась с тройкой Демидова. Николай Никитич успел заглянуть в повозку, запряженную тощими лошадьми. В глубине ее сидел, понурив голову, измученный человек, скованный кандалами. Справа и слева его оберегали солдаты. Скупое осеннее солнце блеснуло на синеватых лезвиях штыков.

Демидов приказал придержать лошадей.

— Кого везете? — окликнул он конвойных.

— По указу его императорского величества государя Павла Петровича везем в Сибирь разжалованного полковника. Фрунт порушил...

Арестант поднял глаза, хотел что-то сказать, но Демидов закричал ямщику:

— Гони, холоп!

Навстречу из-за черных дубов выбежала толпа беленьких стройных березок, а за ними показалась крошечная избушка лесника. Сквозь золотые узоры листвы поднималась голубенькая струйка дыма...

«Прощай, Орловщина! Прощай, родимый край!» — горько подумал Черепанов и в последний раз поглядел туда, где в широкой просеке леса все еще желтела степь да высоко в синем небе поднимался древний курган.

Глава четвертая

1

Бесконечные, тяжелые дороги шли на Урал. Много рек пересекли путники, много бродов проехали, дремучих лесов миновали, городов позади себя оставили, а еще больше деревень и сел,— и все Русь, одни порядки в ней, и одна дума щемит сердце Черепанова.

Далека-далека путь-дорога на Каменный Пояс, а горе-беда рядом с Ефимом шагает: стоном стонет вся крепостная Россия от насилий и ярма барского.

В Казани Демидов задержался: проверял амбары с железной кладью. Черепанов однажды зашел в царский кабак и встретил там горемыку: за грязным тесовым столом сидел русоголовый парень и пил горькую. Перед детиной лежала старая скрипка. Ефим подсел к столу, перекусил и спросил парня:

— Откуда у тебя скрипица, милый человек?

В обращении Черепанова горемыка уловил, что тот любит инструменты, интересуется ими. Он доверчиво посмотрел на Ефима и, в свою очередь, спросил его:

— Дворовый?

— Крепостной мастеровой! — отозвался Черепанов и, бережно взяв скрипку, осмотрел и осторожно тронул струны. Чистые певучие звуки защемили сердце. Инструмент выглядел стареньким, затертым, а подал глубокий, волнующий голос. Орловец удивленно уставился на парня.

— Отколь у тебя такая звучная скрипка?

— Не продажная, а дареная,— любовным взглядом обласкал парень инструмент.— По тайности отдала одна крепостная женка. Скрипица эта наиграна одним умельцем. Нет его ноне на земле, истребили лиходеи наши! Талант великий бог ему дал, да барам сей талант не по нутру пришелся. Говорила-пела под его рукой сия скрипица о злосчастном народном горе. Слышишь, мастеровой?

— Слышу! Но только скажи, кто сей талант был?

— Андрейка Воробышкин, демидовский крепостной! Вот кто! Слышал?

— Не довелось слышать о нем! — признался Ефим.

— Жаль! Замучили человека в остроге за нашу правду! — упавшим голосом сказал парень.— Его-то загубили, а песня вольная в сей скрипице осталась. Ее не посадишь за железные решетки, не скуешь кандальем, и топор палача бессилен перед ней! Великий талант, братец, был!

Черепанов грустно опустил голову.

— Да, не одного Демидовы сгубили, не один талант себе на потребу приспособили! — в раздумье сказал он.— Но верное слово сказал ты, парень: бессмертно человеческое слово о воле и доброй жизни! Гляди, что творится: нет Андрейки Воробышкина, а песня его поется, ее слушает народ! Выходит, жив сей талант в сердце простолюдина и будит его к лучшей доле!

— Истинно так! — согласился горемыка.

— Сыграй, мил друг, от сердца добрую песню! — попросил орловец.

Парень охотно послушался Черепанова. Он поднялся, стал посреди кабака, бережно приложил к подбородку скрипку, повел грустными глазами и заиграл. И так печально заиграл скрипач, что даже у толстого бородатого целовальника обмякло лицо, а у Ефима из хмурых глаз выкатилась непрошеная слеза.

Он вздохнул, утер украдкой соленую слезу и попросил парня:

— Погоди, не играй про горе! Сыграй-ка про радость, горя у нас и так разливанное море!

Скрипач уныло покачал головой, осторожно положил скрипку на стол и потянулся к штофу. Его серые глаза потемнели. Одним духом он осушил кружку хмельного и тяжело опустил голову. В кабаке стихло. Среди томящей тишины Черепанов заметил: у парня от беззвучных слез подергивались плечи.

— Хмель плачет! — подмигнул Ефиму хитроглазый целовальник.

— Врешь! — мгновенно вскочил музыкант, и глаза его вспыхнули гневом.— Врешь, супостат! Барин мою невесту на кобеля обменял! Так радоваться теперь прикажешь?

Орловец сердито посмотрел на кабатчика:

— Вот оно что робится: человека на собаку сменял! Ох, злыдень!

— А ты не горячись, мужик! — перебил орловца целовальник.— Кобель ведь не простой был, барский, благородных кровей! И запомни, милый: вскормила сего кобелька своей грудью былая барская полюбовница. Ох, и раскрасавица, скажу!..

— Молчи, нетопырь, не разжигай кровь! — возмущенно выкрикнул скрипач.— Молвишь еще слово, задушу!

— Ну-ну, ты! Мало, видать, барских плетей испробовал! — зло огрызнулся целовальник.— Пей да уходи отсель!

— Стой, леший! Пошто ты насмехаешься над человеческим горем? — поднялся из-за стола Ефим. Сердце его горело ненавистью к сытому самодовольному кабатчику. Он насупился и пригрозил ему:

— Не трожь парня! Не то вступлюсь — худо будет!

Целовальник злобно взглянул на коренастого, сильного Черепанова и присмирел.

— Эх-х, горе-то какое у человека, а помочь и нечем! — тяжко вздохнул орловец.— Уходи отсюда, парень! Не хмельное зелье избытчик твоего злосчастья. Слушай, присоветую: бери скрипку, иди по селам да деревенькам, по путям-дорогам и расскажи песней, как горько живется русскому человеку на своей земле!

Он взял шапку и поскорее выбрался из кабака. Подальше от подлых и лютых глаз целовальника.

Сидя в тележке, которая катилась за барским экипажем, Черепанов старался уйти от лихой беды. Казань давно осталась позади, а горе-несчастье следом за Ефимом тащилось. В Заволжье подули холодные сибирские ветры, они поднимали палый золотой лист и гнали его над холмами, над зелеными еловыми понизями, над прозрачными стылыми озерами и забытыми деревеньками, которые притаились в укромных уголках. Не пролетали больше в небесной выси крикливые журавлиные стаи, тянулись с севера серые лохматые тучи, и оттого осенние дни стояли сумрачные и безмолвные.

— Ушло летечко, улетела золотая пора! — вздохнул Черепанов.

Из хмурой тучи просыпался снежок, замелькали белые перышки, и сквозь редкое нежное кружево показа-

лись дроги, а на них сосновый гроб. Позади понуро шли мужики и бабы. Черепанов придержал коня, снял шапку и перекрестился.

— От недуга или от старости работяга преставился? — спросил он у шедшего сторонкой старика.

Дедка уныло поглядел в лицо орловца, опасливо оглянулся на демидовский экипаж и пожаловался:

— Куда тут! И не от недуга и не от старости помер работничек, а свой барин засек!

Среди снежной мути проплыли мимо дроги с гробом, а за ним проплелись сутулые мужики.

Сердце Черепанова затосковало.

«Эх, горе большое повисло над родной землей!» — с тоской подумал он.

И снова пошли малым обозом на Урал-Камень. Потянулась сейчас старая сибирская гулевая дорога. И выглядит-то она просто: прямая, кучки серых камней по обочинам и голые с поникшими ветвями березки. А по сторонам — то дремучие боры, то чахлые осинники, то мочажины, болотины, то речушка, то лесистая горка и серые полуразрушенные нищие деревушки.

«Эх ты, дороженька, страшная, сибирская, сиротская, кандальная дороженька! — подумал Ефим.— Сколько на тебе слез пролито, сколько звона ты кандального слышала! Не оттого ли нахмурился и молчит кругом лес?»

И словно на думку, впереди послышался кандальный звон. Обозик нагнал каторжных. Измученные, оборванные люди с голодными глазами, со впавшими щеками, обросшие, шли устало в ногу, в трудный шаг бряцали кандалами. С боков шли конвойные, а впереди на сытом коне ехал унтер с саблей наголо.

«В Сибирь гонят, в рудники упрячут!» — горько подумал Черепанов.

Молодой кандальник, завидя печального бородатого орловца, крикнул ему:

— Эй, милый, айда, шагай с нами! Не вешай носа! Россия — страна казенная, и мыслить в ней запрещено!

Ефим не отозвался, сжал вожжи, хлестнул ими по коню и обогнал ватажку каторжных. Навстречу из-за снежной завесы выбегали полосатые версты, за ними показывались деревеньки да изредка одинокие кресты на перепутьях. Черепанов снимал шапку и крестился:

«Чья душенька упокоилась тут навек? Каторжного, крепостного или просто неугомонного человека? Ишь ты! «Шагай с нами!» А того не ведает, несчастный, что и я шагаю на демидовскую каторгу! Недалеко убежала моя доля от твоей, горький пересмешник!»

Так в тележке следом за барином и проехал Черепанов через всю Россию, пересек реки и леса, и в одно зимнее утро перед ним встали высокие темные Уральские горы.

Чем дальше и дальше на восток, тем ближе становились увалы, покрытые хмурым хвойным лесом. В глубоких снегах утопали встречные деревеньки. Злее становился порывистый ветер.

Ефим с удивлением разглядывал скалистые горы, вставшие на пути. До самого неба поднял главу хмурый шихан. Вершина его дымилась пургой. Медленно извиваясь, обоз втягивался в дремучие ущелья. Морозами и ветрами встречал пришельца суровый край!

Глядя на величественную панораму оснеженных гор, мастерко снял шапку и повеселевшим голосом вымолвил:

— Ну, здравствуй, Урал-батюшка! Принимай работничка!

Из-за серых взлохмаченных туч неожиданно брызнуло зимнее солнце и засияло на поголубевших снегах. Старый Каменный Пояс одарил орловца скупой, но милостивой улыбкой.

2

Со щемящей тоской и любопытством оглядывался орловский мастерко на новом месте. На другой день его вызвали в заводскую контору, к управителю Александру Акинфиевичу Любимову. Тот внимательно оглядел купленного на Орловщине крепостного. Коренаст, крепок, зубы целы, курчавая бородка — не израсходован, в силе работяга.

— Пьешь хмельное? — деловито спросил управитель.

Ефим отрицательно покачал головой.

— И без хмельного от дум голова кружится, а горе и сивухой не зальешь! — ответил он степенно.

Голос у мастерка оказался сочный, грудной. Говорил он медленно, солидно, и эта степенность понравилась Любимову.

— Сказывал Николай Никитич, что золотые руки у тебя, да к делу не применишь свое умельство. Петушков да забавы, говорит, ладил! Тут, заметь это, блажь сию из головы выкинь и займись делом! Хозяина и ближних слуг его уважай, чти, работай на полный размах! Понял?

— Как не понять,— отозвался Черепанов.

— Грамотен?

— Разумею,— тихо сказал Ефим.

Управитель удивился:

— Прост мужичонка, а грамоте учен. Диво! Кто обучал?

— Сам добился да дьячок помог.

— Разумно! — похвалил Любимов.— Садись вот сюда да расписочку подмахни,— показал он на бумагу.

Черепанов присел к столу, взял грамотку и зачитал. По ней значилось, что дает он клятву и, в обеспечение от потерь, сию роспись — от хозяина не бегать, работать рачительно, а буде кто выкупить пожелает, стоит ныне его холопья душа пять тысяч рублей!

— Да барин всего две тысячи ассигнациями уплатил за меня! — сказал мастерко.

Любимов положил на грамотку широкую ладонь, разгладил. На руке управителя блеснул перстень-хризолит. Он поморщился и сказал Черепанову:

— Не груби! Стоил ты две тыщи, а ноне пять! Разумей: господин Свистунов не знает кошта крепостных; а попал к Демидову — возвысился в цене. Помни, у нас так: демидовское превыше всего! Вот как!

Ефим расписался в грамотке.

— Ну вот, умно поступил,— облегченно вздохнул управитель.— Теперь не побежишь. Утеклецов у нас на цепь сажают. Это помни! Но, вижу, человек ты разумный, почтительный и сам разумеешь, что к чему. А теперь приказчик укажет тебе, где обретаться. Каждая душа должна знать свое место. Эй, Шептунов! — закричал он.

На зов мигом появился толсторожий, черный, как жук, приказчик.

— Поди укажи, где мастерку жить! — кивнул он на Черепанова.

Шептунов отвел Ефима в избушку слепца-нищеброда Уралки и сказал:

— Тут и жить будешь. А умрет старик — владей хоромами!

Уралко нисколько не обиделся на приказчика за такие речи. Жильца он принял приветливо; при Шептунове старик держался замкнуто, молчаливо, а когда тот ушел, забалагурил по старой привычке:

— Шептун-клеветун! Тихо да мягко стелет, а жестко спать! Не верь сему пролазе: в душу влезет, а за грош предаст. Мое дело — что? Отробился, пора и на погост. Людям становлюсь в тягость. Эх-ха-ха!..

Он улыбнулся орловцу, посетовал:

— Укатали сивку крутые горки! Молод бывал — на крыльях летал, с неба звезды хватал, а ноне горшка с полки не достану! При старости две радости: горб да кила!

Несмотря на жалобы, старик был сух, прям и подвижен. Слабый телом, слепой, он не сдавался, хорохорился. Прислушиваясь к словам Ефима, Уралко утешал:

— Поглядишь кругом, страхов много, а смерть одна! Ты, мил друг, помни: счастью не верь, слепо оно, беды не пугайся, на ласку барскую не сдавайся! Не робей, воробей, дерись с вороной!

В одних холщовых штанах и рубашке да в стареньком полушубке, старик, однако, держался опрятно. Он не тяготился своей нищетой.

— Я что! Разве беден? Один житель, одна забота! А вот рядом — вдова Кондратьевна: сама хвора, ребят трое, а кормильцу только что минуло двенадцать. Вот она бедна, ох, и бедна!

Черепанов бросил на лавку кафтан, укладку поставил у стены. Тусклый свет проникал в мутное слюдяное окно.

— Тяжело мне, дедушка,— сдержанно признался он.— Места здесь гиблые, леса дремучие, горы неисхоженные. Небо да скалы!

— Ну, это ты напрасно, душа-человек. Я тут-ка родился, тут-ка изробился, горы эти да камень пóтом своим соленым промочил. Родимый край! Слов нет, суров, хмур, а вглядись в леса, в скалы, в небушко — непременно полюбишь! Гора Высокая, а люди кругом малые, и гляди, что творят!

Слепец надел шапку и поманил за собою мастерка. Распахнул дверь, вышли на двор.

— Гляди, что робится, зрячий человек! Все тут увидишь!

Перед Черепановым открылась невеликая горка. Никак нельзя было понять, почему люди назвали ее Высокой. У подошвы ее раскинулся обширный пруд, а кругом, как стадо, разбрелись избы, хатенки, амбарушки. Это рабочая стройка. И на каждом конце свои люди, свои обычаи. Тут и бобыли, и пришлые люди, и ссыльные с Гулящих гор, и опальные, и волжская вольница, и беглые староверы-поморы, и тульские оружейники, и пленные обрусевшие шведы, и «переведенцы» из российских губерний — кого только нет! Вот Ключи — самый старый конец, строен при закладке завода. Строили кержаки — сильные, выносливые, трезвые люди. Они первые ломали руду на горе, сжигали уголь в куренях, возили руду на двуколках,— глубоко эти людишки пустили корни. Срослись с краем!

Они срубили когда-то избы из смолистого крепкого леса, теперь толстые, в обхват, бревна почернели от непогод и хмури.

На север от Ключей по речке Вые укоренились туляки — наипервейшие обитатели демидовских владений. Это заводские люди: под домной, у горна и молота они! Из них и мастера, и надзиратели, а некоторые и писчики.

А на полудень от Высокой — Гальянка, самая молодая и самая пестрая часть Тагила. В ней проживают переведенцы: и украинцы, и вятичи, и рязанцы. Демидовы скупали крепостных у российских помещиков и переводили на Урал. Эти на хозяйских промыслах маялись: золото мыли, от них и поговорка пошла: «Золото моем — голосом воем!»

Вот он, край-сторонушка! Надо всем хозяином — белоснежный господский дом с колоннами. Рядом — заводская контора, а под ней тюрьма. Решетки из толстого железа, кругом камень, попал в это жило — не скоро выберешься!

Ефим загляделся на Высокую. Вот она, рукой подать! На южном скате все разворошено, вспорота земная грудь,— тут и идет рудная добыча. Под открытым сизым небом в разрезах, как муравейник, копошился народ. Рудокопщики-горщики кайлами, ломами, железными клиньями выламывали руду из недр. Потные, грязные, под скупым сибирским солнышком, они на

полный мах ударяли в породу, из-под кайлы сыпались искры. Добрую руду — магнитный железняк — рудокопщики вынимали, а бедную, с пустой породой, валили в отвал...

По разрезам горы петлят узкие дорожки, а по ним вверх-вниз снуют тележки-двуколки: гонщики грузят добытое и отвозят к штабелям. А гонщики — бабы, девки, подростки.

Вся гора гудит, полна гомона, от темна до темна тут кипит работа. Поблизости возвышается окутанная дымом домна. От завода гул плывет, железо грохочет, лязг, а под плотиной вода ревет. Все кругом полно кипучей неизбывной жизнью.

Черепанов вздохнул.

«Тяжело здесь человеку жить, но это край, где можно помериться силой!» – подумал он и сказал деду:

— Горы, да камень, да лес кругом! А человек все переборет!

— Свое возьмет! — охотно согласился Уралко.— Скажу тебе по совести, сынок, что я? Слепец, отробился, пустая порода, в отвал бросай. Но, по душевности признаться, не зря век прожил!

Старик помолчал с минуту, улыбнулся своим тайным думам:

— Вот глядишь на меня и думаешь: век бился, из-за хлебушка работал. Но, по совести сказать, не из-за куска хлеба, не из-за этой порточной рвани я старался. Была такая думка, и она поднимала меня над землей: ведь не только на барина я робил! Это верно, он, как вошь, пристал к нашему телу и кровь сосет! Ох-х! — Уралко тяжко вздохнул и продолжал: — Да нет, чую, душа твоя чистая; такой человек не заушник, не шпынь, барским собакам на растерзание не даст старого человека! — вымолвил он с большой теплотой.— Так вот скажу: еще робим мы на всю нашу землю. Вот лил я пушки, знал, что из тех пушек били супостатов. Выходит, на родную землю робил! Край тут суровый, глухой, необжитый, чащи да зверье кругом,— это верно! Но помни, сынок, край этот наш, русский. Кто же его обогреет, взрастит, как не мы, работнички! Барина-то, захребетника, когда-нибудь сгонят Были грозы и опять придут! Емельянушка жив в народе, жив!..

Они вернулись в избу Черепанов уселся на скамью

и внимательно слушал слепца. Слаб, хвор, а духом силен, могуч! Ноги в гробу, а верит в будущее. Словно угадывая мысли мастера, Уралко сказал:

— Вот ты по Орловщине затосковал. Родина! А то разумей, добрый и умный мой: родина наша велика, от края до края она размахнулась, как светлый солнечный день! И много лесов, озер, рек и гор землепроходцы добыли нашей державе, но то помни: везде земля становится родной и дорогой, где русский человек обильно пролил свой пот и великим, упорным трудом возвеличил ее, матушку!

Черепанов схватил руку старика и благодарно пожал ее:

— Доброе слово молвил, дед! Где такое добыл?

— В душе! Долго думал, немало мыслей перебродило, много горя изведал, но как пустую породу откинул, а все ж таки добыл камушек-самоцвет. Нетленный самоцвет!

Они долго вели беседу. Давно Уралко не говорил всласть, а теперь все душевное выложил. Ефим сидел, не шелохнувшись, и слушал. Это полюбилось слепцу.

— Не обижайся, сынок, дай огляжу тебя! — сказал Уралко.

Не успел Черепанов опомниться, как дед подошел к нему, и сухие тонкие пальцы быстро, неуловимо забегали по лицу Ефима.

— Вижу, приятен ты. Дай тебе господь удачи в большом деле! Не гнись, но и не ломись впустую! Один у нас враг — бары. Они-то и сделали труд великим проклятьем, а думка народная — сробить его вольным и радостным. Надо так, чтобы работалось, как песня пелась!

Он поник головой и задумался.

3

Ефима Черепанова за его смышленость в механике назначили плотинным мастером. Многие переведенцы позавидовали ему, но сам орловец глубоко задумался. Плотинное дело — не простое, умное, и при нем всегда держись настороже. Вода — самая главная сила завода. Она вращает колеса, которые действуют через передачу на воздуходувные мехи и таким образом подают в домну воздух. А для плавки руды нужно много, ох,

как много воздуха! Немало воды требовалось и на молотовых фабриках.

Ефим много раз обошел плотину на заводе, приглядывался. Ему и на Орловщине доводилось самому строить на речушках плотины да меленки. Стало быть, дело знакомое. Но в Нижнем Тагиле не тот размах.

«А вдруг не справлюсь? Засекут, окаянцы!» — с опасением подумал новый плотинный.

Подле горы Высокой реку Тагилку в давние годы перегородили плотиной. Быстрая вода, забранная в земляные насыпи, разлилась на десятки верст и образовала огромный пруд, воды которого поблескивали-переливались на солнце.

В плотине сделаны два прохода для воды: вешняк — через него пропускают в паводки излишнюю воду, и ларь из сосновых тесин — по нему бежит-торопится вода, падая на колеса воздуходувок.

На плотине все сделано прочно, навек! Плотина — в сотню сажен, ширина наверху восемнадцать сажен, а внизу с отсыпью вдвое больше. Дубовые плотинные затворы поднимаются ухватом, скованным из железа. Только двадцать работных могут поднять этот ухват! Мощна и крепка плотина, но за ней все время нужен глаз: вода коварна и сильнее сооружения.

Черепанов должен был не только наблюдать за сохранностью плотины, но и следить за работой водяных колес, крепких, но уже позеленевших от ила и мха. Мастерко выходил на плотину, становился над ларем и долго прислушивался чутким ухом к реву воды. Сильная, неудержимая стихия, зажатая в дубовый ларь, билась, неистовствовала, ревела и, клубясь, в остервенении пенилась и дробилась на мириады сверкающих брызг, сотрясая деревянное устройство. Нужно было регулировать напор водяной струи. Еще тяжелее было обуздывать стихию в паводки. Во время осенних ливней и прохода талых вод пруд разливался до безбрежности, и нужно было тогда выпустить столько воды, чтобы не размыло плотину, не залило завод, построенный ниже плотины, и оставить столько, чтобы ее хватило на год!

Изо дня в день Черепанов развивал в себе особое чутье и глазомер. Он расхаживал по окрестным местам, высматривал долинки, ложки́ и расспрашивал старожилов, как велик бывает снежный завал, как высока в

ручьях и логах талая вода и насколько снижается она в засушливый год.

Всюду плотинному находилось дело. Все сложно, смутно, а инструментов всего — плотничный ватерпас да прави́ло![1] Вот и орудуй! Однако и этим инструментом Ефим многое делал, потому что все его мысли вертелись вокруг того, как бы улучшить работу. Он заставил плотничную артель переставить колеса так, чтобы они вертелись плавно, легко и мерно. Это сразу повлияло на работу домен, ускорило плавку.

Все больше и больше приглядывался Черепанов к механизмам. Вододействующее колесо помещалось в срубе, оно и было движущей силой завода. Отсюда шли коромысла, штанги, они и передавали движение колеса двадцати четырем воздуходувным мехам.

У каждой печи два меха, и оттого дутье всегда получалось беспрерывным. Вот и вся механика!

«Какие ныне приспособления на заводе?» — задавал себе вопрос Черепанов. Перечень их был весьма скуден: ломы, кайлы, молоты, лопаты, носилки, ручные тачки и двухколесные — вот и все орудия при добыче руд!

«Но сие ненадежно и мало облегчает труд человека,— раздумывал плотинный.— А что, если о том рассказать управителю да посоветоваться с ним?»

Спустя несколько дней Черепанов пришел в контору, и управитель терпеливо выслушал его. Плотинный высказывал свои мысли медленно, обстоятельно и удивил Любимова.

«Все уже усмотрел! Ну и штукарь!» — мысленно похвалил он мастера.

— Весьма похвально, что ты до всего доходчив! По всему видать, господин наш Николай Никитич не ошибся в своей покупке. Все надо разуметь при плотинном деле! И то хорошо, что ты пытлив и мысли твои — о механике. Но вот что разумей, мастер...— Голос управителя возвысился до суровых нот.— Всякая выдумка в заводском деле пользительна хозяину только тогда, когда она недорога и, главное, дешевле холопского труда! А что дешевле и проще людского труда? Пока господь бог оберег матушку Россию от выдумок. Но поскольку наш прославленный металл

[1] Прямая доска со стойкой и отвесом.

«Старый соболь» идет в Англию и в другие иноземные страны, непременно предстоит состязание. Надо и нам, выходит, подумать над сими выдумками, но в меру! Хвалю за помыслы! А чтобы знать лучше горное дело, намыслил я тебе дать одну редкостную книжицу. Зачти ее, но береги пуще глаза. Больших денег стоит, и не всякий холоп разумеет в ней, что к чему, а тебе доверяю. Вижу, голова у тебя умная!

К удивлению плотинного, Любимов неожиданно передал ему пухлую книгу в старом кожаном переплете. Черепанов прочел титульный лист: «Обстоятельное наставление рудному делу», сочинение Шлаттера.

— Сия книжица издана в тысяча семьсот шестидесятом году, а перешла ко мне в назидание из Екатеринбургской горной школы. Любопытна!

Черепанов с книжкой за пазухой заторопился домой. Всю ночь у огонька он читал ее вслух. Уралко, свесив голову с печи, внимательно слушал, изредка бросая реплики:

— Все давненько известно! И то мы применяли! Однако любопытно, что в книге о том пишут. Хитер немец, русское перехватил да за свое выдает. Ловок!

Книга Шлаттера представляла обстоятельное описание рудного дела. И, что особенно привлекло внимание плотинного, имелось в ней изображение водоотливной, огнем действующей машины. Черепанов весьма внимательно разглядел чертежи неуклюжей машины и попробовал сам начертить их углем на столовой доске.

— Диковинка! — восхищенно сказал он деду.

— Что за диковинка? Сию паровую диковинку предавно изладил наш русский мастерко, солдатский сын Иван Ползунов! — с нескрываемой гордостью оповестил старик.

— Да где тот умный человек? — с горячностью спросил плотинный.

— Робил этот розмысл[1] на Колывано-Воскресенском заводе шихтмейстером, да помер в тысяча семьсот шестьдесят шестом году от чахотки. Иноземцы перехватили его выдумку, да и хозяева наши решили: «Ни к чему сия машина, раз труд даровой! А диковинка, вишь, хлопот и возни требует!» Так со смертью Ивана и поки-

---

[1] Техник, инженер.

нули ту машину, отробилась и развалилась она! Долго потом, сказывают, на пустыре валялась. Заводские ребятишки, играючи в прятки, в цилиндры укрывались. И место это, где валялись остатки сей машины, в народе и по сю пору называют ползуновским пепелищем.

— Ты, дед, слезай с печи да расскажи мне подробней, как тот русский досужий человек сладил свою машину.

Уралко, кряхтя, слез с печи и подсел к столу.

— Что ж, можно рассказать о сем умельце! — Старик приладился поудобнее и тихим голосом начал свою бывальщину: — В старинушку, Ефим Алексеич, об огне среди горщиков так сказывали: «На гору бежит, а под гору не идет!» То верно было, а вот, поди ж, нашелся человек и сумел огонь заставить под гору бежать! Умелец тот был Иван Иваныч Ползунов, солдатский сын. А рожден он был в городе Катеринбурхе в большой нуждишке, ох, в какой бедности, не приведи бог! В ту пору Василий Никитич Татищев открыл на заводе горную школу, вот и попал в нее наш Иванушка. Выдали ему кафтанишко сукна сермяжного с красными обшлагами, да шубу овчинную, покрытую полотном, да добрую суконную шапку с красным околышем. Носи три года, солдатский сын! Носи и учись! А учился он знатно: и букварь, и часословы, и псалтыри превзошел и грамотен стал. А что на пользу нашему делу, то сей отрок вскорости уразумел: арихметику, действия циркуля и линейки и начертание фигур разных, кои в механике применимы.

Любознателен был Иванко, ой, как любознателен! Рядом со школой сараюшко строен был, а в нем вододействующее колесо, кое орудовало на кузнечную фабрику! Вишь, паренек и повадился бегать в сараюшку да разглядывать, что к чему? Механика — дело умное, учитель и пояснил школьнику: «Что есть механика? Механикой речется наука движения и наука, показующая способы к подниманию тяжестей».

Иванко призадумался, а потом — к учителю и спрашивает:

«А скажи-ка, батюшка, одна вода двигает махины или есть еще сила?»

Учитель на то ответил солдатскому сыну:

«Огонь — сила еще бо́льшая, чем вода, падающая на колесо! Но то разумей, сын мой, что огненные ма-

шины потребуют дров много, хлопотны и дороги несказанно».

Задумался Иван, посиживал часто у печки и глядел на котел. Видит, вода клокочет, накроет его крышкой, и такая сила у пара, что и крышку сдвинет!..

Уралко смолк, прислушался. Трещала лучина в светце, нарушая глубокую тишину.

— Ты чуешь аль спишь? — спросил он Черепанова.

— Под сердцем огнем зажгло от словес твоих, а ты говоришь «спишь»,— обидчиво отозвался плотинный.

— А коли так, дале слухай и что к чему — на ус мотай!

Дед снова мерным, теплым голосом повел свой рассказ:

— Вскорости Иванке Ползунову пришлось покинуть школу и стать на завод «механическим учеником». А начальство ему выпало толковое, умное — заводской механик Никита Бахарев. Многое знал он и обратил заботу Иванки на двигательную машину. «Гляди! — сказал он мальчонке.— Испокон веков на всех заводах, на всем белом свете всё творят руки человека! Есть, правда, и механизмы, но только они там применяются, где требуется великая сила. А главное, механика всегда там ход имеет, где предмет труда испокон веков не обрабатывался рукою человека. Вот оно что! Ну, а уж известно, что́ есть самая большая сила на заводе,— водяное колесо! Хотя вода — сила большая, но завод-то сам крепко из-за нее к плотине привязан. Тут и поглядывай, братец, на небушко, как дождик, как снежок,— известное дело, все от воды зависит!...» Может быть, Бахарев да Иванко надумали бы машину новую, потому пять лет Ползунов при нем «механическим учеником» состоял, но в ту пору в Катеринбурх наехал главный командир Колывано-Воскресенских заводов и отобрал для работенки на Алтае немало горных офицеришек, мастеровых, плавильщиков. А с ними уехал асессор Андрей Порошин, преумный человек и знаток рудного дела. Он и Ванятку Ползунова с собой прихватил...

Затаив дыхание, Черепанов слушал старика, но Уралко вдруг снова смолк. Провел ладонью по высокой лысине, вспоминая прошлое, вздохнул:

— Память-то короткая стала. Всего толком не расскажешь. Только Иванко и на Алтае не оставил своей мысли. Все думал о паре. Видишь, надумал он водяной

двигатель сменить паровой машиной. Шутка ли! Но что́ из этого выходит, пораскинь головой, Ефим Алексеич. Главная суть выпала ему: огонь слугою к машинам склонить, а к этому, решил он, все немудрые машины, срубленные топором из дерева,— в слом, а машина паровая должна быть сроблена из металла! Скоро сказка сказывается, да не легко дело робится. Много болотин да буераков Иванке пришлось одолеть. Все иноземцы высмеивали: не русского ума это дело! Ну, известно, мешали, как могли. Довелось Ползунову и в Санкт-Петербурге побывать. И на счастье, хвала господу, раздобыл он сочинения самого Михайлы Ломоносова. Тут уж начитался всласть и большое уразумел.

Вернулся он в Барнаул и взялся за свой подвиг. Одно дело машину задумать, вычертить, другое — выстроить ее, да в ход пустить, да чтобы люди поверили! Человек только тогда поверит, когда своими глазами увидит да руками пощупает! Вот и он — недоедал, недосыпал и в дождь и в морозы спешил-торопился сладить свою машину. А сладить нелегко: то этого нет, то другого. Только медные цилиндры отлили, а котел пришлось робить в Катеринбурхе! Эвона что! А тут и начальство не в духе: больно много беспокойства и забот причиняет затея шихтмейстера. Ну, скажем прямо, мешает спокойно им жить. Да и сам наш штукарь горел на работенке, стал его донимать сухой кашель,— выходит, здоровьишко пошатнулось!

И вот подошла зима лютая, а в декабре, пожалуйте, машина готова! Тут приступили к пробе, и машина заработала. Пошла, братик ты мой! — веселым голосом заговорил Уралко.— Пошла! Пошла! Взял свое Иванко Ползунов! Хоть потом начались доделки, переделки, не без этого новое дело ладится, но только свое сделал наш механикус! Ну, а дальше!.. Дальше...

Старик развел руками. Замолчал. Безмолвствовал и Ефим. За окном засинело: занимался поздний зимний рассвет. Ефим послюнил пальцы, погасил желтый огонек. В горнице потемнело, но за окном, на фоне синей утренней зари, резче выступили контуры заиндевелых березок.

По начавшемуся за окном движению Уралко догадался, что наступает утро.

— Вот и еще день бредет, а я живу и живу себе! Ох, господи! — тяжело вздохнул он и улыбнулся.— Ты,

Ефим Алексеич, не гляди на мои немощи, добивайся своего. Не для себя человек трудится, а для всего народа!

— Верное слово твое, дед! Трудна моя путь-дорожка, а пойду по ней. В том — верное слово! — отозвался плотинный.— Ну-ка, отец, поспи немного, а я схожу на плотину.

Он надел полушубок, рукавицы и вышел на улицу. Упругий ветер гнал с гор колючую поземку. Спорким шагом мастерко вышел на дорогу и зашагал к заводу. На взлобке он нагнал бабу. Чудеса: женка везла на саночках парня.

— Ты куда? Парень велик, а ты ребячьей забавой его занимаешь! — улыбнулся Черепанов заводской женке.

— Известно куда! К Высокой! — угрюмо отозвалась баба.— Не забава выпала, а горе-злосчастье! Парень велик, а ум у него мал. Изоська, глянь на деньку!

К плотинному повернулось ухмыляющееся лицо идиота.

— Да он юродивый! Зачем его тащишь на горку, матка?

— Кому юродивый, а Демидовым работничек! Все люди на работу, вот и его — на разбор руды!

Ефиму стало не по себе.

«Ну и хозяева, и блажного не пощадили! Скареды!» — с неприязнью подумал он о Николае Никитиче и обратился к женке:

— Ты пусти мальца, он и сам до Высокой добежит.

— Милый ты мой, не знаешь моего Изоську! Под плети угодит. Запорют! По осени беда с ним вышла. Везла я его в саночках, да не довезла и говорю: «Ну, сынок, слезай, теперь добегишь и сам. У меня квашня доходит». Уехала, а он замешкался. Ну, известно, дурак — дурак и есть!.. А замешкался — шибко били розгами. Били и приговаривали: «Не опаздывай! Не опаздывай!» А мне-то, матери, каково! Ох, и горько!..

Баба всхлипнула и заторопилась.

«Вот он, крест тяжелый!» — с тоской посмотрел вслед ей Ефим и, сам не замечая того, пошел по дороге к Высокой.

Навстречу ему неслись двуколки, груженные рудой. Краснощекие девки озорно покрикивали:

— Эй, берегись, пестун, раздавлю!

И в самом деле, они вихрем неслись под гору, взвизгивая, крича, ободряя себя и коней. Возчицы стремились на двуколке обогнать друг друга, и колеса, как по острию ножа, быстро пробегали по кромке разреза. Миг, и все — конь, и всадница, и руда — полетит под откос! Не собрать костей!

«Лихо, но неразумно!» — подумал плотинный и хотел окрикнуть гонщиц, но в эту пору раздался пронзительный крик. Ефим кинулся вперед, и кровь его заледенела при виде страшной беды. Под колеса бешено несущейся двуколки угодил мальчонка, разбиравший руду. Его изломало, искровянило, и он, онемев от боли, сгоряча пополз по дороге.

Из отвалов набежали люди, подняли парнишку:

— Да это сынок Кондратьевны! Эка неудача!

Только и сказали. Молча отнесли несчастного в сторонку и положили, а сами за работу.

— Что же это вы, братцы? — обидчиво окликнул горщиков Ефим.

— Э, все равно пропал парнишка! Кому теперь нужен такой калеченый! По скорости отойдет, не мешай ему в смертный час!

И снова по дорожкам вперегонки ехали гонщицы, будто ничего не случилось. Черепанов поразился:

«Эх, и край: горы каменные, а люди железные!»

Он подошел к мальчугану и заглянул в его бледное, обескровленное лицо. Ребенок открыл страдальческие глаза. Ефим присел рядом.

— Больно? — спросил он, ощупывая ноги и грудь мальчика.

— Ой, как больно, дяденька! Все больно! — тихо прошептал тот.— Только ты уж мамке хоть до вечера не говори о беде. Разревется да убиваться станет. Жалко мне ее! Безбатьковщина. Нынче я и был хозяин...

Он снова закрыл глаза и протяжно застонал.

— Погоди-ка, я тебя до избы донесу! — сказал плотинный, взял маленькое худенькое тельце и легко понес под гору.

Мальчуган был недвижим, только синие губы его еле двигались. Он пытался что-то сказать, но не мог. С белесого неба неслышно падали снежные хлопья. Пухлый мягкий снег ложился на дорогу, на дома, на опущенные густые темные ресницы мальчугана. По до-

роге Ефиму встретились горщики. Они сбросили гречушники и в скорбном молчании заглянули в лицо ребенка:

— Отходит парнишка!

Плотинный донес еще теплое тело до избенки Кондратьевны, распахнул дверь и, пройдя вперед, уложил мальчугана на скамью.

Испитая, с ввалившимися глазами, заводская женка взглянула на сына, судорожно схватилась за грудь и истошно закричала:

— Горюшко мое!.. Митенька, кормилец!..

Она упала перед скамьей на колени и обняла остывающее тело сына...

Черепанов загрустил: похоронили мальчугана, и никто, кроме матери, ни разу его не вспомнил. Ребята попрежнему работали на руднике — отбирали руду, а горщики торопили малолетнюю «золотую роту». Кто и когда придумал такое название ребячьей артели, так и не дознался Ефим.

Уралко пояснил плотинному:

— Ребята сызмальства на выработку бегают — все кусок хлеба! Так и трутся на руднике, приглядываются, как взрослые горщики работают. Из этой золотой роты и буроносы берутся. А работенка буроноса известно какая: туда-сюда, от рудокопа до кузницы, и обратно. В кузницу торопятся снести затупленные буры, а оттуда бегут и несут отточенные. Руда-то крепкая, а железо в бурах нестойкое, забот не оберись, и мальчугану, выходит, хлопот на целый день! Худо ребятишкам, ничего не скажешь!

— Разве можно дите посылать на такую тяжкую работу? Ему учиться в самую пору!

— Что ты, что ты! — замахал руками старик.— Да разве допустит барин мужика до грамоты? Издавна наши малолетки на заводской работе. Мало барину нашей крови, он и свеженькую высосет всю!..

Не знал Черепанов, что еще в давние годы, когда Василий Никитич Татищев набирал ребят в горную школу, Демидов писал в Санкт-Петербург, чтобы «из обывательских детей от 6 до 12 лет в школах обучать только охотников, а в неволю не принуждать, понеже такого возраста многие заводские работы исправляют и при добыче железных и медных руд носят руду на по-

жоги и в прочих легких работах и у мастеров в науке бывают...»

Кабинет министров просьбу Демидова уважил, и с той поры на заводах учить детей стали только желающих. А кто пожелает, если с нежного детского возраста при заводе — все добытчики куска хлеба...

И что удивительнее всего, ученые, побывавшие на демидовских заводах, одобряли применение детского труда. Нижнетагильский завод посетил немецкий географ Гмелин, и он в своей книжке с восторгом написал:

«В проволочной мастерской малолетки от 10 до 15 лет выполняют бо́льшую часть работы, и притом не хуже, чем взрослые. Это одно из похвальных учреждений господина Демидова, что все, кто только сможет работать, приучаются к работе. В Невьянском заводе я видел, как мальчики от семи до восьми лет выделывали чашки из желтой меди и различные сосуды из того же металла. Вознаграждаются они соответственно своей работе...»

Совсем недавно уральские заводы посетил Паллас, и Уралко сам его видел. Литейщику довелось услышать, как ученый говорил Любимову: «Весьма приятно смотреть, что маленькие ребята работают кузнечную работу!» — «А ты, барин, сам попробовал бы, сколько по силе ребятенку эта маята!» — сердито вымолвил литейщик, но управитель прогнал его с глаз ученого, а после работы Уралку отходили плетями «за милую душу», дабы впредь не дерзил при начальстве!

Старик огорченно покачал головой.

– Гляжу, мужик ты совестный, а всю душу мне разбередил. Живем мы тут, глаз наш привык ко всем бедам, будто и надо так! И ты приучайся!.. А то лучше послушай, что я тебе спою по тайности! Мы в лесах да в горах эту песню пели...

Дед откашлялся, лицо его стало торжественным, он важно огладил бороду, и его чистый, все еще сильный голос наполнил избушку Уралко пел:

Сгинет, сгинет бравый парень
Во железной во горе.
На работу гонит барин,
И приказчик на дворе.
Гонит, гонит, подгоняет
От темна и до темна.
Люд работный погибает,
Пухнет барская казна.

Ломит руки, ломит ноги,
Как до дому доберусь?
Ой, вы, царские остроги...
Ох ты, каторжная Русь!..

Горестный звук замер в темном углу хатенки. Старик смолк, а на душе у мастерка все еще ныло и не давало покоя тоскливое чувство.

«Вот отчего тут люди железные! — вдруг ясно представил себе Ефим.— Каторга демидовская всю душу вытравит и жалость изгонит! Оттого тут народ молчаливый, замкнутый, не скоро к нему в сердце вступишь! Эх, Урал, Урал, каменные горы!»

Глава пятая

Демидов пригласил на службу в Нижнетагильский завод профессора Ферри из Парижа. Небольшого роста, упитанный, горбоносый, с толстыми чувственными губами, вертлявый француз оказался большим пронырой. Обряжался он пышно: в зеленый бархатный камзол с тончайшими кружевными манжетами и роскошным жабо; на тонких ножках — шелковые чулки с бантами и сафьяновые башмаки с золотыми пряжками. Внешне французик выглядел незавидно: сутулый, семенил куриными ножками в белых панталонах, с носа то и дело сползали огромные очки,— но держался он самоуверенно и даже нахально, считая себя неотразимым красавцем и первым светским жуиром. О себе он был необыкновенно высокого мнения и прибыл на Урал как великий знаток горного дела. Он обещал ввести на Тагильском заводе много новшеств, за что получал неслыханный оклад — 15 000 рублей в год. За целый год по указке профессора соорудили только копер для разбивания чугунного лома. Мало занимаясь производством, все дни он проводил в барском доме, развлекая скучающую Елизавету Александровну. После перенесенных ею страданий при рождении первенца Демидова боялась смерти; молодой женщине казалось, что жизнь ее все время находится в опасности. Каждый день она открывала в своем организме несуществующие болезни, любила говорить о них, сильно страдая от своей мнительности, и радовалась приходу Ферри,

считая его человеком образованным и всезнающим.

Как-то, приветливо улыбаясь французу, молодая женщина сказала:

— Вы все время добываете разные руды, изучаете их. Это ведь так скучно и неинтересно! Что хорошего в ржавой тяжелой руде? Профессор, отыщите для меня камень мудрецов! Неужели для каждого человека обязательна смерть? Ужасно! — с содроганием повела она хрупкими плечами.

— О нет, моя очаровательная госпожа! Смерть не есть обязательный путешествий! — стараясь казаться пленительным, улыбнулся ей Ферри. Как изворотливый человек, он быстро сообразил: «О, эта мадам боится умереть! Хорошо, из этого я могу извлечь себе большую выгоду».

У него быстро созрел коварный замысел. Ферри прикинулся простачком. Демидова выжидательно смотрела на него. Француз казался ей добродушным, приятным. На его толстых щеках играл густой румянец, пухлые губы полуоткрылись, обнажая крепкие белые зубы. Он лукаво взглянул на Елизавету Александровну, понимая, что ей хочется утешений, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Перед тем как прийти сюда, Ферри выпил большую кружку старого бургундского вина, оно все еще горело в его жилах, бодрило и подмывало на игривые разговоры. Сладко прищурясь на огонек в камине, где весело потрескивали березовые дрова, он заговорил тихо, со страстью, заставлявшей Демидову верить этому болтливому французу:

— Это секрет! Весьма большой секрет, моя добрая госпожа!

Он наклонился ближе к молодой матери и прошептал таинственно:

— Ради всего святого, не говорите Николаю Никитичу, что я... я приватно занимаюсь поиском философского камня. Я ищу, моя госпожа, бессмертие и найду его для вас!

— Ах, это так интересно! Вы — Калиостро! — восторженно вскрикнула Демидова.

— Тсс! — приложил перст к губам Ферри.— Это есть тайна, но я сейчас открою ее вам!

Елизавета Александровна притихла: она искренне верила в существование камня мудрецов. В нежном возрасте, когда хочется верить всему таинственному,

в светских кругах много рассказывали о «графе» Калиостро, который будто бы обладал загадочным талисманом бессмертия. Правда, заезжий маг вскоре был уличен в грубом обмане, и государыня предложила ему немедленно покинуть пределы России. Однако Демидова до сих пор сохраняла в своей душе веру в чудеса, особенно когда их хотелось. В столице совсем недавно так много говорили о философском камне; в Европе его старались добыть ученые, монахи, рыцари и короли. Многие алхимики средних веков отдавали свои лучшие годы, тратили силы, громадные состояния — все, все приносили в жертву своим бесплодным поискам. Неудачи и разочарования не убивали в искателях надежды найти чудесный камень бессмертия. Человек самообольщал себя и продолжал верить до могилы. Так и Елизавета Александровна верила в существование таинственного талисмана. Ферри очень ловко разжигал любопытство молодой женщины.

— Я добыл и привез сюда очень много самых древних манускриптов и сейчас разгадываю их смысл,— приглушенным голосом рассказывал француз.— Многие не находили камня мудрецов потому, что стояли на ложном пути. Они даже не знали, как он выглядит! — Глаза француза лукаво блеснули, и он продолжал с той же страстностью: — Калид — древний алхимик — говорит нам, что этот камень соединяет в себе все цвета: и белый, и красный, и желтый, и голубой, как небо, и зеленый. И заметить нужно, моя госпожа, это не радуга! Одни алхимики говорят, это — опал, а Парацельс говорит нам, что это плотное тело, похожее на темный рубин, прозрачный, гибкий и ломкий, как стекло!

Женщина не сводила восторженного взгляда с собеседника.

— Этот камень, сказывают, диво-дивное! — ласково и нежно сказала она.

— О да, сударыня! Сей философский камень в могуществе превращает неблагородные металлы в сребро и злато! Простые камни-голыши — в жемчуг, в алмазы, в смарагды, в драгоценные камни; чудная игра их света может вскружить голову любой красавице! Сей талисман врачует все болезни. Он награждает своего владельца даром мудрости и всеми благородными добродетелями. Он очищает ум и вырывает из

сердца человеческого пороки! Но самое важное, моя госпожа,— сей камень мудрецов продлевает человеческую жизнь до бесконечности! Тот, кто обладает сим сокровищем, никогда не подвергается ни болезням, ни телесным недостаткам. Ученый Артефий поведал мне по секрету, что, обладая философским камнем, прожил на свете тысячу сто лет! А граф Калиостро, известный вам,— пять тысяч! — Черные большие, навыкате глаза рассказчика искрились весельем. Трудно было догадаться: верит или не верит он сам всему поведанному доверчивой скучающей женщине? Его толстый с горбинкой нос стал красно-сизым. Он снова придвинулся к мраморному камину и протянул зябкие ноги. Приятное тепло ласкало тело.

— Какие чудеса вы рассказываете, сударь! — вспыхнув, оживилась Демидова.— Господи, да сделаете ли вы что-нибудь подобное здесь! Ах, скорее поведайте, что нужно для этого?

— Моя прекрасная госпожа, увы, чудес не бывает на свете! — разводя руками, вкрадчиво сказал Ферри.— Человеку дано многое познать. И вот я познаю́... Это весьма затруднительно, сударыня. Как разнообразен вид таинственного камня, так разноречивы и средства поисков, кои указывали мудрецы древности. Так, Гортуланий учит, что надлежит двенадцать дней бродить соку пролески, багрянки и листвичной травы. И когда разведут этот сок, получится красная жидкость, кою нужно опять зарыть в удобрения. Пройдет, госпожа, несколько дней, и тогда из нее родятся черви. Сии черви пожрут друг друга, кроме одного. Избранного живца надо взять и кормить сказанными растениями до той поры, пока он изрядно растолстеет. Тогда его до́лжно сжечь, и полученный от сожжения порошок смешать с купоросным маслом, и далее... Ах, нет, нет! Не скажу больше! Это пока секрет! — Француз улыбнулся, но не сдержал переполнявшего его восторга и вдруг некстати захохотал. Он смеялся с таким усердием, что его слышали в отдаленных углах покоев.

— Вы смеетесь надо мною, господин Ферри! — разочарованно воскликнула Демидова и обиженно поднялась.

— Нисколько! Я веселюсь потому, что скоро обрадую мою госпожу! — с невозмутимым видом ответил француз.

Демидова, стиснув тонкие пальцы, отошла к окну. Яркий солнечный луч ворвался в окно, озарил стекла и заиграл на белокурых локонах женщины, обливая их золотым сплавом. Высокая тонкая фигурка ее, стоявшая спиной к амбразуре окна, резко и отчетливо обрисовалась на светлом фоне солнечного сияния. Длинное голубое платье было высоко подхвачено шелковым атласным поясом, отчего фигурка казалась еще выше и прелестнее. Из-под темных густых ресниц на Ферри смотрели большие синие глаза. На ее слегка бледноватом лице выражались и любопытство и негодование. Он воровски оглянулся на дверь и упал перед ней на колени:

— О моя госпожа, я никогда не лгу перед вами, я раздобуду вам камень мудрецов!

Весьма некстати скрипнула дверь и вошел Демидов. Завидя коленопреклоненного француза, он ухмыльнулся:

— Что это значит?

— Ах, Николенька, это... Ах, господин Ферри обещал! Да, да, обещал! — смущенно потупясь, заговорила Елизавета Александровна.— Он скоро, весьма скоро отыщет камень... мудрости...

— Вот оно что! Понимаю! — насмешливо сказал Николай Никитич.— Оттого ученый и ползает на полу, отыскивает его, что ли?

Француз быстро поднялся и, делая вид, что не замечает недовольства заводчика, нагло посмотрел ему в глаза.

— Да, это очень возможно. Весьма вероятно! — с важностью поднял он указательный палец.

Демидов сердито пожал плечами. Сдвинув черные брови, он отрезал:

— Господин профессор, я жду от вас решительных переустройств по заводу. Что же касается камня мудрости, то сомневаюсь в сем предприятии...

Он энергичными шагами прошелся по комнате, о чем-то раздумывая. Ферри настороженно следил за всеми его движениями, еще полными молодости и силы. Французик хотя и не показывал виду, но изрядно трусил перед заводчиком, боясь, как бы вспыльчивый и невоздержный уральский магнат не схватил его за шиворот и не вытряхнул за порог

Но Демидов подошел к жене, ласково взял ее маленькую белую руку и нежно поцеловал в ладонь.

— А не пора ли нам, милая, обедать? И вас прошу, господин профессор!

Голос хозяина прозвучал ровно, сдержанно, и у Ферри сразу отлегло от сердца.

Сытый, самодовольный, профессор Ферри возвратился на квартиру, когда приставленная к нему для услуг крепостная девка сообщила:

— Тут-ка вас, барин, давно поджидает наш плотинный Ефимка Черепанов!

Француз недовольно поморщился.

— Что ж, раз здесь, пусть войдет. Только ты ему предлагай дальше порога не ходить! — сказал он служанке.

— Уж как полагается! — откликнулась девка, блеснула босыми пятками и скрылась за дверью.

— Иди, иди, явился наш иноземец! Ноги-то оботри, да дальше притолоки не ходи! — послышался в прихожей женский голос, и в комнату, тяжело ступая, вошел мастерко. Учтиво, с достоинством, он поклонился иностранцу.

Француз напыжился, как индюк. С большой важностью он сидел в глубоком кресле, в руке его дымилась драгоценная фарфоровая трубка. Запах ароматного табака пронесся по комнате. Ферри и глазом не повел при виде плотинного. Ефим неторопливо вытащил из-за пазухи кафтана книгу, извлек из нее вычерченные карандашом эскизы и, осторожно ступая на носках, прошел к столу. Бережно развернул он перед французом свои труды. Глаза плотинного налились теплом, надеждой. Он выжидательно, с улыбкой поглядывал на хозяина:

— Полюбуйтесь, господин! Я, кажется, кое-что сробил!

Ферри пососал черешневый чубук, пустил клубы синего дыма и, не поворачивая головы к чертежам, усмехнулся:

— Что это?

— Посмотрите сами, господин! Чертеж пародействующей машины. Додумался-таки! — с заметным волнением промолвил мастерко, и ясная, приятная улыбка осветила его лицо. Большими ладонями, на которых желтели плотные мозоли, плотинный любовно разгладил бумагу.

— Ха-ха-ха! — вдруг дико и язвительно захохотал француз.— Постой, постой! Что значит «додумался»? Мне кажется, что ты весьма передумался! — Глаза Ферри насмешливо блеснули.— Эта машина давно известна в нашей Франции, а также в Англии. Твоя выходка очень уморительна!

— Никак нет! Чужого не присваивал, то не в характере нашем! — нахмурился Ефим и с большой твердостью поведал: — Эта машина еще до того сроблена русским механикусом Иваном Ползуновым!

— Ползунов! Ползунов! — в раздумье повторил Ферри и надменно оповестил: — Такого человека наука не знает. Ты просто выдумал его! Да и к чему при горе Высокой машина! — Он пососал трубочку и, захлебываясь дымом, угрюмо проворчал: — Прошу оставить меня в покое. Уходи отсюда!

Ефим замер; не трогаясь с места, он с возмущением смотрел на француза, а тот удобнее устроился в кресле и не хотел даже взглянуть на чертежи.

— Полюбопытствовали бы! — не сдаваясь, предложил плотинный.

Ферри насмешливо взглянул на мастера:

— Послушай, любезный, ты очень странный человек! Кто ты такой есть? Ты есть раб господина Демидова. И ты совсем не учен, а хочешь знать, что положено только благородному человеку! Ты пришел к профессору и хочешь узнать кое-что! О, это весьма интересно! Очень смешно! Русский крепостной мужик, и вдруг — машина! Вот его машина! — указал он глазами на широкую спину Ефима и залился дребезжащим язвительным смехом.

Черепанов угрюмо промолчал. Внутри его все кипело и бушевало. Он крепко сжал челюсти, на загорелых скулах выступили бурые пятна. Мастерко молча сложил эскизы и вместе с книгой снова спрятал за пазуху. Тихими шагами он отошел к двери, поклонился:

— Прошу прощения за беспокойство, господин. На прощанье одно вам скажу: плохо же вы думаете о русском человеке! На это поведаю вам: попомните, господин, мы еще покажем аглицкой и вашей французской земле, чего стоит наш русский человек!

С поднятой головой, широкоплечий и молодцеватый, он покинул француза.

— Шельмец! — бросил вслед Ферри, но плотинный не слышал его злобного выкрика.

В прихожей на мастерка накинулась служанка:

— Я же тебе сказывала, мужичья твоя рожа, куда прешь? Барин наш такой ученый, такой, страсть господня! Всю свою ученость не в силах вымолвить простым языком, вот все больше и молчит! А кроме всего прочего, ему не до тебя, черная кость, его с утра наша госпожа Демидова кличет к себе... А чего кличет? Известно, какие у них деликатные разговоры! — Черные лукавые глаза служанки сверкнули жаром. Оглядев сильную, ладную фигуру Ефима, она припала к нему и прошептала: — Вишь вырос, развалился, как дубовая коряга в лесу, так и сгинешь без догляду один.

— Ну-ну, ты! — ласково огрызнулся на нее плотинный.— Коли так, выхожу на сватовство, краса-девка, будем связывать вместе кочергу да помело! — пошутил он. Служанка потупилась, затеребила фартук, а щеки ее вспыхнули заревом.

— Ну и хват! Знать по лицу, сколь годков молодцу! Их, ты! — Она слегка толкнула его круглым локтем и прыснула в горстку.

— Прогнал твой барин! Обидел! — сказал Ефим с тоской.

— Так он же не проста птаха! Иноземец! У него что ни слово, то к месту, что ни шаг — выдумка! — вступаясь за француза, горячо выпалила она.

— Эх, ты! А еще русская! — с досадой сказал мастерко.— Пусть с чугунными мозгами, а только французских кровей! Так, что ли?

— Ты, аспид, не говори так! — с укоризной перебила плотинного девка.— Русская я, но только скажу тебе по тайности: не до дел сейчас нашему носатику. Он для барыни мудрейший камень проворит... Ты тишь-ко! — Обдавая его горячим дыханием, она припала к нему мягким плечом и прошептала: — Камень тот не простой, от смерти людей избавляет! Кто его носит, тот и в могилу не уйдет!

— Господи, какая чушь! Ох, и дура! Схорони скорей глупую думку в пазушке, не носи в люди! Засмеют!

— Так то барин надумал. Голова он!

Плотинный от души рассмеялся, блеснули его красивые ровные зубы. Он насмешливо шепнул девке:

— Эх, душевная моя: голова без ума — что фонарь без свечки!

Не успела служанка оглянуться, как проворный мастерко исчез. Она выбежала на приступочки крылечка, да опоздала. Впереди по глубокому снегу крупными шагами удалялся широкоплечий человек, деловито размахивая руками. Он ни разу не оглянулся на стряпуху, и девка с досадой махнула рукой:

— Да ну его! Гордый какой!..

Разобиженный и расстроенный, плотинный вернулся в избушку и убрал эскизы в укладку. По шагам да по шороху Уралко догадался, что Ефим не в духе.

— Выходит, хвалиться нечем! — сказал старик.— Милый ты мой человек, пока силен да крепок ты, еще не поздно. Не лезь на рожон! Не осилить тебе застав вражьих, что на пути залегли русскому трудовому человеку! В чахотку вгонят!

— Не отступлю, дедка! Осилю! — напористо вырвалось у мастерка.— Кости сложу, а осилю! Пустился в драку — бегать не буду!

— Похвально! — одобрил дед.— Только одно разумей: напролом не иди. С умом да с хитринкой ломись. Помене о своем замысле говори. Плох-дурен иноземец, но другой и русский под стать лешему,— завистлив. А в зависти человек — дрянцо поганое.

Они замолчали, ворочаясь каждый в своем углу. Внезапно Ефим вспомнил слова смуглой служанки о камне бессмертия и тихо рассмеялся. Дед встрепенулся, испуганно насторожил уши:

— Над кем же ты это смеешься?

— Да с самим собой... Дедушка, хочешь ли быть навечно бессмертным?

— Христос с тобой! Да где это слыхано, сынок! Здоров ли ты?..

— Здоров! От девки слышал, что француз Ферри отыскивает камень особый. Кто его заимеет, вечно жить будет!

— Осина — дико дерево, вечно без ветра шумит, так и французишка тот, охаверник, народ надувает! Жизни предел положен, его же не прейдеши! — сурово сказал старик.

Мастерко засмеялся и озорно кинул:

— А что, если, скажем, и в самом деле такое случится? Что будет тогда, дедка?

— Эх, милый ты мой чудород, да кому нужна эта вечная жизнь? Она нужна только барину, тому, кто богат, знатен да счастлив в сей жизни! А нам, беднякам-горемыкам, для чего она? И с короткой-то жизнью согрешишь иной раз, а тут вдруг — вечная. Это, милый мой, выходит: вечно мучиться и страдать. Для нашего брата это не подходит. Нет!..

— А если, скажем, Демидова не станет на свете? — с хитринкой спросил плотинный.— Что тогда?

— Как же это без Демидова? — со страхом поглядывая на дверь, спросил Уралко и, понизив голос, промолвил: — Без Демидова да без бар — другое дело! Думается, будет и это! Только скажу тебе, сынок: рабочая косточка о другом камне мечту имеет. Есть такой камень — ключ жизни. Нам уж, наверно, его не видать, а правнуки непременно найдут его, и тогда все им откроется! — с жаром поведал старик.— Ох, что я скажу тебе, Ефимушка! Послушай-ка ты золотинку одну. Закрой только поплотнее дверь.

Дед прислушался, как мастерко брякнул засовом, и, подавшись вперед, тихо начал:

— Вот что я тебе поведаю, добрый мастер. Ходит среди работных потайной сказ: ни барину, ни собаке его — услужнику, ни дворовому не дано его знать. Слышать его может только тот, кто привержен работе, кто есть честная рабочая кость. Слушай-ка... У старых горщиков промеж себя тайный уговор хранится, живет среди уральского люда предание одно. Сказывают старики рудокопщики, далеко и глубоко скрыт в горах особый могутный камень — ключ земли. До нашей поры никто его не добыл. А почему? Потому что на тот камень особый завет положен. Он тогда откроется человеку и сам в руки дастся, когда народ по правильному пути за своей долей пойдет, и тогда тот, кто впереди пойдет и народу путь счастья укажет, получит ключ-камень в свои руки. И жди тогда перемены всему: тогда все каменные кладовые в горах откроются и все клады будут на благо народа. Сказано старыми людьми, значит, на то надейтесь!..

Говорил Уралко торжественно, слово к слову низал, словно жемчужинку к жемчужинке. Открыл с большой теплотой свое заветное, старое, что давно в душе выносил, а теперь словно камень-самоцвет дарил.

— Подходит, близко это времечко! — продолжал

медленно старик.— Придет тот богатырь наш, не сегодня-завтра придет, весь народ на правильную дорожку поставит и поведет его к хорошей жизни. Он, как солнышко, засветит для нас!

— Дай-то господи, чтобы твое заветное слово сбылось, чтобы сказано оно было в добрый час! — с благоговением проговорил Ефим.

— Не для одного себя ходит да суетится человек на земле! Придут и после нас люди, умнее и добрее, и все сбудется-завоюется! — закончил и глубоко вздохнул старик.

В избушке долго царило безмолвие. Каждый боялся заговорить, чтобы не расплескать самое дорогое, самое заветное, что родилось в эту сокровенную минутку.

Глава шестая

1

Под наблюдением Ферри на реке Тагилке, повыше устья Выи, достраивали железоделательный завод. Плотинному мастеру Черепанову приходилось разрываться: он ладил для нового завода плотину и в то же время обновлял лари на Тагильской. Зима в этот год выпала снежная, суровая — от крепкого мороза лесины лопались и птица замерзала на лету. В отвалах горы Высокой подбирали немало обмороженных ребят, из тех, что занимались разборкой руды.

Несмотря на жестокие морозы и беспрестанные вьюги, работа на плотинах продолжалась. Трудились мастера без измерительных приборов и точных инструментов. Француз изумлялся: простые русские мужики в рваных полушубках делали все точно, чисто и строго соблюдали расчеты. Стоило им пытливо взглянуть на предложенный план или модель, даже эскиз — и они верно, математически точно рубили, делали и украшали резьбой стройку. Глазомер уральских умельцев отличался чрезвычайной точностью. Обладая необыкновенной, просто чудесной сметкой и золотыми руками, они не щадили себя в работе. Ночи стояли зимние, холодные, темные, ревели бураны, а Демидов, боясь остановки завода, настойчиво подгонял с отстройкой ларей,— по ним в водополье устремится буйная вешняя вода — страшная сила, которая будет искать выхода. Черепанову с плотниками приходилось рабо-

тать в жестокие глухие ночи. Снег валил хлопьями, ревел ветер, из ближнего перелеска доносился тоскливый волчий вой. Крепко зажав в зубах ручку фонаря, Ефим с плотниками в страшный леденящий ветер забирался на верх лесов и старательно выполнял свое дело. Ничего подобного Ферри не видел во Франции. Способность простых русских рабочих к технике поражала его. Своими грубыми, заскорузлыми руками и обыкновенными топорами они творили чудеса. Мастеровые строили крепкие сооружения навек, и в то же время возведенные ими стройки казались изящными, гармоничными в пропорциях и в отделке. Эти уральские крепостные мужики отличались даровитостью и понимали толк в настоящем искусстве.

«Что за страна? Что за удивительный народ?» — раздумывал француз, не понимая русской души.

Больше всего его поражал плотинный мастер Ефим. Он словно забыл о первой встрече с Ферри, держался с ним почтительно и, проявляя большую сообразительность, из деликатности обращался к профессору за советами.

Лари в Тагильской плотине простояли полвека, и перестройка их шла заново. И тут мастерко показал себя завидным умельцем. Он подбирал дерево, подготовлял его и применял в стройке так, что лучше и не придумаешь.

В ту пору, как плотники ладили плотину, лесорубы в долине реки Тагилки валили строевой лес. Привел их в глухое горное ущелье старый полесовщик Гордей. С окрестных демидовских заводов отобрал он их. Были среди них седобородые лесорубы и плотники — правнуки знаменитых мастеров из Устюжны, принесших свое умельство на Каменный Пояс в давние-предавние времена. Плотники стали на плотины, а лесорубы забрались в самые дебри, где росла звонкая сосна. Кругом здесь шумел непроходимый горный лес, по ночам долго выли волки, а в широких соседних понизях, на просторе, насвистывал пронизывающий ветер. Над горными хребтами, словно на пожарище, клубились и стлались снеговые тучи. Шальной ветер рвался в лесосеку, взбивал сугробы, как пуховую постель, разметывал белые гривы и яростно бросался на человека. Но выносливый уральский лесоруб не согнулся, не сбежал: ни жгучий мороз, ни бесноватая пурга не смог-

ли выгнать его из леса! Выносливые и сильные кержаки-лесорубы наскоро возвели шалаши из хвои и с торопливостью взялись за работу. Застучал топор, зажикала пила в вековых борах и ельниках. По горам пошел раскатистый гул и грохот: с треском валились толстые высоченные лесины, рассыпая алмазную пыль. В страхе поднялись из логовищ потревоженные звери и бежали в глухомань, в далекие ущелья. Выбрались медведи из належенных берлог и на всю долгую уральскую зиму стали злыми и озорными шатунами. Ушли быстроногие лоси, испугалась лиса и забилась в лесные трущобы, разбежались зайчишки, напуганные шумом. Только одни серые волки не хотели уходить из облюбованных мест и ночами, принюхиваясь к человеческим запахам, протяжно и тоскливо выли.

Днем и ночью при кострах лесорубы неутомимо валили первобытный лес. Днем над поверженным бором клубился сильный туман, а ночами стояло багряное зарево. У становища всегда пылали костры, сизый дым от них тянулся к хмурому небу. Над черными огромными котлами у костров с голосистой песней хлопотали стряпухи — коренастые проворные уралки.

Ефим часто наезжал на лесосеку, отбирал добрые смолистые сосны и, сидя у костра, любил послушать старинную песню. Его крепкое тело наливалось на морозе бодростью, так и хотелось размяться,— играла кровь. Молодые стряпухи украдкой заглядывались на ладного, кряжистого плотинного с румяным лицом, с курчавой рыжей бородкой. Но среди них мастер отличил одну лишь Дуняшу, хоть она и не глядела на него, и песни не пела при нем, и старалась не замечать плотинного. Он осторожно следил за ней. Девушка поминутно бегала то к ручью за водой, то в кладовую, то на лесосеку за свежей щепой. Ее алая душегрейка мелькала среди снегов и лесной хвои, как веселый язычок пламени. Хороша была эта сильная, с высокой грудью, хозяюшка лесного стана!

На робкой заре она выбегала без полушубка из шалаша, пробивала крепкую льдинку в рукомойнике, быстро умывалась на морозе и спешила к кострам. От разгоряченного лица поднимался парок, движения ее были быстры, энергичны, от них горело молодое, нетронутое тело, стянутое тесной старенькой одеждой, и не один Ефим заглядывался на Дуняшу.

— Эх, золотинка-краса! — ласково хвалили красавицу лесорубы.

Между тем в горы продвигалась лютая уральская зима. С каждым днем все больше свирепела и гудела пурга, мела перекатами по борам и ельникам, и тогда чудилось, будто над шиханами не метель метет, а мчится несметный табун белогривых коней. От страшных морозов лопались скалы, гром и гул катились над вырубками, а в понизи горели костры и стряпухи обогревали горячим варевом лесорубов.

Ефим эти дни проводил на стройке. Он брал топор и вместе с устюженскими кержаками-плотниками работал до соленого пота. Наработавшись всласть, он вместе с ними садился к огнищу и с жадностью хлебал горячее варево, от которого по телу растекалось приятное тепло, а после насыщения на короткий час люди становились расслабленными и дремали у костра. В эти дни напряженного труда Ефим чувствовал себя счастливым, веселым и лихим в работе. Но среди горячих и суетливых дел он нет-нет да и вспоминал лесную стряпуху.

«Живет на свете такая ладная девка! — с душевной лаской думал о ней плотинный.— Где лучше отыщешь? С такой, как два конька, можно дружно бежать по дорожке к счастью».

Он не знал, что Дуняша манила взор многих. Однако держалась Рыжанка недоступно, строго: молча обходила лесорубов, на шутки приветливо отвечала шутками, но никого не дарила обещающим взором. Среди лесорубов работал охотник с Нейвы-реки, верткий, чернявый молодец Ларион. Встретив однажды у костра красивую девку, он не мог больше ее забыть и зачастил к огню: то топор у него затупился, то портянки промочил, перебираясь через родник. Подходя к костру, он запевал песню, а когда попадалась навстречу Дуняша, пялил на нее бесстыжие глаза. Хотя это и льстило девичьему самолюбию, но в то же время в душе Рыжанки поднималось чистое, здоровое чувство возмущения. По душе ей больше всего пришелся тагильский плотинный — сдержанный и умный человек. Правда, он и шагу не сделал к ней, но все же душой, сердцем угадывала Дуняша, что неравнодушен он. И сейчас, ловя на себе распаленный взгляд Лариона, девушка обиженно хмурилась и, недовольно поводя

плечами, быстро уходила прочь, не удостаивая парня своим вниманием. Это задевало лесоруба за живое. На все окрестные горные селения он славился силой и ловкостью. Опытный охотник, он дробинкой убивал белку в глазок. Подолгу Ларион неутомимо носился по горам, преследуя зверя. Не боялся он ни жестоких морозов, ни свирепой пурги, ни лесного мрака; зимой и летом, ночью и в непогоду он уходил в горы, в тайгу и там был как у себя дома. И вот этот крепкий, неутомимый парень вдруг затосковал. Топор валился у него из рук: лесная красавица захватила его сердце и все помыслы. Каждый день при встречах с ней он все пуще распалялся страстью. Лесорубы заметили неладное.

— Гляди, милый, не трожь! — дружески предупредили они Лариона.— Рыжанка не такая девка, чтобы пошатнуться. Не попадай ей на тропке! За себя умеет постоять...

Однако Ларион пропустил советы лесорубов мимо ушей. Он твердо уверился, что ни одна кержачка не устоит перед ним, если только умело взяться за дело. Как тень, скользил он следом за Дуняшей, подстерегая ее всюду: на тропке к огню, на речке, куда она бежала стирать белье, в лесу.

Однажды ему повезло: удалось встретить девушку на лесной дорожке, нырявшей среди густой еловой поросли. Еще издали он заметил быстро идущую стряпуху. Она шла навстречу снежному сиянию. Пуховый платок сполз на затылок и открыл белый чистый лоб; от этого еще ярче светились ее большие ласковые глаза. Девушка не замечала подстерегавшего ее озорника. Она шла, улыбаясь про себя чему-то приятному, и загорелое лицо светилось нежной улыбкой, от которой Ларион захмелел. Дерзкий и смелый парень неожиданно вышел на середину дорожки и протянул руки, чтобы обнять красавицу.

— Дуняша! — радостно прошептал он.

На мгновение в глазах девушки мелькнул испуг, однако она быстро осмелела и решительным движением отвела его руки.

— Не трогай, не твоя! — с гордостью сказала она.

На короткий миг они скрестили свои горящие взгляды. Он не поверил в искренность ее негодования, наступал на нее, горячо и возбужденно дыша ей в побледневшее лицо. Тогда она внезапно развернулась и со

всей силой так толкнула его локтем в грудь, что, отлетев от нее, Ларион не удержался и упал на молоденькие елочки, ссыпавшие его колкой морозной пылью.

Когда лесоруб пришел в себя от изумления, Дуняши и след простыл. Сердце парня всколыхнули стыд и возмущение.

— Погоди! — пообещал он.— Ты мне еще попадешься, недотрога!

С этого дня он стал еще упорнее поджидать гордую стряпуху на тропинках. Украдкой в сумерках и на ранней заре он подолгу выстаивал, ожидая ее появления. В эту пору бураны улеглись, прояснело небо и над чащобами засияло скупое зимнее солнце, а вместе с ним на лесосеки прибыл и плотинный. Он ничего не сказал Дуняше, даже не взглянул на девку, но на этот раз сильно затрепетало ее сердце. Когда собрались лесорубы к полднику, она, сама того не сознавая, подкладывала Ефиму лучшие куски и подолгу задерживала свой взгляд на его широком загорелом лице, осененном золотой бородкой. Плотинный ел и похваливал, а от этого еще пуще краснела девушка. Никто не замечал тайной игры взглядов, лесорубы балагурили, только один Ларион сидел, невесело опустив голову, и ел очень вяло. Он понял все: Дуняша мечтала о плотинном.

«Погоди, орловец, мы еще поспорим! — угрожал он Ефиму мысленно.— Не пойдет так, силком обротаю! Опозоренная девка визжать будет, а упросит покрыть стыд!»

Плотинный ничего не подозревал; большое радостное чувство наполняло его, и он беспрестанно шутил Вместе с лесорубами он отполудневал, пошел с ними в бор и валил вековые сосны. Рабочие залюбовались его работой. И в самом деле, Ефим отличался силой и проворством.

— Эх, и кремешок! — хвалили порубщики.— Орловец, а с нашим мастерством знаком! У нас так сказывается, добрый человек: получил от отца-батюшки руки да плечи, от матушки — зубы да речи, а от деда Ипата — кайлу да лопату!

Ларион не мог стерпеть похвал своему сопернику Он с размаху вогнал острый топор в свежий морозный пень и сказал насмешливо:

Дерево всякий валить сумеет, и девку повалить

не мудрая штука! А вот за зверем угнаться по нашим лесам не всякому под силу!

Ефим не обиделся на явную насмешку. Он выпрямился, спокойно посмотрел на озорника:

— А я в самый раз поохотиться вздумал и ружьишко захватил. Только ружьишко неказистое, старинное. Поразмяться охота!

Ларион ликовал: то-то перед всем народом осрамится орловец!

Утром, когда еще лесорубы досыпали последний крепкий сон, Ефим выбрался из шалаша. Кругом простиралась успокаивающая тишина: улеглась пурга, перестал шуметь бор, и только одинокая каркающая ворона перелетала с сосны на сосну, поднимая нежную серебристую пыль. Легкий пухлый снег огромными сверкающими шапками покрывал широкие лапы елей. Над потухшим костром вилась чуть заметная струйка дыма.

— Эка благодать! — полной грудью вздохнул плотинный.— Благослови, господи!

Он взял прислоненные к шалашу лыжи, пристроил их, забросил за плечи ружьишко и хотел бежать.

Но тут из-за толстой сосны вышла девушка-стряпуха. Она ласково поглядела на Черепанова и тихо обронила:

— Не езжай лучше, добрый человек... Боюсь за тебя...

Словно огонь побежал по жилам мастера. Она впервые говорила с ним, впервые, застенчиво краснея, заглянула своими зелеными глазами в его глаза, и он понял, сколь дорога и мила стала ему девушка.

— Как звать тебя? — тихо спросил он.

— Дуня. Только не ходи ты на зверя!

— Пойду! Как не пойти, обязательно пойду! — с легким молодечеством, рисуясь перед ней, сказал Ефим. Кстати, на ум пришел и Ларион. Не он ли вчера смеялся над ним? Нет, он сейчас не отступит, пойдет в горы!

— Жди меня, красавица, непременно с добычей вернусь,— вымолвил он и легко заскользил на лыжах. Чистый, бодрящий ветер ударил ему в лицо.

«Эх, хорошо!» — вздохнул полной грудью Ефим и весь отдался стремительному бегу. Он быстро уходил в глухой лес, петляя среди ельника, любуясь нетро-

нутой красотой чащи. В орловских краях ему не довелось полесовать с барином в таких чащах. Все здесь выглядело торжественно, ветки елей в лебяжьем пуху клонились долу, иссиня-зеленая хвоя сияла голубоватым светом. Лыжи скользили легко. И казалось Ефиму, будто идет он по сказочному миру. Могучие разлапистые ели, сверкавшие парчой, и густая буйная поросль кустов, заваленная снегом, покорно расступались перед ним, а потом за спиной снова сходились в безмолвии. Луч солнца прорвался в чащобу, мастер задел ветку, и сверкающий каскад снежинок взметнулся над тропой. Все кругом казалось прекрасным и необыкновенно таинственным: и хмурые ели, и ровный рокот боровых сосен, и дальние оснеженные шиханы, четким контуром выступавшие на синем небе. И вдруг Ефим замер от восхищения.

На дальней горке, словно призрачное видение, стоял настороженный лось. Над высоко поднятой головой зверя вился легкий парок. Из-за облака брызнуло солнце, обливая золотым сиянием лося. Он стоял, как изваяние.

— Красавец зверюга! — изумленно прошептал плотинный. В нем неожиданно с бурной силой заговорила охотничья страсть. Ефим не утерпел, оттолкнулся и понесся к дальнему холму. Охваченный могучим порывом, он видел перед собой только чудесного зверя. Завидя человека, лось скрылся в долине. Охотник заторопился по его следу. Молодой сильный лось, почуяв преследование, понесся, как стрела, выпущенная из лука. Движения его были легки, грациозны, и весь он казался совершенно невесомым. Красота и резвость зверя еще более разожгли Ефима. Давно позади осталась знакомая лесосека, падь уходила в синеву, а он все бежал и бежал за легким зверем. На бегу мастер сбросил полушубок, остался в одном кафтане. В безумном гоне все тело горело от горячей разбуженной крови. Ефим забыл обо всем на свете и видел только чудесного зверя.

Лось неутомимо бежал впереди, заманивая охотника в дикие горы. Так Ефим и не настиг бы его, но случилась беда: в узком ущелье зверь неожиданно взмыл кверху и, обагряя алой кровью снег, упал у поверженных елей. Все еще не веря случившемуся, мастер

подошел к лосю. Он лежал перед ним, распоротый от груди до паха, и выпавшие внутренности дымились на морозе. Большие лиловые глаза лося страдальчески смотрели на охотника. Ефим отвернулся: ему стало жаль истерзанное прекрасное животное. «Разве ж это охота? Коварство и подлость!» — с искренним возмущением подумал он.

Лось напоролся на скрытую западню, самую жестокую, варварскую, какую только можно было придумать. Острый нож, прикрепленный к притянутому к земле пружинистому дереву, теперь внезапно освобожденному, страшным ударом раскромсал тело красивого, резвого и сильного зверя. Ефим добил лося и, отвернувшись, молчаливо пошел по старому следу к лесорубам...

Хмурый, усталый, вернулся плотинный в стойбище и подсел к огоньку. Он молчаливо осматривался по сторонам. Из шалаша выглянула Дуняша.

— Ты что ж, охотничек, приугрюмел! Без добычи! — с легким укором вымолвила она.

Ефим недовольно повел плечами.

— Не то сказываешь, девка! Обижен за зверя! Разве это охота? — сердито отозвался он и не спеша рассказал стряпухе о западне.

— А ну-ка, покажи нож! — свела густые брови стряпуха.

Он подал ей большой и острый, с присохшей кровью, нож. Девушка взяла его в руки и внимательно оглядела. В зеленых глазах ее сверкнули молнии.

— Ларион это сробил! — вся дрожа от гнева, выкрикнула она.— Тож охотник! На весь Камень расхвалили, раззвонили! Разве ж это стрелок? Так и бабы умеют добывать зверя! Эх, горе ты мое!

В глазах ее стояли слезы досады и возмущения. Она сбегала к артельному, упросила послать за тушей убитого зверя. Притащили на лыжах лося — и весь день кипели котлы, приятный запах разваренного мяса разносился по лесу, и вечером наголодавшиеся братаны наелись досыта. Мясо припахивало чащобой, было сладковато, но в лесу, на морозе, оно казалось самым вкусным и приятным. Все поглядывали на Ефима, а он сидел, опустив голову, и к мясу не притрагивался.

— Ты что ж, мужик, такого зверя залобовал, а

сам и не притронешься к говядине? — спросил его артельщик Гордей.

— Зверь сей не залобован, а в коварную ловушку попал! Да и они не по чести ставлены! С таким зверем начистоту надо выходить!

Дуняша одобрительно посмотрела на Ефима и вставила свое быстрое слово:

— У сто́ящего охотника своя честь имеется! Эка штука — на этот нож напороть зверя! А ты, милый, сумей его на лыжах настичь да стрелить. А ну-ка, покажи свою удаль!

Слова как будто и не относились ни к одному из лесорубов, но все догадались, что виновник западни — Ларион. Это бы ничего, что парень добыл зверя, но то непростительно, что он всегда выхвалялся, сколь долго за зверем гонялся и как метко бил пулей!

«Эх, парень, парень, пустая балуй-головушка, а не истый охотник!» — укоризненно подумал каждый из братанов, но и словом не обмолвился.

Ларион почувствовал общее осуждение и затаил обиду. «Эх, Ефим Алексеич, держись! Бойся на узкой тропке встретиться; посмотрим, у кого кулаки покрепче!» — подумал про себя лесоруб.

Плотинный не торопился пока из леса: он отбирал самые лучшие, твердые бревна, отстукивал их, прислушивался к звону древесины, приглядывался и ставил свои метки. О стряпухе он старался не думать, да и лесорубы держались настороже. Неспокойнее всех чувствовал себя Ларион. Держа топор, он подолгу застывал на месте, издали разыскивая глазами становище: нет ли там Ефима? От ревности у него темнели глаза, и он так сильно сжимал топорище, что на руках вздувались жилы от страшного напряжения. Попадись только ему этот орловец, он уж знает, что сделать!

2

Скоро снова пришла вьюга, и в этот сумрачный денек довелось Ефиму и Лариону встретиться на узкой тропке. Настороженные, с потемневшими от ревности глазами, они стояли друг против друга. Ефим держал в руках ружье, а Ларион — острый тяжелый топор. Их разделяла поверженная бурей лесина.

— Что стал на дороге? — тревожно спросил мастер.

Ларион поднял на соперника колючие глаза.

— Перед девкой меня опозорил. Навек опозорил! Сказывал, беспомощен я. Вот и померимся сейчас силой! — хрипло предложил лесоруб.

— Что ж, я не прочь,— скрывая волнение, спокойно отозвался Ефим.— Только положи топор, а я положу ружьишко. Начистоту, на кулачках, сразимся! Без подвоха! Идет, что ли?

— Идет! — угрюмо согласился Ларион и тюкнул топор в смолистый ствол сосны. Ефим отложил ружье. Оба сбросили полушубки и засучили рукава, сквозь зубы перебраниваясь, тяжело дыша, исподлобья глядя друг на друга. Кругом высились пушистые сугробы. Алмазами искрились снега, каждая веточка была в лебяжьем пуху, и иссиня-зеленая хвоя осыпала голубоватыми хлопьями тропку. На ели взметнула крыльями сорока, застрекотала и улетела прочь, оставив за собой струйку серебристой пыли.

— Ну! — хрипло выкрикнул Ларион и размахнулся. Ефим ловко уклонился от удара. Лесоруб осмелел, броском накинулся на плотинного, схватил его в охапку и поднял. Небольшого роста, коренастый, кержак оказался ловким и сильным.

— Провора! — похвалил его Ефим и тоже не зевал, облапил парня медвежьей хваткой. У Лариона дух захватило. Теперь оба они, плотно обхватив друг друга, сопели, напрягали все силы, чтобы уложить противника. Ефим был кряжистым и тяжелым, как сырая дубовая колода. Подброшенный, он, растопырив ноги, снова становился на место. Его большие жилистые руки казались скованными из железа, и, словно клещами, русобородый мастерко все сильнее и сильнее сжимал ими соперника. Противники истоптали, избороздили мягкий глубокий снег, покрушили молоденькие елочки, ветки хвои хлестали их по лицам, осыпая инеем. Пар валил от разгоряченных, напряженных тел. Глаза обоих налились кровью...

— Дай роздых! — взмолился Ларион.

— Нет, роздыха тебе не будет! — хрипя, сказал Ефим.— Будем биться до конца: кто кого положит!

— Эх-х! — изо всех сил рванул мастерка за пояс-

ницу парень, но тот удержался и, как коряга, растопырив ноги, стоял на тропе.

— Леший! — озлился лесоруб и подставил Ефиму ногу.

— Ты что же делаешь, пес? — внезапно за спиной Лариона раздался сердитый девичий голос, цепкая рука ухватила его за плечо.— Ты не по-честному!

Бойцы разом опустили руки и, выдыхая клубы горячего воздуха, предстали перед Рыжанкой с поникшими головами.

— Бесстыдники! — укоризненно смотрела она на обоих.— Как зверье, схватились.

Ефим с потупленным взором топтался на месте. Он наклонился, подхватил сбитый в бою гречушник, отряхнул его и надел на кудри.

— Чего тебе тут надобно? — с легкой ухмылкой спросил он.

— А то понадобилось, чтобы примирить вас, смутьянов! — решительно сказала девушка и по-хозяйски подбоченилась. Луч солнца прорвался сквозь хвою и упал на Дуняшу. Нежная пухлая мочка уха зарозовела, как рубиновая капелька.

— Из-за чего пошли на кулаки?

— Посчитаться хотелось! — вымолвил лесоруб и неуклюже отставил ногу в большом стоптанном валенке.— Все из-за тебя...

— Вот и дурень! — улыбнулась девушка.— Господи, какой дурень! Да кто я тебе, женка или полюбовница? Эх, вы! — Губы ее скривились в презрительной усмешке.— Не повоевали, а уж разодрались, как шелудивые кобели. Я девка, ни отца, ни матери у меня, сама себе хозяйка. Кого хочу, того и выберу! Идем в становище, мужики! — Она качнула бедрами и пошла вперед по тропке. Ларион подумал, помедлил, но с виноватым видом пошел следом...

Ефим взял ружье, отряхнулся, и когда они скрылись за поворотом тропки, быстро зашагал в лес.

Долго он бродил на лыжах по глухим местам. Стало смеркаться, багряный месяц поднялся над елями. Рядом в гущере заухал филин. По-иному сейчас выглядел лес: густые ели под луной сыпали синими искорками, мрачными черными стволами уходили ввысь толстые сосны. Потрескивало от мороза. Обледенелые ветки берез тихо покачивались и звенели. Только широкие кедры угрюмо притихли, боясь уронить свои

белые шапки. Через тропку вильнула лиса, на минутку остановилась, повела носом и, почуяв что-то, стала разгребать передними лапами снег. Стрельнуть бы зверюшку! Но Ефим махнул рукой и побрел к просекам. До зверя ли тут, до лесной ли красоты, когда перед тобой все время мерещатся глаза Рыжанки! И кажется, в эту минуту они покрылись ласковой поволокой, точно преобразились... «Кого хочу, того и выберу! Ишь ты, как бы не так! А барин что скажет?» — тряхнул головой Ефим, и ему стало приятно от сознания, что она смелая и не боится самого барина. «Эта пойдет на все! В горы сбежит, а за нелюбимого не заставишь!» — подумал он.

В глухую полночь мастерко пришел на становище лесорубов. Все спали, потухал и костер. Он подбросил сушняка, и через минуту вспыхнуло пламя, озаряя густым светом вершины.

«Как же теперь поступить?» — спросил себя Ефим и не нашел ответа.

Пригретый теплом костра, он продремал всю ночь.

В синие минутки рассвета его разбудила Дуняша. Она первая завозилась в шалаше, забряцала железным ведром, тихо напевая что-то. Вскоре она вышла и направилась к роднику. Походка у девушки была проворная, живая, и все играло в ней — и глаза, и лицо, и даже смеющиеся губы. Горячие быстрые глаза ее остановились на мастерке. Словно ничего не случилось, она спросила его:

— С добычей?

И хотя она старалась казаться спокойной, сияющие, светящиеся глаза выдавали ее душевное волнение. Ефим ничего не ответил.

Дуняша сразу притихла, сдвинула брови и не спеша пошла за водой. А он, грузный, широкоплечий, как сыч сидел на пне и, обуреваемый ревностью, смотрел ей вслед.

...То, что Дуняша пошла с ним, а плотинный нежданно-негаданно покинул лесное становище, окрылило Лариона. Он решил, что девка непременно достанется ему. Ларион твердо верил в свою победу. Девушка вертелась у костра в одном кубовом сарафане, сбросив полушубок. Щеки ее пылали. На белой пухлой шее красавицы краснели бусы, и это делало ее еще более привлекательной и желанной. И вся Дуняша сейчас

казалась особенной — проворной, ладной,— и в глазах ее светилась неугасимая радость. Ларион не мог дождаться минутки, когда лесорубы окончат полудневать. Они неторопливо насытились, побрали топоры и ленивой развалкой гуськом пошли по утоптанной тропке на лесосеку. Дуняша тем временем убрала миски и, поеживаясь, забежала в шалаш, чтобы накинуть на плечи шубейку. Этого только и ждал парень. Он медленно вошел за стряпухой и стал наступать.

Рыжанка оглянулась и по мутным глазам лесоруба угадала нехорошее.

— Ты что? — испуганно спросила она парня и перешла к тесовому столу, на котором стояла корчага с капустой.

— Больно ты хороша сегодня, Дуняша! — прошептал он и протянул к ней руки.

— Ой, не трогай, Ларионушка! Нельзя! — взмолилась она.— Нехорошо этак!

Широко раскрытыми изумленными глазами она смотрела на парня и не узнавала его. Он весь дрожал от возбуждения.

— Ладная ты моя, хорошая! — придвигаясь к девке, шептал он.— Меня выбрала!

— Да ты сдурел, анчутка! С чего взял такое? — внезапно обиделась она и осмелела: — Уходи! Помилуй бог, уходи!

— Так ты шутковать вздумала! — закричал он и бросился к стряпухе, но она ускользнула за корчагу.

Разозленный, он с размаху ухватился за стол и опрокинул его.

— Принарядилась, приманивала его! — зловеще заговорил он, надвигаясь на Дуняшу.

Пятясь к двери, она упрашивала его:

— Уймись, Ларионушка! Ну что ты надумал, постыдись!

Ничего не помня в буйной ревности, он настиг Рыжанку у порога и схватил за руку.

— Сдурел! Истин бог, сдурел! — уговаривала она.

— Я тебе покажу, как сдурел! Сердечная ты моя! — хрипел он, наседая на девушку, переходя от грубости к ласке.

— Не дамся! — закричала девка.— Не смей! — В ее окрике прозвучало столько достоинства и решительности, что Ларион на миг опешил, но затем, совсем

потеряв голову, обхватил Дуняшу, и они, поскользнувшись, повалились на подостланную хвою.

— Ратуйте, братики! — испуганно закричала она.

Он очумело взглянул на стряпуху и выпустил ее. В разорванном сарафане, раскрасневшаяся, заплаканная, она выбежала из шалаша в ту минуту, когда к ним подходил артельный Гордей.

Застав в шалаше Лариона, он понял все.

— Так! Николи не ждал от тебя, парень, напасти! — сурово сказал он.— Всю артель надумал опоганить! Ну, милый человек, коли так, забирай котомку да марш в Тагил! Там и расскажи господину Любимову, за что я тебя отослал.

Ларион стоял, потупив голову, не проронив ни слова.

К вечеру он собрал котомку и ушел из лесного табора.

Глава седьмая

1

Черепанов вышел на плотину. Широкая, массивная, она могуче перегородила Тагилку, скованную льдом. В ларях пахло свежим смолистым тесом, еще белела стружка, но все было готово к приему вешних вод. Однако на душе плотинного таилась и росла тревога. Никогда, по рассказам стариков, не выпадало на Камне столько снега, как в минувшую зиму. В каждом горном ущелье, в любой овражине, в глухих лесных падях и на обширных болотинах скопилась и дремала огромная сила, которая могла разом пробудиться и устремиться вниз, к плотине, и тогда — берегись!

В свежем воздухе все сильнее и сильнее чувствовалось приближение весны. Хотя под ногами по утрам еще поскрипывал морозный снег, но уже по-иному дышалось, по-иному бродила в теле человека кровь, отчетливее слышались над прудом стуки топора, звон пилы и дыхание завода.

Тревожное ожидание оправдалось: в конце апреля сразу пришла дружная, теплая и многоводная весна. На глазах заноздреватеп, пожухлел снег и рождались из-под него быстрые говорливые ручьи. Задымился под ярким солнцем лес, тысячи золотых бликов легли на

елани, и вспенились горные потоки. Чернолесье наполнилось криком дроздов, встречающих весну. Над озерами закричали лебеди, гуси, закрякали утки, перекликались чибисы. Ослепительно заблестели стволы берез. Над горами ярко светило солнце, подолгу не сходило с неба, а на смену ему рано выплывала полная луна, и тогда голоса и шорохи в лесу становились звонче. На ранней заре глухари на токах заводили свою весеннюю песню, на которую слетались темно-рыжие подруги, и под сенью сосен, в синеватой мгле рассвета, шло великое любовное ликование.

Далекие контуры гор стали синими на фоне белесого неба. У закрайков пруда появились огромные полыньи, засинел лед. И в одно утро, когда еще серые сумерки наполняли избу, а на востоке робким отсветом забрезжила заря, Ефим услышал странный треск; потом раздался гул, и, сразу подхваченный тревогой, плотинный вскочил и бросился к пруду. Там со скрежетом и гулом лопались и налезали одна на другую огромные льдины. Под ними кипнем-кипела и пенилась водоворотом стихия. Льдины яростно лезли на плотину и бессильно отступали перед ней. Вода быстро прибывала с гор, и уже огромные низины и заливные луга превратились в безбрежное озеро. По освобожденной воде неслись опрокинутые потоком деревья, бревна, старый лесной хлам.

Несмотря на раннюю пору, на плотине, словно муравейник, копошились толпы работных, женок и ребят. Берега покрылись народом, который все прибывал и прибывал, торопясь не пропустить ледоход. Старые и малые с возбужденными лицами следили за бурным водопольем. Откуда только бралась такая страшная и всесокрушающая сила! Только вчера на пруду синели спокойные льды да у закрайков поблескивала талая вода, а сегодня все кругом клокотало, кипело. Потемневшая злая вода ломала толстые зеленоватые льдины, теснила их, сшибала одну об одну, крушила и поднимала стоймя. Вчера еще скованная, сегодня она внезапно обрела необыкновенную буйную силу и сейчас то кипела и кружилась водоворотами на просторе, то бросалась на плотину, стараясь ее опрокинуть, размыть и снести. Еще более злобные струи кружились в срубе вешняка: вода ударяла с бега в тесовые запоры и отступала, чтобы через минуту с новой силой кинуться на

приступ. Деревянные сооружения плотины дрожали от напора разъяренной стихии.

Среди брызг, обдуваемые ветром, коренастые мужики, навалясь всем телом на тяжелый кованый ухват, старались поднять тесовые затворы вешняка. Со вздувшимися жилами они напружинились в страшном напряжении, но затвор не поддавался. С гор налетела снежная туча, и мокрые липкие хлопья закружились над плотиной. В этой белесой мути еще мрачнее и страшнее казались взбешенные водные валы, которые с шумом кидались на земляную насыпь, еще более беспомощными и жалкими казались бородатые крепыши, стремившиеся сдвинуть ухват.

— Эй, братцы, еще разик, еще раз-з! — в такт своим яростным усилиям подбадривали они друг друга криком.

Завидя Черепанова, работные бросились к мастеру:

— Что наробил, леший! Гляди-ка, затвор вешняка отказал!

Они злобились, враждебно сжигая взглядами плотинного. Неприятный холодок побежал по спине Ефима.

«Что случилось? Только час тому назад все было тихо, и вдруг!..» Расталкивая толпу, мастер устремился к вешняку. Там, в темном омуте, бесновалась и бросалась на затвор запертая вода. Черепанова сразу охватило ветром, обдало брызгами, но он бесстрашно спустился по лесенке вниз. Напрягая зрение, плотинный смотрел в мутную воду, стараясь проникнуть вглубь...

Народ стих, все напряженно следили за мастером и ждали. А вода все прибывала.

Она шла с гор шумными потоками. Тагилка вздулась, из покорной и тихой стала большой и бурной рекой. Она вливала свои быстрые воды в пруд, который на глазах разливался и волновался необозримым морем. Изломанные льды сильными струями выкидывало на гребень плотины. Вода размывала насыпь, проникая в каждую трещинку. Не находя выхода, она бушевала у земляного вала, подбираясь к его вершине, захлестывая людей.

— Ух, страхи какие! — испуганно отступила заводская женка и заголосила вдруг: — Братики мои, да что же теперь будет? Прорвет плотину, и поселки затопнут,

милые вы мои! — кричала она, закрывая лицо фартуком.

— Замолчи ты! — прикрикнули на вопленицу в толпе. Женка стихла и спряталась за спины подружек.

— Ну что там, Ефим? — закричали плотинному мужики-ухватчики.

Мастер по пояс погрузился в холодную воду, волны били ему прямо в лицо. Он поднял потемневшие от гнева глаза и прохрипел:

— Заклинило затвор! Спасайте плотину! Наращивай!

— Женки! — закричал звонкий девичий голос.— Айда за мной! Вон они, рогожные кули! Айда!

Раскрасневшаяся Дуняша кинулась к плотинному.

— Вылазь! — закричала она.— Вылазь, сгибнешь!

— Уйди! — угрюмо отозвался Ефим и попросил: — Мужики, давай канат!

Ухватчики обвязали его веревкой, дали в руки топор.

— С удачей! — подбодрили мужики, но мастер не отозвался. Мокрый и злой, он стал опускаться в вешняк, где клокотала и билась вспененная струя.

А вода подбиралась ближе, просачивалась сквозь землю, тонкими змейками проникала сквозь толщу вала. Она размывала рытвины, и по ним коварно устремлялись бурные потоки, которые смывали огромные глыбы и, пенясь, неслись по долине к заводу. Люди хватали рогожные мешки, набитые песком, и, взвалив их на плечи, торопливо несли к промоинам. Мокрые, обрызганные грязью заводские женки, обливаясь потом, волочили кули. Брань и крики повисли над плотиной. Высокая, сильная Рыжанка покрикивала на женщин:

— Живее, живее, женки!

И сама первой кинулась к прорыву...

Грязь хлюпала под ногами, ветер бросал в лицо хлопья липкого снега, руки посинели от стужи, но женщины упорно отстаивали высокую насыпь. Они даже не оглянулись на крикливого управителя, который внезапно появился на плотине. Надутый, обряженный в темно-синий суконный кафтан, он налетел на Дуняшку:

— Где плотинный?

Она подняла глаза, и в них блеснули слезы:

— Нет мастера! Спустился в вешняк. Человек погибнуть может!

Вместе с управителем она поспешила к вешняку, где топтались унылые ухватчики.

— Куда подевали Ефимку? Что наробили, хваты? — угрожающе закричал Любимов. Его большое студенистое тело заколыхалось. Он размахивал толстой палкой и грозил: — Упустили, упустили, ироды! Жди беды! Вот как почну колошматить!

Он и в самом деле готов был налететь на ватагу ухватников, но в эту минуту по толпе прошел гул.

— Гляди, вон он! Слава тебе господи! — голосисто закричал кто-то среди мужиков.

Толпа облегченно вздохнула:

— Выбрался из беды! Гляди, какой молодец!

Из вешняка, где все содрогалось от напора разъяренной стихии, с топором в руке показался плотинный. Вода ручьями стекала с него. Посиневший, осунувшийся, он медленно поднялся по лесенке из ларя. Десятки рук подхватили его. Еле держась на ногах, плотинный выкрикнул:

— Братцы, двигай ухват!

Три десятка мужиков навалились на железный брус и с уханьем стали жать. У бородатого дядьки от натуги лопнула бечевка на портянке, и мокрая холстина свалилась в грязь. Ее мигом затоптали. Казалось, от напряжения трещат спины: секунду не поддавался брус, потом медленно-медленно пополз вниз, поднимая за собою затвор. Сразу забурлило, зарокотало,— вода с шумом рванулась в вешняк.

— Тронулась! Тронулась! — разноголосо закричали в толпе, но все мгновенно покрылось гудящим ревом прорвавшейся стихии.

— Эх, пошла, забушевала! Заревела!

Как сотни белогривых взбешенных коней, пенясь и бросаясь ввысь, мчались седые волнистые струи.

Ефим не помнил, как подбежала к нему Дуняша, вся истерзанная, мокрая, с потемневшим лицом,— но в эту минуту она показалась ему еще милее и краше. Они схватили друг друга за руки, глядели в глаза и понимали, что́ у них обоих на сердце. Кругом шумели мужики. В ларе с ревом бились и вздымались каскады.

Тяжко дыша, мастерко показал девушке на беснующийся водоворот и сказал:

— Слышишь? Какая силища! Все потрясает!

— Но человек сильнее всего, Ефимушка! — жарко прошептала она, крепко сжимая его руку. В глазах девушки все еще стояли слезинки.— Ефимушка, соколик, поборол! Ох, и страшно было! — радостно сказала она и теснее прижалась к нему.

К ним медленной походкой приблизился управитель. Он сердито посмотрел на плотинного и не сдержался:

— Ну, твое счастье, что так обернулось! Демидов спустил бы с тебя шкуру, хоть ты и в дорогой цене ходишь!

Мастер ни словом не обмолвился. Он крепче сжал руку Дуняши и увел ее с плотины.

2

Хорошо зажили Ефим с Дуняшей! Мастерко вместе с женкой срубили из крепкого смолистого леса избу. Имелась при ней пристроечка, в которой Черепанов разместил свои инструменты и верстак. Все свободные часы он по-прежнему занимался механикой. Рыжанка оказалась тихой, покладистой подругой. Старательная, работящая, она была под стать степенному и умному Ефиму. Трудились они дружно, счастливо. Уралко о них говорил:

— Хорошо работают хлопотунки! Как два резвых конька, бегут в счастливую жизнь!

В 1803 году у Черепанова родился сын Миронка, и еще полнее зажила дружная семья.

К этому времени Ефима назначили плотинным Выйского завода, который расположился тут же, рядом с горой Высокой. Все механические работы перешли к мастеру. Француз Ферри покинул демидовский завод. Так и не сделал он обещанных преобразований!

Рассказывая об этом, Уралко укоризненно покачал головой:

— Эх, жизнь-маята! Со своего русского работного последний медный крест снимают, из рук краюшку отбирают, а французу за длинный нос да хвастливые речи тысячи отвалили! Вот она, русская стезя-дорожка!

Но Ферри не только накопленные тысячи увез из Нижнего Тагила, но и семейные строгановские драгоценности прихватил.

Однажды Николай Никитич неожиданно вспомнил:

— Что-то давно не вижу твоих дивных самоцветов. Потешила бы взор мой!

— Ах, Николенька! — вспыхнув вся, воскликнула жена.— Если бы ты знал, что за несчастье выпало...

Она смешалась, опустила глаза, но Демидов взял ее за подбородок, поднял смущенное лицо.

— Выходит, сей выдумщик французишка похитил наши богатства? — догадываясь о беде, строго спросил он.

— Нет, нет, не похитил! — запротестовала она.— Он камень жизни отыскивал, опыты делал, и вот я решилась доверить...

— Хитер гусь! — сердито вымолвил Николай Никитич.— Камень жизни, камень мудрецов — уловка для дураков и простофилей. Не ведал я, что ты настолько доверчива! — с досадой сказал Демидов и покинул комнаты супруги. Он срочно вызвал управителя Любимова и наказал ему:

— Отрядить десять самых надежных и проворных молодцов, нагнать французишку и отобрать строгановские драгоценности!

Демидовская удалая ватажка три дня гналась по следу Ферри на резвых конях. На четвертое утро она нагнала возок француза на большой Казанской дороге. Невзирая на вопли и стенания Ферри, демидовцы тщательно обшарили все сундучки, укладки, вспороли дорожную шубу, но самоцветов не нашли.

— Где ты упрятал камушки-самоцветы? — пристали они к французу.

— Сплавил! Неудачный сплав! — неразборчиво пробормотал перепуганный Ферри, запахнулся скорее в шубу и завалился в возок.— Езжай, кони! — тонким голоском закричал он вознице, и тройка помчалась дальше.

Удальцы постояли-постояли на дороге, подумали, посмотрели вслед тройке и решили:

— Чисто сробил, шельма! Раз сплавил, выходит, ищи карася в море! Ловок, сукин сын! — обругали они француза и ни с чем вернулись в Нижний Тагил.

Черепанов в эту пору думал о паровых машинах. Он добыл в конторе старые, обветшалые чертежи, но они не помогли делу. Тогда он решил пойти к Любимову и упросить его разрешить постройку паровичка; управитель, внимательно выслушав его, заметил:

— Не ко времени задумано. Едет в Катеринбурх великий аглицкий механикус Меджер. Намерен он строить завод паровых двигателей. Вот и будем ждать, что из того выйдет!

Опечаленный Ефим вернулся домой.

«Опять не верят русским мастеровым, а ждут милости от иноземца!» — обиженно думал он.

Евдокия понимала муку мужа и старалась его успокоить:

— Не кручинься, Ефимушка, потерпи, пока дозреет яблоко, тогда и сорвешь его! Будет это! Придет и для русских ясен-светел день, обогреет и обласкает душу солнышко!

Она ласково смотрела на мужа, ластилась, и спокойная речь ее гасила горечь на душе Черепанова. Как последние вспышки его душевного негодования, были с горячностью сказанные им слова:

— Любо твое слово, Дуняша! Но в народе так сказывается: пока заря займется, роса очи выест! — Он горько улыбнулся ей...

Завод паровых двигателей иноземец Меджер так и не построил. Он поднял много шуму в горном управлении, неимоверно хвастался своими обширными планами, а за дело пока не принимался. Скоро на большаке его коляску остановила ватага известного в округе разбойника Мартьяныча и убила надменного Меджера кистенем...

Узнав об этом, управитель сказал Ефиму:

— Зря человек погиб, хотя и пустомеля был. Разбойник Мартьяныч думает купцов да бар перевести, а того не ведает, что ему самому придется болтаться на веревочке. Разбойнику один конец: петля да топор палача.

Плотинный молча выслушал Любимова, а сам подумал:

«Не разбойникам купцов да бар перевести! Разбой да грабежи — не народное дело. Верно Дуняша молвила: займется грозовая туча, да ударит гром, и омоет

ливень всю землю, снесет всю нечисть и пакость, коростой покрывшие наше тело! Встанет народ!»

Он не одобрил поступка Мартьяныча и поэтому после раздумья ответил управителю:

— Разбойник — разбойник и есть! Поделом вору и му́ка будет!..

После полудня в домик Черепанова прибрел дед Уралко. Белый как лунь, он шел, опираясь на палку, часто останавливаясь. Войдя в горницу, он с тихим торжественным видом сел на широкую скамью под окном.

Подле печи гремела ухватами Дуняша. Ефим за верстаком ладил свое. Миронка-непоседа то вбегал в избу, то исчезал.

Дед прислушался к знакомым шорохам, улыбнулся.

— Все стараетесь, хлопотунки!

— Стараемся, милый,— добродушно отозвался Ефим.— Да толку мало!

— А уж так положено: сколько ни роби на бар, а честь одна! Они-то умеют нашу силушку выматывать. От деда еще своего слышал, что не только Демиды, но и Походяшин медный завод свой на костях выстроил. На костях и домну задули. Золото кровью мыли, и сказ про это среди народа ходит. Эх-хе-хе...

Уралко опустил голову, задумался. Евдокия озабоченно взглянула на его пожелтевшее лицо и спросила сердечно:

— Ты что-то сегодня осунулся. Не заболел ли часом, дедушка?

— Здоровьишком хвастать не могу. Чую, последние дни доживаю. Одолело меня прошлое, все вспоминаю свою жизнь, и сколь длинна была она, а радости и дня не отыскал! Одно времечко и манило счастьем, когда в наших местах проходил Емельян Иванович...

— Так ты, милый, и Пугачева помнишь? — оживленно спросил Черепанов.

— Еще бы не помнить! — светло улыбаясь, отозвался старик.— Истинный правдолюбец был, да только рабочая наша правда не по сердцу барам. Ну, и покрушил он мирских захребетников немало! Самого графа Панина припугнул до холодного пота. А ты, слышь-ко, послушай, я пропою про это!

Уралко прокашлялся и слабым дребезжащим голосом пропел:

Судил тут граф Панин нашего Пугачева:
«Скажи, скажи, Пугаченька, Емельян Иванович,
Много ли перевешал князей и бояр?» —
«Перевешал вашей братии семьсот семи тысяч.

Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил,
На твою бы на шею веровинны вожжи,
За твою-то бы услугу повыше подвесил...»

Старик смолк, провел ладошкой по сивой бороде и сказал:

— Вот оно каково было! Думаю я, Ефимушка, по совести, не сгиб наш батюшка Емельян Иванович. Придет еще времечко, возвернется он в наши края и отплатит за наши муки! Народ ноне пошел посмелей да поумней нашего. Только бы искорку бросить на соломку — глядишь, пожар разгорится на всю Расею!

— Да вы потише. Помолчите! — предостерегающе сказала Евдокия.— Демидовские лиходеи услышат — невесть что подумают!

— Это верно,— согласился Ефим и сказал жене: — Дуняша, спроворь нам поесть!

— Садись, давно все готово! — позвала она и покрыла стол чистой скатертью.

— Ну, садись, садись, дедка, поешь с нами! — Мастерко усадил Уралку в красный угол, и хозяйка поставила перед ним горячие щи.

— Хлебайте, работнички! — приветливо предложила она.

— Я-то уж не работничек. Отробился! — печально отозвался дед и взял ложку.

Ели молча, неторопливо. После насыщения мастерко утер бороду, помолился в угол и сказал учтиво старику:

— Ну, мне, добрый человек, на плотину пора. Не обессудь!..

Он без шапки, в синей полинялой рубашке вышел из горницы, оставив дверь распахнутой.

Уралко снова потихоньку перебрался к окну, от сытости вздремнул. Неслышно ступая, молодка ушла под навес, где принялась доить прибредшую с поля коровенку.

Вечер стал тих и ясен. Солнышко укрылось за лесистые горы, но небеса были озолочены, прозрачны. Дедка внезапно пробудился и, облокотившись, смотрел в окон-

це. Лицо обдувала прохлада. Старик не видел, но слышал, что творится вокруг. Вот под окном пропела, отходя ко сну, птичка, под навесом частый звонкий дождик бьет в ведерко. Пахнет парным молоком. Прошелестел ветер в листьях и умолк. Глубокая тишина водворилась в избушке. Только Миронка чего-то сопит, над чем-то старается, возясь у отцовского верстака.

— Солнышко-то закатилось? — неожиданно спросил мальчишку старик. Голос его прозвучал слабо, умиротворенно.

— Закатилось, дедушка! — отозвался Миронка. В небесах угасал закат, через улицу поползла густая тень от застывших берез.

— Иди-ка сюда, милок! — позвал Миронку дед. Мальчуган подошел к старику. Уралко обнял его и сжимал все крепче и крепче. Миронка испуганно взглянул на старика: что с ним? В эту минуту на горячую щеку ребенка упала стариковская слеза.

— Дедушка, никак ты плачешь? — встревоженно спросил он.— Что с тобой?

— Ничего, милок. Ничего... Мне хорошо, совсем хорошо! — прошептал старик.

Мимо оконца прошла Евдокия, поставила на скамейку ведерко с молоком и поманила буренку в хлев. Ее мягкий, приятный голос уговаривал:

— Иди, иди, буренушка! Иди, иди, наша кормилица. Гляди, травка-то какая мягкая да сочная!

Она ласково звала животное, и голос ее слышался в избушке.

Птичка угомонилась на ветке. Закат погас, в небе заблестела первая звездочка. В углах избы стали сгущаться тени.

Рука старика, которая так крепко обнимала Миронку, вдруг обмякла, разжалась и бессильно упала.

— Живите! — еле слышно прошептал старик и поник головой.

— Дедушка! — закричал Миронка.— Очнись, дедушка! — затормошил он его.

Но Уралко упал головой на подоконник и стал недвижим. Мальчуган заглянул в лицо старика. Оно было тихое, ласковое, на губах играла улыбка.

— Мамка! — выбежав из горницы, закричал Миронка.— Мамка, никак дед помер!

Все сделали так, как завещал Уралко: плотинный

мастер сам сладил добротную, из пахучего соснового леса домовину; женка его обрядила старика в последний путь. Никто не видел и не знал: в правую горсть Уралки Ефим вложил кусочек руды...

Старые горщики — бородатые кряжистые уральцы — подняли на плечи гроб и понесли на старое тагильское кладбище. Со всех концов завода — с Гальянки, из Ключей и Новоселков — сотни работных людей шли за гробом, и каждый нашел доброе слово, чтобы помянуть старика.

Седенький попик на кладбище пропел литию. Горщики поклонились праху Уралки:

— Прощай, добрый человек! Прощай, наш труженик!

И каждый из них бросил в темную яму по три горсти родной земли...

3

«Что же ждет меня впереди?» — часто думал Черепанов, и сама жизнь на демидовском заводе давала ответ. Среди крепостных и работных имелось немало талантливых самородков, мысль которых была устремлена на то, чтобы облегчить своими изобретениями подневольный каторжный труд. Увы, Демидовы о другом думали! Человеческий труд для них не имел цены. Вон на Гальянке в покосившейся избушке жил старый слесарь Егор Жепинский. Казалось, его судьба лучше сложилась, чем у Черепанова: слесарь не состоял в крепостных, а работал на заводе по вольному найму; в давние годы изобрел он катальную машину. Она оказалась лучше и выгодней иностранной, Шталмеровой. Старому хозяину Никите Акинфиевичу выдумка заводского мастера понравилась, и он даже написал в контору Нижнетагильского завода поощрительное письмо, в котором, между прочим, милостиво обещал:

«Ежели он постарается для сортового железа машину привести в хорошее действие, то моею милостью оставлен не будет».

Но вскоре свое обещание Демидов забыл: зачем ему была машина, когда прокатку быстро оставили и железо шло на продажу прямо из-под молотов? Так заводчику было выгоднее.

Егор не успокоился на этом. Его пытливый ум беспрестанно работал все в том же направлении. Вскоре он изобрел новую машину — для резания железа. Приказчик Селезень отписал об этом со всеми подробностями владельцу в Санкт-Петербург. Никита Акинфиевич велел подсчитать расходы и нашел, что труд рабочих дешевле. По его велению санкт-петербургская контора отписала в Тагил: «Постройка оной будет коштовата[1], для чего оную не делать!»

В долгие зимние вечера, сидя у камелька, седой и немощный Жепинский обо всем рассказал плотинному, а у самого по щекам катились бессильные слезы. Ефима тянуло в заброшенную хибарку, к одинокому мастеру. Оба они мечтали и раздумывали о том, как им облегчить человеческий труд.

— Как дальше жить, когда душа угомониться не может, а руки тянутся к замысловатостям? — глядя слепнущими глазами на раскаленные угольки, жаловался слесарь.— Поглядишь кругом, люди надрываются в тяжком труде. Не щадят тут ни больных, ни стариков, ни слабых ребяток, ни женок — до последнего часа иные носят тяжести, а сами вот-вот родить должны... А что делать, когда думка бродит, ищет своего пути-дорожки, просится в жизнь. И вот пришлось на забавы пуститься. Им, хозяевам, это потешно! — Егор тяжело опустил голову с густыми седыми волосами, подстриженными по-кержацки, и замолчал.

— И я вот своему барину Свистунову ладил заводных лошадок! — угрюмо признался Ефим.— Игрушки! Потеха на час!

— Вот-вот! — оживился слесарь.— Именно, на час потеха! Покойничек наш Никита Акинфиевич страсть любил диковинки! Сделал я ему часы с особым звоном и чтобы месяц и день показывали; отписали об этом в столицу. Демидов живо отозвался, запросил о цене. Ну, думаю, была не была, давай двести рублей и бери выдумку! А сам себе прикидываю: жаден барин, не раскошелится на такие деньжищи! Ан нет! Отвалил все двести и повелел часы срочно со всей бережливостью по санному пути доставить в Санкт-Петербург. Вот и суди, братец: за машины для завода и гроша ломаного

[1] Дорогá.

не дали, а за потеху для барской души — сполна двести! Ну и ну!..

Жепинский тяжко вздохнул и показал свои большие жилистые руки с твердыми желтыми ногтями.

«И как только он такими руками робил дивные тонкости!» — с удивлением подумал Черепанов и невольно взглянул на свои ладони. И они были покрыты толстыми застарелыми мозолями. Егор понял его мысли и усмехнулся.

— Известно,— сказал он мягко,— рабочие руки корявы и не гнутся! Но вот диво, этими перстами они чудеса вытворяют! Так вот, после того как я угодил Никите Акинфиевичу, вижу, нет мне счастья по настоящей дороге идти, и взялся я за курьезы. Шестнадцать лет робил я музыкальные дрожки. Вышли на диво! Бегут они,— механизмы версты, сажени отсчитывают, а органчик пиесы играет. Диво-дивное! А только кому это нужно? По оврагам, да проселкам, да по рытвинам, да по корневищам в лесу не наездишь! Барин купил мои дрожки и увез в Петербург. Катается ли Демидов по столице, не знаю. Может, день-два потешил диковинкой столичных господ, вот и все. Видишь, куда идет наше умельство, наша выдумка!

— Выходит, не на радость человеку талант дан? — пытливо посмотрел Черепанов на слесаря.

— Не на радость! — согласился Жепинский. Прищурив глаза на угольки, он задумался. Лицо его постепенно потеплело, сошла с него угрюмость. В глазах старика появился блеск.

— Знаешь, Ефим, что я думаю? — неожиданно сказал он.— Будет время, когда каждый талант человека возвысит его и людей порадует; только мы с тобой не доживем до этого!

Старый, сутулый, он просиял от своей мечты. В избе было убого: тесовый стол да скамья, полати да верстак с железным хламом. В трубе и за окном завывал ветер, мела метелица. Только и радости, что огонек в камельке.

«Силен дух у человека, а счастья ему нет!» — подумал Ефим и распростился с хозяином...

Плотинный шел по завьюженной улице, ветер бросал в лицо горсти колючего снега, бесновался, забирался в полушубок. Во всем поселке — мрак. Намаявшись за день, люди рано отходили ко сну.

«Так и живем во тьме да в нужде! — с тоской думал Ефим.— Хочется верить в счастье, да когда оно дастся в руки? Вот всю свою жизнь проработал Егор, весь век свой думал о пользе человечеству, а что сотворил: часы да дрожки с органчиком. Вот и все!..»

И тут на память пришли другие мятущиеся души: вот механик Козопасов, вот Артамонов — крепостной мастер, Ушков. Каждый в своем роде!

Хилый, тощебородый Козопасов никак не мог применить своего умельства и с тоски запил. От запоя он занедужил. Начнет говорить, частит, захлебывается, боится, что не выслушают его заветную думку, не поймут его. И Артамонов «зашибает», а золотые руки у него!

— Лютая жизнь! — вслух вымолвил Черепанов, и ветер мгновенно погасил его голос...

...Любил Артамонов красивую девку Анку, с черными глазами, веселую, смешливую. Запляшет — все кругом радуются. На такую девку многие заглядывались... На беду Анка понравилась демидовскому приказчику. Он не тянул дело, позвал отца Анки, кузнеца Акима, и говорит ему: «Ну, братец, пришел твой черед, гони дочку мои горницы убирать!» Известно, что за уборка предстоит. Залилась девка слезами и в ноги отцу: «Не дамся! Руки на себя наложу, а к корявому ироду не пойду!»

Об этом узнал слесарь Артамонов, человек известный. Добрался он до Любимова и поклонился: «Выслушай меня, Александр Акинфиевич; мое счастье в твоих руках! Анка и я — оба крепостные. Отдай девку за меня, а в ответ придумаю тебе диковинку!» Управляющий заинтересовался и согласился.

Долго мастерил в тайне от всех Артамонов и придумал двухколесный самокат; покатил на нем с Урала прямо в Москву. В той поре скончался царь Павел Петрович и на престол вступил Александр Павлович. В Белокаменной предстоял день коронации, и тагильский слесарь прикатил в первопрестольную прямо к торжественному дню. С разрешения властей, чтобы порадовать царя, он проехал мимо возвышения, на котором стоял Александр Павлович. Царь удивился выдумке простого мастерового, выслушал его и повелел дать вольную. Вернулся Артамонов обратно на завод. Верно, Любимов сдержал свое слово, сберег девку. Но

что получилось: Анка крепостная, а муж ее вольный. И жизнь стала еще тяжелей. К тому же самокатом все и кончилось, так как негде было приложить рук умному слесарю. Загрустил он.

Вот и Ушков — крепостной, а богач,— вся рудная конница его. Все коногоны в его руке. Жилист, скуповат, недолюбливает Ефима, а умен по водяной части. Глянет — и сразу скажет, куда подастся вода и сколько будет ее в весну и в осень... Черепанов не раз выслушивал его советы по плотинному делу...

«Вот и ходим во тьме! — раздумывал Ефим.— Сколько людей носит в себе свет, но гасят его заводчики! Как же выбраться из этого проклятого мрака?» — напряженно отыскивал выход мастер.

А ветер выл, рвался, поднимая тучи снега; глухо роптал лес на горах. И ночь лежала над Тагилом темная-претемная...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Литературно-художественное издание

Федоров Евгений Александрович

КАМЕННЫЙ ПОЯС

В ТРЕХ КНИГАХ

●

Книга третья

ХОЗЯИН КАМЕННЫХ ГОР

Части 1—2

Ответственный за выпуск *Л. Н. Теляк*
Художник и художественный редактор *В. Н. Валентович*
Технический редактор *Г. М. Романчук*
Корректоры *Р. К. Логинова, З. Б. Звонарева*

ИБ № 2696

Подписано в печать с диапозитивов 16.02.89. Формат 84 × 108 1/32. Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная. Высокая печать с ФПФ. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,16. Уч.-изд. л. 21,36. Тираж 2 500 000 экз. (4-й завод 500 001—600 000 экз.). 3-й завод издательство «Ураджай». Зак. 2188. Цена 2 р.

Издательство «Юнацтва» Государственного комитета БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220048, Минск, проспект Машерова, 11.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО им. Я. Коласа. 220005, Минск, Красная, 23.

2 р.